АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ГОД ИЗДАНИЯ
IX

1959

2

МАРТ — АПРЕЛЬ

БИБЛИОТЕКА
Сыктывкарского
ГОСУНИВЕРСИТЕТА
имени 50-летия СССР

ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
№ .....

ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР
МОСКВА—1960

РЕДКОЛЛЕГИЯ

О. С. Ахманова, Н. А. Баскаков, Е. А. Бокарев, В. В. Виноградов (главный редактор), *В. М. Жирмунский* (зам. главного редактора), *А. И. Ефимов, И. И. Конрад* (зам. главного редактора), *В. Г. Орлова, Г. Д. Санжеев, Б. А. Серебренников, Н. И. Толстой* (и. о. отв. секретаря редакции), *А. С. Чикобава, П. Ю. Шведова*

Адрес редакции: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10. Тел. Б 8-75-55

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1960

О ПЕРСПЕКТИВНОМ ПЛАНЕ НАШИХ ЯЗЫКОВЕДЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ

Наука о языке в нашей стране в настоящее время стоит у начала нового этапа своей истории. За последние четыре десятилетия она прошла сложный и нелегкий путь. Двигаясь по этому пути, она приобрела большой, многосторонний и богатый опыт. Появлявшиеся время от времени в нашем журнале статьи фиксировали состояние нашего языкознания на разных этапах его развития и сами по себе оказывались реальными приметами этого развития. Обращаться к прошлому сейчас поэтому излишне. Важно взглянуть на будущее, но взглянуть на него, основываясь на том, чему нас научило прошлое и что мы видим в настоящем.

1

Естественно, что принципиальная основа нашего языкознания остается неизменной: мы рассматриваем язык как общественное явление sui generis. Как наш собственный научный опыт, так и наблюдение над состоянием языковедческой мысли в других странах только подтвердили истинность и действительность этого положения. А оно в свою очередь определяет все остальное: и направление нашей работы по общим вопросам языкознания, и наше отношение к тому, что мы находим в мировой науке о языке сейчас.

Положение о языке как общественном явлении, как известно, требует прежде всего строгой историчности. Лингвистическая теория должна быть построена на данных истории конкретных языков, причем в качестве непременного условия — языков, различных по типу своего строя и с характерным для каждого типа путем развития. В этом отношении богатейший материал дает языковая действительность нашей страны с ее многочисленными и разнообразными языками — разнообразными и по строю, и по уровню развития, и по историческому пути. Мы уже имеем большую и ценную литературу по описанию отдельных языков нашей страны и целых групп языков (например, кавказских, тюркских, монгольских, маньчжуро-тунгусских, финно-угорских), в том числе и таких, которые описаны с такой детальностью и тщательностью впервые (например, палеоазиатские). Описательную работу необходимо интенсивно продолжать, неуклонно расширяя материал исследования. Эта работа имеет первостепенное значение для дальнейшего подъема образования и просвещения народов Советского Союза, для культурного строительства вообще. Но вместе с этим следует значительно расширить работу по истории всех этих языков, во всяком случае — тех, история которых изучению доступна. Разумеется, подобное историческое изучение необходимо распространять и на языки других народов, особенно тех, которые дают новый и своеобразный материал для изучения проблемы языкового строя — его складывания, его движения, его внутренних трансформаций.

К изучению истории языков должно быть присоединено изучение языковедческой мысли в самом широком масштабе. Каждый большой культурный народ, язык которого имеет долгую историю, отраженную в письменных памятниках, обладает своими представлениями о своем языке — о его природе, его строе, его функциях. У некоторых народов издавна сложилось свое языкознание, нередко — весьма развитое не только в своей практической части, но и в теоретической. Такое «свое» языкознание, будем называть его «национальным», сложилось у народов

Индии, Европы, у арабов, китайцев, японцев. Разумеется, эти отдельные потоки науки о языке могут быть генетически связаны друг с другом, т. е. выходить из одного общего истока; могут быть соединенными различными взаимоотношениями, т. е. влиять друг на друга. Это обстоятельство имеет огромное значение и само по себе создает почву для каких-то общностей. Поэтому изучение истории отдельных языков и групп языков в соединении с изучением истории национальной лингвистической мысли у разных народов в ее своеобразии и в ее переплетениях с лингвистической мыслью у других народов вместе с изучением общего движения языков в истории человечества может послужить надежным критерием при оценке современных общелингвистических теорий. Но, конечно, так будет лишь в том случае, если все это разностороннее изучение будет протекать в общих рамках общественного и культурного развития каждого данного народа и всего человечества.

Разносторонняя работа над изучением и описанием отдельных языков, групп языков, истории отдельных языков и языковых групп, межъязыковых связей и лингвистической мысли различных народов на разных этапах их истории имеет своей конечной целью построение марксистской теории языкознания. Это и составляет важнейшую задачу нашей науки. Конечно, подобная задача не может быть решена в какие-то заранее твердо намеченные сроки. Важно, однако, при всех — даже самых как будто специальных — исследованиях всегда иметь в виду эту общую генеральную цель. Этим не только будет обеспечиваться ее постепенное достижение, но будет повышаться научная значимость каждой отдельной лингвистической работы.

2

Другим направлением нашей работы должно стать изучение языковой действительности нашей эпохи. Научное внимание к языковой практике человечества необходимо для всякого исследователя-лингвиста, даже для того, кто работает над изучением языков глубокой древности: оно обеспечивает необходимое чувство реальности, без которого исследование рискует оказаться абстрактно-схоластическим. То, что происходит в языковой действительности сейчас, ретроспективно освещает многое в прошлом, в какой-то мере указывает и на будущее. Наконец, процессы, имеющие место в языке в наше время, позволяют лучше понять происхождение и существо различных теорий, возникших в мировой науке о языке после эпохи младограмматиков, особенно — в последние два-три десятилетия, а тем самым увидеть в них то, что действительно отражает языковую реальность и что ей только приписывается или вообще создается вне какого-либо отношения к действительности.

Если присмотреться к языковой действительности нашей эпохи, в ней явственно обнаружится все возрастающее разделение языковой практики на речь разговорную и письменную, ведущее к значительному обособлению каждой в своеобразную форму языка. Это разделение не имеет ничего общего с прежним разделением языка на «разговорный» и «письменный» (книжный), наблюдавшимся в истории многих культурных языков. Раньше такое разделение в значительной степени обусловливалось недостаточным уровнем развития общезначимого языка данного народа, разницей в степени и границах просвещения и образования у разных слоев населения, языковой политикой правящих классов. В настоящее время это разделение вызвано грандиозным развитием массовой коммуникации и стремительным ростом точного знания.

Массовая коммуникация является следствием необычайного усиления общественной жизни, все возрастающего участия народных масс в политической и культурной жизни страны: она поддерживается и расширяется усилением борьбы народных масс за право такого участия и общим процессом демократизации культуры и просвещения. Рост точных знаний

является следствием непрерывно и неуклонно возрастающих требований, предъявляемых обществом с его новыми запросами и тяготением к точным наукам.

Поскольку важнейшую сторону массовой коммуникации составляет разъяснение и убеждение, постольку в разговорном языке, этом главном орудии массовой коммуникации, происходит энергичная мобилизация выразительных средств языка, извлекаемых из сферы значений, из сферы интонационной, из сферы приемов соединения и разъединения различных элементов речи. При фиксации разговорной речи в письме вступают в силу приемы, способные в нужной степени компенсировать отсутствие элементов звучания. На почве этих — вполне реальных — фактов и получили в новейшее время особое развитие именно те отрасли науки о языке, которые имеют своим объектом явления значения, интонации и вообще звуковой стороны речи, синтаксиса. В этой орбите в науку вводятся многие новые теоретические концепции, реально отражающие какую-то часть современной языковой действительности. В частности, на этой почве возникла и так называемая «грамматика выражения».

Точное знание есть прежде всего информация. Язык как средство передачи информации не нуждается в указанных выразительных средствах. Вместо них он со всей силой мобилизует знаковую сторону языка, превращая тем самым слово как бы в иероглифический символ, синтаксическую конструкцию — в иероглифическое сочетание. Это привело к появлению в науке о языке ряда теоретических концепций, также во многом отражающих другую часть современной языковой действительности. В частности, на этой почве возникла и так называемая «знаковая теория» языка.

Для развития нашего языкознания в равной степени необходимо и изучение указанных явлений современной языковой действительности, и изучение возникших на ее основе лингвистических теорий. Однако действительно плодотворным это изучение может стать только при условии отчетливого понимания общественной обусловленности как самих явлений языковой действительности, так и возникших на ее почве всяких концепций.

Новой задачей, которую наша современность поставила перед языковедами, является изучение межъязыковых отношений. В нашу эпоху самого широкого распространения одного и того же по содержанию знания, образования, просвещения, необычайного развития международной жизни с ее скрещением, сближением, переплетением, а также столкновением различных тенденций и интересов человечество, представляющее современную цивилизацию, в сущности в огромной части своей языковой практики имеет дело с одними и теми же понятиями и концепциями. Они, естественно, выражаются, как правило, у каждого народа на его языке, но содержание и употребление их в целом у всех одинаковое. Понятие, по-русски выраженное словосочетанием *совещание в верхах*, в немецком получило форму сложного слова *Gipfelkonferenz*, в других языках — иную, но во всех случаях — это одно и то же понятие. Конечно, само явление это далеко не новое; но в нем только необычайно широкий размах. А так как всякое явление в языке, получающее особо интенсивное развитие, приводит к последствиям, имеющим значение уже и для языка в целом, за развитием «интернациональной лексики» в «национальной форме» необходимо следить остро и внимательно. Это необходимо и потому, что развитие такой лексики рисует перспективу сближения языков с сохранением каждым из них своей национальной материальной основы. Настоящей лабораторией, где создаются и проверяются элементы международного языка в различных национальных формах, является огромная практика синхронного перевода, создающая совершенно новое в сфере языка как общественного явления: факт единовременной разноязычной коммуникации.

3

Если попытаться свести все многообразие задач, стоящих перед советским языкознанием на ближайшие годы (без точного определения срока), к немногим категориям или рубрикам, то при некоторой схематизации этих задач, при некотором упрощении можно выделить четыре направления в развитии нашего языкознания в качестве основных: 1) теория советского языкознания; 2) историческое и сравнительно-историческое изучение семей и групп языков, а также отдельных языков и диалектов; 3) изучение строя современных языков и диалектов; 4) основные вопросы семиотики, теории информации и прикладного языкознания. Следует кратко остановиться на главной проблематике каждого из этих направлений, как она представляется при самой общей оценке живых потребностей нашей современности.

В области теории советского языкознания основная задача исследования — создание всесторонне разработанного марксистского учения о языке как общественном явлении и законах его исторического развития. Разработка всего комплекса теоретических проблем советского языкознания, как уже было сказано выше, должна опираться на конкретно-исторические исследования языков — разных как по типу своего строя, так и по общественно-историческим условиям своего развития. Уже на ближайшее десятилетие планируется изучение развития и функционирования языков в разные эпохи, начиная с первобытного доклассового общества до современности. На первый план в данном направлении выдвигается изучение специфических изменений языков и диалектов на разных этапах построения социализма и в период перехода от социализма к коммунизму. Более узкий аспект этой проблемы должен быть реализован в ближайшие годы в разработке темы «русский язык и советское общество» с последующим расширением материала путем охвата и других языков СССР (более 120, из них около 70 письменных) и далее языков всех стран социалистического лагеря. На основе частных конкретно-исторических исследований по отдельным языкам и их группам должны быть произведены обобщения, касающиеся соотношения закономерностей внутреннего развития (саморазвития) языковых систем и тех изменений в них, которыми язык непосредственно отвечает на новые потребности сознания и общения.

К этому кругу исследований отчасти примыкает и проблема связи и соотношения языка и мышления, которая в последние 10 лет почти не разрабатывалась ни философами и психологами, ни языковедами. В ближайшие годы по данной проблеме могут проводиться только подготовительные работы; с одной стороны, по психологии мышления (связи процессов мышления и речи, «внутренняя речь», двусторонность процесса речевой коммуникации), с другой — работы по типологии языков, в частности, по изучению переводимости с одного языка на другой, и, наконец,— экспериментальные работы по «моделированию» языка (на основе применения математических методов), которые должны дать более точное представление о «механизмах речи». Разработка проблемы «язык и мышление» должна вестись в тесной связи с кибернетической проблематикой и с использованием «теории информации», дающей возможность изучать соотношение структурных элементов в «знаковой системе» в самом широком понимании, при котором на разнокачественные системы будут распространяться одни и те же алгоритмы. В силу этого данная проблема тесно переплетается с проблемой языка как системы и связывается с методами структурного анализа языка, т. е. с теоретической проблематикой описательного («дескриптивного») языкознания, изучения языка в синхронном плане. Предполагаются разнообразные исследования, в результате которых должна быть создана значительно более точная методика описания и анализа языка в этом плане. Эти работы должны сопровождаться критическим изучением исследовательской методи-

ки, практикуемой современными зарубежными лингвистическими течениями, и выяснением возможности использования позитивных моментов этой методики. От исследований, посвящаемых на первом этапе отдельным «ярусам» языковой системы (фонологическому, фоно-морфологическому, морфематическому, синтагматическому и т. д.), в дальнейшем необходим переход к обобщению структурных принципов системы в целом и ее соотношению с мышлением.

В теории советского языкознания важное место занимает и проблема литературного языка, в разработке которой за последнюю четверть века так много сделано советскими учеными. В связи с этим обрисовалась в новом свете проблема языка художественной литературы: она предстала как проблема языка — средства образного выражения действительности, т. е. как проблема совершенно специфическая. Поэтому в ином аспекте представляется и специфика языка деловой прозы, публицистики, науки. В этой сфере первоочередной задачей является разработка более «объективной» методики, точной терминологии и стройной системы понятий. Частными проблемами изучения здесь являются: специфика языка поэзии, прозы и драматургии, стили языка и стили речи, стилистическая дифференциация лексики, значение реалистической художественной литературы для развития литературного языка нового времени и т. д.

Теоретической проблемой, без разработки которой не может успешно разрабатываться ни одна из изложенных выше проблем, является проблема закономерностей отмеченного выше взаимодействия языков — проблема, пока еще мало изученная в конкретных деталях. Сюда же примыкает и вопрос об образовании общих структурных и понятийных элементов в современных крупнейших языках мира в силу растущей интенсивности многообразного общения между народами.

Разрешение этих задач неотделимо от анализа всей совокупности лингвистических теорий современности и научного наследия прошлого, от последовательной критики немарксистских теорий и выделения в мировом развитии лингвистической мысли прогрессивных элементов, подлежащих использованию в поступательном развитии советской науки.

4

Как сказано выше, основная черта советского языкознания — это историзм, стремление раскрыть закономерности исторического развития языков и диалектов. Важную роль в этом направлении играет сравнительно-историческое изучение родственных языков, закономерности развития которых частично определяются тенденциями, заложенными еще в глубокой древности, в период общей жизни этих языков. Сравнительно-исторический метод, созданный на протяжении XIX в. и значительно усовершенствованный за последние десятилетия, остается, как совокупность исследовательских приемов, ведущим в советском историческом языкознании. Этот метод, однако, должен основываться на изучении конкретно-исторической жизни народов и сочетаться с изучением взаимодействия языков и воздействия различных «субстратов» как явлений, вызванных той же конкретной историей народов; он должен также соединяться и со сравнительно-типологическими исследованиями. Начатое в последнее время внедрение в сравнительно-историческое языкознание методов лингвистической географии, кристаллизовавшихся на изучении современных живых диалектов, привело к созданию особой лингвистической дисциплины — «ареальной лингвистики» и открывает перспективы дальнейшего расширения поля исследования. С другой стороны, лингвистическая компаративистика получает подкрепление в новом материале топонимических и ономастических исследований.

В Советском Союзе лингвистическая компаративистика продолжает оставаться сильно отстающим участком. Одна из важнейших причин этого

заключается в недостаточной изученности языков и диалектов многих семей и групп языков на территории СССР, вследствие чего исследование строя живых языков должно с течением времени дать новый материал и для исследований по данному направлению.

Задачи сравнительно-исторического изучения языков таких семей, как финно-угорская, тюркская, тунгусо-маньчжурская, кавказская и др., обладают специфичностью, определяемой отсутствием или малочисленностью письменных памятников большой древности и наличием большого диалектного дробления, что вызывает необходимость спецификации и самой методики исследования. Актуальные задачи стоят и перед исследованием лексики родственных языков в генетическом плане, т. е. в области этимологических исследований, также требующих большого уточнения методики и создания надежных этимологических словарей.

Второй аспект исторического языкознания — это история литературных языков и история общенародных разговорных языков в связи с историей диалектов. Сюда же примыкает и история социальных диалектов, различных арго и разных областей и систем профессиональной речи — сфера лингвистического исследования, почти забытая у нас в последнее время. В изучении диалектов необходимо форсировать переход от преобладающих у нас до сих пор описательных монографий к созданию исторической диалектологии отдельных языков, к изучению генезиса отдельных диалектных групп в связи с историческими судьбами данного народа. С изучением литературных языков историческая диалектология перекрещивается в области исследования диалектных разновидностей общенародного разговорного языка и их отражений в языке художественной литературы. Историческое и сравнительно-историческое исследование языков и групп языков не может быть оторвано от изучения строя современных языков и диалектов. Оно опирается на такое изучение.

Задача исследований в этом направлении заключается в приложении принципов и методов, разрабатываемых теорией советского языкознания, к конкретному материалу современных языков и диалектов (в первую очередь языков народов СССР) и вместе с тем во всестороннем усовершенствовании методики описания языков в синхронном плане, что в свою очередь должно быть использовано для дальнейшего развития теории.

Помимо конкретной работы по описанию неизученных или малоизученных языков народов СССР и по более детальному описанию языковых систем крупнейших языков (русского, украинского, грузинского, армянского, казахского и др.), здесь прежде всего выдвигается задача исследования типологических особенностей современных языков, приобретающих также и практическое значение в связи с машинным переводом, с одной стороны, и выработкой точных принципов методики преподавания языков — с другой. Должно быть выяснено взаимоотношение общих и специфических черт структурных моделей различных групп родственных и неродственных языков. На основе исследований в этой почти еще не разработанной области должно быть уточнено само понятие «типа языка». Проблема языковой типологии тесно соприкасается и с частью кибернетической проблематики, а также с проблемою «язык и мышление». Проблема переводимости с одного языка на другой должна разрабатываться на основе марксистского положения о единстве категорий человеческого мышления при безграничном многообразии языкового выражения. Далее нельзя не подчеркнуть важность сопоставительно-типологических исследований, посвященных структурно-семантическому анализу отдельных языковых единиц («слово», «словосочетание», «предложение») в языках разных типов.

Завершением обоих рядов исследований должна явиться общая типология языков мира, причем некоторые предварительные обобщения по типологии языков народов СССР могут быть даны (наряду с итогами

описательных работ по группам генеалогической классификации) в энциклопедическом труде «Языки народов СССР» к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции.

К данному направлению относятся также все вопросы, связанные с нормализацией литературных языков народов СССР. Для достижения решительного сдвига в этой области практического языкознания необходимо провести ряд теоретических исследований, связанных с уточнением понятий «современный язык» и «языковая норма» (в связи с различием принципов нормализации старописьменных и младописьменных языков). Необходимо также изучение закономерностей и тенденций в возникновении новых явлений в современных языках с учетом их исторических традиций, междиалектного и межъязыкового взаимодействия, а также изучение развития «лингвистических вкусов» общества и соотношения сознательного воздействия общества на язык с имманентным развитием самого языка.

5

Развитие современной науки ведет, с одной стороны, к все большей дифференциации и систематизации научных дисциплин, с другой — к появлению новых дисциплин в смежных областях, на стыке разных наук, к возникновению ранее не существовавших синтезирующих областей научных знаний (например, кибернетики). Двусторонний подход к языку — функциональный, как к средству общения между людьми, и имманентный, как к механизму, служащему средством осуществления этого общения,— объясняет и в известной мере оправдывает разделение языкознания, выражаясь несколько условно, на «внешнюю» и «внутреннюю» лингвистику (или, лучше, на «социальную» и «имманентную»). Первая связана с историей, археологией, этнографией и другими общественными науками, вторая — с кибернетикой, математикой и другими точными науками. Между этими двумя сферами лингвистики нет, однако, и не может быть резкой пропасти и вопрос об исключении лингвистики из сферы гуманитарных наук следует считать лишенным серьезного основания. Период господства «нового учения о языке» отличался крайним пренебрежением к проблемам внутренней лингвистики и к «механизму речи». Именно поэтому в советском языкознании, которое стремится извлечь все ценное и плодотворное из мирового арсенала лингвистической науки, в настоящее время очень видное место должна занять разработка основных вопросов семиотики, теории информации и прикладного языкознания. Это направление охватывает ряд самостоятельных проблем, разрешение которых осуществимо лишь при тесном сотрудничестве лингвистов с математиками, специалистами по кибернетике и теории информации, физиками-электрониками, физиологами, электро-акустиками и т. д. Поэтому данное направление должно быть межотделенческим, и лингвистические институты АН СССР и республиканских академий могут разрабатывать только часть проблематики и только в ее лингвистическом аспекте. Однако и в этом плане для реализации намечаемых и выдвигаемых проблем необходимо создание кадров специалистов по прикладному языкознанию, владеющих некоторыми элементами смежных наук. Поэтому масштаб исследований, по необходимости скромный в ближайшие годы, должен в дальнейшем непрерывно расширяться.

Первое место в данном научном направлении занимает применение математических методов в языкознании, которое, быть может, позволит поднять на новую ступень точность лингвистического анализа и выводов из него. Здесь важны такие задачи: применение к изучению языковых явлений вероятностного анализа, теории множеств и математической статистики, исследование всех «ярусов» языковой структуры в связи с общей теорией семиотики и «теорией информации» — работы должны вестись не только в теоретическом плане, но и в любом практическом (ма-

шинный перевод, определение фонологического варьирования и фонетических комбинаций, систематизация грамматических правил сочетаемости морфем и слов в некоторые возможные целые и определение классов этих целых, а также рациональные правила планирования и составления различных типов словарей).

В свете проблем кибернетики будет проводиться и часть экспериментально-фонетических исследований: работы по изучению звукового состава языка, по изучению слога, такта, фразы и т. д. В целях практических необходимо изучать дифференциальные признаки фонемы в их валентных характеристиках, слогообразование, пограничные сигналы, ритмику различных отрезков речи, интонационное строение фразы и т. д. Все это важно для установления корреляций различных рядов языковых фактов и для определения возможностей устного ввода в переводные машины, автоматического управления механизмами и процессами посредством речи в связи с возможной компрессией физических характеристик речи (с учетом избыточной и достаточной информации по всем структурным ярусам языка).

Следующей проблемой является проблема машинного перевода в ее лингвистическом аспекте, которая связана как с общей теорией перевода, так и со специальной «прикладной» тематикой, именно с исследованиями в области анализа и синтеза, программирования алгоритмов перевода по разным языкам с учетом их структурной типологии. Само собой разумеется, что следует усилить разработку межъязыковых соответствий и расширить работу по определению структуры языка-посредника в разных лингвистических аспектах и по созданию специального языка для записи алгоритмов машинного перевода.

К сфере прикладного языкознания относятся также углубление принципов создания или упорядочения отраслевой терминологии, принципов орфографии, транскрипции и транслитерации, а также проблема международных вспомогательных языков, требующая исследования принципов создания искусственных языков, включая символический язык науки в целом и различных наук. Исследования в этой области будут проводиться в свете общей теории семиотики и кодов, учитывая данные теории лингвистических трансформаций и преобразований в области кодирования и перекодирования и достижения в разработке проблемы типологии языков.

Естественно, что очерченным кругом проблем далеко не исчерпывается ни содержание нашего языкознания, ни многообразие путей его развития. Очень важно и очень желательно, чтобы языковеды нашей страны и зарубежные читатели нашего журнала откликнулись на эту редакционную статью.

№ 2 1960

П. СГАЛЛ

ОБИХОДНО-РАЗГОВОРНЫЙ ЧЕШСКИЙ ЯЗЫК

Необходимой предпосылкой для обоснованного описания обиходно-разговорной чешской нормы является предварительное выяснение подступов к этой теме на основе теоретической дискуссии. Последняя может также представлять известный интерес для тех, кто занимается вопросами взаимоотношения литературной и обиходно-разговорной нормы других языков. Мы бы хотели высказать в дискуссионном порядке и некоторые свои соображения. В первую очередь здесь надо выяснить вопрос о том, является ли обиходно-разговорный чешский язык по своей сущности диалектным образованием (это означало бы, что в процессе развития национального языка он будет обречен на угасание вместе с остальными наречиями) или же он входит в ядро национального языка, т. е. относится к тем его компонентам, которые в настоящее время прогрессивно развиваются и вытесняют диалекты.

Известно, что обиходно-разговорный чешский язык довольно значительно отличается от литературного чешского языка не только со стороны лексики и синтаксиса (подобные различия обычны и для других языков), но особенно со стороны фонетики и морфологии. Наиболее яркими и характерными особенностями обиходно-разговорного чешского языка являются: *í* на месте старого *é*, а также в соответствии с литературным *ě* (*víst*, *velkýho*); *ej* на месте старого *ý*, а отчасти и *í* (*přikrejt*, *velkejch*, *vozejk*); протетическое *v-* перед начальным *o-* (*vokno*); твор. падеж мн. числа на *-ma* (*rukama*, *strojema*, *lidma*); формы прошедшего времени типа *nes*, *upad* (без *-l*) и др. Подобные формы употребляют в обычном повседневном общении не только лица, не владеющие вполне литературной нормой, но и многие представители всех слоев населения Праги и большей части чешской языковой территории. К ним прибегают в различных высказываниях неофициального характера: в обычном разговоре (например, *To je krásný, soudružko. A mohla byste bejt tak hodná a připsat tam to datum*?), при рассказе, часто на собраниях, не имеющих официального характера или характера пленума (например, *Vona dělá jako externistka češtinu*); при аналогичных условиях — даже в специальных дискуссиях (например, *Je tam, že to považovali za ňákej instrumentál predikativní*, или же *Von tam mluví vo základním významu slova, teda lexému*[1]); время от времени при определенных обстоятельствах в театре, по радио, в литературе.

Вопрос о взаимоотношении между литературным чешским языком и языком обиходно-разговорным рано или поздно становится актуальным и для каждого чеха, который обращает внимание на форму выражения своих мыслей, и для иностранца, желающего научиться хорошо говорить по-чешски. Возможны ситуации, когда употребление литературной нормы производит впечатление искусственности и даже педантизма, в других же случаях формы обиходно-разговорного языка звучат слишком фамильярно; провести границу между двумя этими возможностями очень трудно. Уже эти предварительные замечания показывают,

[1] Примеры, взятые из речи преподавателей филологического факультета Карлова университета, собраны в феврале 1959 г.; они передаются в обычной чешской орфографии.

что разработка данного вопроса является одной из настоятельных задач богемистики.

Первый систематический разбор указанной проблематики принадлежит акад. Б. Гавранку [2], который охарактеризовал так называемый общенародный разговорный (в нашей терминологии — обиходно-разговорный) язык как интердиалект («obecná čeština»), т. е. как «народный язык... без узкого местного ограничения», который носителями наречий употребляется в качестве наддиалектной нормы, а носителями литературного языка — в качестве нормы нелитературной. Этот общенародный разговорный язык, как считает Б. Гавранек, занимает особое положение по сравнению с остальными, меньшими по объему интердиалектами (возникшими на основе моравских наречий); он получает все большее распространение на их территории. Иногда со стороны формы он бывает очень близок разговорной форме чешского литературного языка («hovorová čeština»), в которой находят свое применение и нелитературные элементы, несмотря на то, что ее носители вполне владеют «строгим» литературным языком [3]. Подобное же по существу определение дает в своих работах проф. Я. Белич, который, однако, подчеркивает региональную ограниченность общенародного разговорного чешского языка, его интердиалектный характер, рассматривая его, таким образом, на одном уровне с моравскими интердиалектами (ганацким, ляшским, моравско-словацким) [4]. В работах Я. Белича различается территориально ограниченный общенародный разговорный чешский язык (с формами типа *vokno*, *velkejch*) и вновь складывающийся общенародный разговорный язык «более высокого типа», который ближе чешскому литературному языку и является более приемлемым для носителей моравских наречий.

В целом можно сказать, что среди чешских богемистов до сих пор довольно распространенной является точка зрения, согласно которой не усматривается существенного различия между обиходно-разговорным (или общенародным) языком и диалектами[5]. Напротив, за рубежом, где этому вопросу уделяется довольно большое внимание, обиходно-разговорный чешский язык считают не диалектом, а разговорной формой чешского языка и т. п.[6] А. Г. Широкова пишет, что «народно-разговор-

[2] B. Havránek, Nářečí česká, «Československá vlastivěda», díl III, Praha, 1934, стр. 87; далее его же, K funkčnímu rozvrstvení spisovného jazyka, «Časopis pro moderní filologii», ročn. 28, číslo 4, 1942. О разговорной форме литературного языка ср.: B. Havránek, Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura, сб. «Spisovná čeština a jazyková kultura», Praha, 1932; его же, Vývoj spisovného jazyka českého, «Československá vlastivěda», řada II. Spisovný jazyk český a slovenský, Praha, 1936.

[3] В более новых работах Б. Гавранка дается несколько иное понимание взаимоотношения между так называемым общенародным разговорным чешским языком и разговорной формой чешского литературного языка (см.: B. Havránek, Stalinovy práce o jazyce a jazyk literárního díla i překladu, Praha, 1951, стр. 45 — 46; его же, K historické dialektologii, SaS, ročn. XVI, číslo 3, 1955, стр. 156 — 159).

[4] Ср.: J. Bělič, K otázce češtiny jako národního jazyka, SaS, ročn. XIII, číslo 2, 1952, стр. 85; его же, Sedm kapitol o češtině, Praha, 1955. Из новых работ см.: J. Bělič, Vznik hovorové češtiny a její poměr k češtině spisovné, сб. «Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958, стр. 59 — 71 и его же, K otázce obecné češtiny, «Studie ze slovanské jazykovědy», Praha, 1958, стр. 429 — 434.

[5] Диалектным образованием общенародный разговорный язык считает, например, акад. Ф. Травничек (ср. F. Trávníček, Úvod do českého jazyka, 2-e vyd., Praha, 1952, стр. 44 и 59).

[6] В области морфологии основное значение имеет работа M. Вея (M. Vey) «Morphologie du tchèque parlé» (Paris, 1946). О взаимоотношении между литературным чешским языком и народно-разговорной чешской речью говорит А. Г. Широкова в статьях «К вопросу о различии между чешским литературным языком и народно-разговорной речью» (сб. «Славянская филология», под ред. С. Б. Бернштейна, вып. 2, М., 1954) и «Из истории развития литературного чешского языка» (ВЯ, 1955, № 4). Некоторые фонологические проблемы затрагиваются Г. Кучерой. См. H. Kučera, Phonemic variations of spoken Czech, «Slavic Word» (Suppl. «Word», vol. XI, № 4), 1955; его же, Inquiry into coexistent phonemic systems in Slavic languages, s'Gravenhage, 1958.

ная речь» составляет вместе с литературным языком «основу национального языка»[7].

Различие точек зрения по данному вопросу, имеющему исключительно важное значение для языковой практики, с достаточной очевидностью указывает на то, что к выяснению этих вопросов можно прийти только на основании тщательного изучения конкретного материала. Однако изучение материала с необходимостью предполагает предварительную теоретическую разработку вопроса, без которой собранный материал не может быть надлежащим образом расклассифицирован и объективно оценен. Прежде всего здесь уместно обратиться к тем понятиям, которыми пользуются богемисты при решении указанных вопросов.

*

Итак, обратимся к содержанию понятий «национальный язык», «литературный язык», «диалект», «обиходно-разговорный язык». Все указанные языковые образования находятся в определенных взаимоотношениях и в состоянии развития. Существенной чертой возникновения и развития национальных языков является, как известно, постепенное сближение и слияние диалектов и вытеснение их из сферы общения во многом единой языковой нормой, которую мы называем ядром национального языка. Поэтому диалекты иногда вовсе не включают в состав национального языка; возможность же существования территориально не дифференцированного общеразговорного нелитературного языка во внимание не принимается. После опубликования работ И. В. Сталина по языкознанию некоторые лингвисты неправильно увидели в них (хотя о литературном языке там прямо не говорится) подтверждение той точки зрения, согласно которой понятия «национальный язык» и «литературный язык» совпадают[8]. В другом случае говорят о том, что только литературный язык является «языком в полном смысле слова национальным», диалекты же (вместе с литературным языком) являются компонентом «национального языка в широком смысле слова»[9].

Отождествление понятий «национальный язык» и «литературный язык» у А. С. Чикобава неприемлемо уже потому, что слово «язык» в обоих этих терминах употребляется в различных значениях. Если мы говорим о языке определенного этнического целого (нации, народности, племени), т. е. о языке чешском, русском, древнеанглийском, о языке вершиков и т. д., мы употребляем это слово в ином значении, чем в термине «литературный язык». Ведь внутри одного и того же языка может быть несколько литературных языков (правда, в порядке исключения; например, в норвежском языке) или же литературный и нелитературный язык. Здесь не приходится уже говорить о целом ряде иных случаев употребления слова «язык» (язык той или иной группы людей или одного человека, язык определенной эпохи, поэтический язык и т. д.).

Лингвисты часто делали попытки терминологически разграничить эти разные значения. Поэтому литературный язык называют иногда одним из стилей языка, а иногда даже диалектом[10].

Те авторы, которые хотя и включают диалекты в национальный язык, но «национальным языком в собственном смысле слова», т. е. ядром национального языка, считают только литературный язык (согласно традиционному пониманию этих вопросов), признают — для периода суще-

---

[7] См. А. Г. Широкова, К вопросу о различии..., стр. 5.

[8] См., например, А. С. Чикобава, Введение в языкознание, ч. 1, 2-е изд., М., 1953, стр. 116.

[9] См.: F. Trávníček, Úvod do českého jazyka, 2-e vyd., стр. 19 и сл.; его же, O jazykovém slohu, Praha, 1953, стр. 12; ср. также J. Bělič, K otázce češtiny..., стр. 83 и сл.; его же, Sedm kapitol..., стр. 16—21.

[10] См. F. Trávníček, Úvod do českého jazyka, Brno, 1948, стр. 31.

ствования национальных языков — только два типа языковых образований: литературные языки и диалекты. Такое понимание иногда предполагает, что постепенное слияние диалектов в период возникновения и развития наций обусловлено прежде всего растущим значением литературного языка (см. указ. выше работы Ф. Травничка). Однако роль литературного языка здесь явно переоценена. Известно, например, что объединение чешских диалектов (прежде всего в Чехии) происходило как раз в тот период, когда литературный чешский язык был очень слабым. Слияние диалектов в период возникновения и развития нации обусловлено прежде всего концентрацией всей жизни нации, в первую очередь концентрацией экономической и политической[11]. Объединение и развитие культурной жизни, а также связанное с этим развитие литературного языка является одним из проявлений указанного процесса, которое, безусловно, имеет большое значение для образования национального языка и объединения диалектов. Значение литературного языка с течением времени постоянно возрастает. Школа, радио, кино, театр и ряд других культурных учреждений распространяют и устную форму литературного языка среди широких масс. Но несмотря на это даже и в настоящее время влияние литературного языка не является единственным определяющим фактором[12].

Для лучшего понимания вопроса о слиянии диалектов необходимо остановиться также на понятии «диалект». Характерной особенностью диалекта обычно считается ограниченность его коммуникативной функции, которая имеет двоякое проявление: 1) диалект служит в качестве средства взаимопонимания только части представителей народа (это так называемое территориальное ограничение), 2) диалект служит средством взаимопонимания только в областях повседневной жизни (скажем условно: функциональное ограничение). Напротив, коммуникативная функция национального языка (хотя и не всегда литературного, как обычно указывается) распространяется на всех представителей нации и на все области человеческой деятельности[13].

Оба названных ограничения диалектов нельзя понимать абсолютно. В отношении функционального ограничения указанная формулировка действительна только в том случае, если считать диалекты составной частью национального языка, ибо в повседневной жизни некоторая часть представителей самых различных наций часто пользуется именно диалектами и, таким образом, диалекты частично выполняют функции национального языка. С другой стороны, территориальное ограничение наречий имеет различную степень. Иногда говорящие, являющиеся выходцами из различных областей, испытывают при разговоре значительные трудности; в других случаях различия сводятся всего лишь к нескольким незначительным фонетическим, морфологическим и лексическим особенностям. Степень подобных различий, которая позволила бы языковые нормы различных областей считать особыми диалектами, установить было бы очень трудно.

Территориальное и функциональное ограничения не обязательно связаны между собой. Так, территориальное ограничение может выступать без ограничения функционального. В этом случае говорят, как правило, не о диалектах, а о двух формах одного и того же языка или о двух литературных нормах и т. п. Подобную ситуацию можно найти, например, в английском (с его английским и американским вариантами) или в нор-

---

[11] Ср.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Немецкая идеология, Соч., 2-е изд., т. 3, М., 1955, стр. 427; И. В. Сталин, Марксизм и вопросы языкознания, М., 1950, стр. 12.

[12] Ср. J. Bělič, Sedm kapitol..., стр. 87 — 101 его же, K otázce obecné češtiny.

[13] Ср., например: F. Trávníček, Úvod do českého jazyka, 2-e vyd., стр. 50 и сл.; A. Kellner, Úvod do dialektologie, Praha, 1954, стр. 12.

вежском, где, однако, взаимоотношения между обоими литературными языками весьма сложные[14]. В случае, когда существует только функциональное ограничение без ограничения территориального, речь идет часто о двух различных языках, о противопоставлении бесписьменного языка письменному литературному (занский и грузинский, в прошлом также белорусский и русский и т. д.)[15]. Таким образом, более точно будет называть *диалектом* только такое образование, которое ограничено как в функциональном, так и в территориальном отношении. Именно в этом значении данный термин будет употребляться в дальнейшем изложении.

Процесс объединения национального языка не является механическим, односторонним отступлением диалектов перед каким-то другим языковым образованием. Здесь следует говорить об одновременной и взаимной нивелировке диалектов, при которой прежде всего сохраняются элементы, общие большей части диалектов. Взаимоотношение диалектов в данном случае обусловлено, кроме численности их носителей, факторами экономическими и политическими (диалекты важных центров распространяются за счет других диалектов), влиянием литературного языка и, наконец, внутренними языковыми факторами (быстрее распространяются элементы, являющиеся упрощением, а не усложнением строя языка). Следствием этих процессов является возникновение так называемых *интердиалектов*, к которым старые территориальные диалекты постепенно приближаются и которым они подчиняются.

Если считать влияние литературного языка единственно решающим фактором при слиянии диалектов, то может остаться без объяснения тот известный факт, что именно интердиалект экономического и культурного центра очень мало уступает влиянию литературного языка, хотя, казалось бы, литературный язык именно в таком центре должен был влиять наиболее интенсивно. Но если в процессе объединения национального языка видеть прежде всего объединение нормы повседневной разговорной речи, ни в какой мере не может удивить тот факт, что центральный интердиалект занимает при этом довольно прочную позицию, в то время как окраинные диалекты поддаются его влиянию, а также влиянию литературного языка. Следует также допустить, что при определенных условиях (когда влияние литературного языка по каким-либо причинам ослаблено) такой интердиалект может распространиться по всей языковой территории и стать общеразговорным, хотя и нелитературным языком[16]. Значит, нельзя согласиться с тем, что каждое нелитературное языковое образование в период существования национальных языков обязательно является диалектом. Ведь общеразговорный язык именно в период объединения национального языка подчиняет себе диалекты и распространяется за счет этих диалектов. Если мы хотим в этом процессе отличить то, что крепнет и развивается, от того, что отступает и уходит, мы должны считать такой общеразговорный язык, если он даже отличается от литературного языка, частью *ядра национального языка* в отличие от исчезающих территориальных диалектов. Установить наличие нелитературной общеразговорной нормы в том или ином языке можно только в результате изучения конкретной ситуации в данном языке.

---

[14] Ср.: М. И. *Стеблин-Каменский*, Образование норвежского национального языка, ВЯ, 1952, № 1; *его же*, История скандинавских языков, М., 1953, стр. 73 — 90; далее J. B. *Michl*, K problémům dvou spisovných jazyků v Norsku, «Sborník prací filosofické fakulty Brněnské university», ročn. IV, číslo 3, řada A, 1955.

[15] Дискуссия румынских языковедов (см. B. *Cazacu*, În jurul unei controverse lingvistice: limbă sau dialect?, «Studii și cercetări lingvisitice», t. X, № 1, 1959) показывает, что вопрос о различии между диалектом и бесписьменным языком очень сложен. В случаях, когда в лингвистическом отношении обстановка не однозначна, решающими являются факторы нелингвистические.

[16] О необходимости такого повседневного языка при определенных условиях говорит Б. Гавранек (см. его «K historické dialektologii», стр. 159).

*

Поскольку речь идет о чешском языке, ему не хватает как раз такого основательного исследования современного положения. Отдельные нормы чешского языка (литературная, обиходно-разговорная, диалектные) пока что часто характеризуются преимущественно функционально, в зависимости от того, кем и при каких обстоятельствах они употребляются, а не путем определения их элементов; во всяком случае, из различий между функциональными и основывающимися на описании реального состава определениями не делаются нужные выводы. Литературный язык можно, конечно, определить путем непосредственного описания, как это делается в грамматиках и словарях, но и здесь нужно помнить о том, что норма литературного языка не совпадает точно с ее кодификацией. У нас имеются описания далеко не всех языковых образований[17]. Из функциональных определений, которые могут относиться к самым различным языкам, прямо никак не вытекает, что в чешском языке устанавливаемые таким образом функции выполняются различными языковыми нормами, и уж вовсе не следует, какими чертами эти нормы отличаются друг от друга. Даже тогда, когда, например, разговорная форма литературного языка определяется как «ненавязчивая правильная речь» без характерных признаков школьной речи, без вульгаризмов и без элементов явно диалектных[18], или, короче, как «разговорная» (mluvná) форма литературного языка, даже и тогда о существе явления говорится, собственно, не больше, чем в определении, базирующемся только на функциональной характеристике.

Мы не хотим отрицать значение определений подобного рода. Хотя они по своему характеру являются односторонними и не дают полной характеристики определяемых языковых образований, тем не менее многое в них находит свое отражение — в частности, например, мера богатства выразительных языковых средств. Однако все же приходится признать, что в настоящее время отсутствует систематическое описание различных норм чешского языка. Совершенно правильно указывают некоторые лингвисты на необходимость создания грамматики обиходно-разговорного чешского языка. Этот недостаток не устраняется названной работой М. Вея, которая хотя и написана с хорошим знанием чешского языка и с большим пониманием вопросов языковой культуры, однако основывается на материалах, собранных в 20-х годах, отчасти уже устаревших; кроме того, в центре внимания этой работы стоят только вопросы морфологии.

Что касается разговорной формы литературного языка, то до сих пор является спорным, вправе ли мы говорить о ней как об особом языковом образовании или здесь скорее идет речь о колебании между литературным чешским языком и обиходно-разговорным языком. Грамматическая структура разговорной формы литературного чешского языка не имеет, по-видимому, никаких отличительных черт, которые не были бы представлены в литературном или обиходно-разговорном языке. Г. Кучера в названной выше статье считает, что для фонологической системы здесь характерна определенная иерархия элементов литературных и обиходно-разговорных (например, употребление обиходно-разговорного *vo-*, по наблюдениям Кучеры, имеет место преимущественно в таких высказываниях, где употребляется также оби-

[17] Некоторые наречия подробно описаны в диалектологических работах, обзор которых дает Я. Белич в сб. «Československé přednášky...» («Stav a úkoly české dialektologie»); однако в этих работах чаще обнаруживается стремление зафиксировать более старое состояние данного диалекта, а не современную обстановку.

[18] См.: B. Trnka, Čtení o jazyce a poesii, SaS, ročn. IX, číslo 1, 1943, стр. 38; F. Kopečný, Spisovný jazyk a jeho forma hovorová, «Naše řeč», ročn. XXXIII, číslo 1—2, 1949, стр. 17.

ходно-разговорное *í* в соответствии с литературным *é* и т. д.). Те лингвисты, которые стремятся не только установить наличие такой иерархии, но и констатировать, какие элементы относятся к разговорной форме литературного языка, а какие нет [19], понимают, что здесь не может идти речь о единой норме и что их характеристика не охватывает разговорную речь всех активных носителей литературного языка; в обычном повседневном разговоре часто пользуются обиходно-разговорным языком, часто смешивают по-разному элементы литературного и обиходно-разговорного языка. До сих пор не установлено, какая часть говорящих действительно употребляет в обычном разговоре так называемую разговорную форму литературного языка в том виде, как она была охарактеризована различными авторами (показательно, что характеристика не едина), далее, от чего зависит выбор речи той или иной группы говорящих между последовательно проведенной литературной нормой, нормой с возможными отклонениями и нормой нелитературной. Поэтому преждевременно делать какие-либо выводы по данным вопросам.

Неустойчивость разговорной нормы, так же как и различие между литературным и обиходно-разговорным языком, уходят корнями в исторические условия развития чешского языка. Известно, что связанное с процессом возникновения чешской нации объединение чешских диалектов происходило долгое время в отрыве от развития литературного языка [20]. В результате национального и социального гнета, наступившего после подавления чешского восстания в 1620 г., употребление чешского языка в полной мере сохранилось только в среде сельского населения; в городах же стал употребляться немецкий язык или же чешский, чрезвычайно насыщенный немецкими элементами. В период национального возрождения создание литературного языка осуществлялось поэтому не на основе живого разговорного языка того времени, а на основе языка развитой литературы XVI в., что было обусловлено и общественно-историческими условиями того времени.

Процесс объединения чешских диалектов начинается в глубоком прошлом; он заметно проявляется уже на протяжении XV и XVI вв. (по крайней мере в Чехии) [21]. Позже он был на некоторое время задержан укреплением феодализма, раздробленностью страны, преследованием чешской культуры, но не был остановлен полностью. Важно отметить, что в основном этот процесс проходил именно в тот период, когда развитие литературного языка было ослаблено и не могло осуществляться в полном контакте с развитием живого разговорного языка. В период взаимного влияния чешских диалектов при отсутствии полного контакта с литературным языком очень усилились позиции обиходно-разговорного языка, который все более начинает вытеснять диалекты на территории Чехии. В Моравии процесс концентрации диалектов проходил не так быстро и прямолинейно; там до сих пор местные наречия сохранились в гораздо большей степени. Этим объясняется известное преимущество обиходно-разговорного чешского языка над моравскими интердиалектами, обусловленное также и значительным численным перевесом носителей обиходно-разговорного чешского языка и другими обстоятельствами.

В Моравии до сих пор существуют диалектные области, где обиходно-разговорный чешский язык воспринимается как территориально ограниченный, хотя и здесь употребление литературного языка в обычном неофициальном разговоре производит впечатление аффектированно-

---

[19] См. особенно: B. Havránek, Nářečí česká, стр. 87; F. Kopečný, указ. соч., стр. 17—20; J. Bělič, Vznik hovorové češtiny a její poměr..., стр. 68—70.

[20] Здесь мы касаемся этих вопросов очень коротко. Подробнее см.: B. Havránek, Vývoj spisovného jazyka českého; А. Г. Широкова, Из истории развития...

[21] См. B. Havránek, K historické dialektologii, стр. 154.

го[22]. В этих областях до сих пор не существует единой общенациональной языковой нормы, которая была бы употребительна в повседневном разговоре без специального стилистического оттенка. Напротив, на большей части чешской языковой территории, где в повседневном бытовом употреблении преобладает обиходно-разговорный язык, его территориальная ограниченность заметно не ощущается. Хотя и здесь имеются местные отклонения, но они не так заметны как прежние диалектные различия.

Чешский обиходно-разговорный язык многими фонетическими и иными чертами ближе к литературному языку, чем моравские говоры. В качестве разговорного языка главного экономического и культурного центра обиходно-разговорный чешский язык проникает и в моравские города[23]. Все это значит, что обиходно-разговорный чешский язык не отмирает вместе с диалектами; напротив, он, развиваясь, постепенно становится общеразговорной формой национального языка.

Таким образом, для дальнейшего развития чешского языка в соотношении его различных компонентов существенным является прежде всего взаимоотношение между обиходно-разговорным и литературным языком, т. е. между обоими компонентами его ядра (в которое не входят исчезающие диалекты). С начала прошлого столетия значение чешского литературного языка постоянно возрастает, и его позиция все более укрепляется. Все большую действенность приобретает в наше время и его устная форма, которая получает распространение благодаря школе, радио, росту образования и различным культурным мероприятиям.

Различие между литературным и обиходно-разговорным языком все же сохраняется. Интересно, что основной момент этого различия заключается не в том, что литературный язык располагает большим богатством выразительных средств: само по себе это не могло бы оказать решающего влияния на оценку обеих норм. Обиходно-разговорный чешский язык отличается от литературного прежде всего особенностями своей фонетики и грамматики, затрудняющими освоение литературных норм. Под влиянием некоторых учителей и работников культурного фронта у части говорящих появляется вторичная оценка обиходно-разговорного чешского языка — они видят в нем какой-то «более низкий» язык с «неправильными» формами (хотя сами формы типа *velkejma* и т. д. могут выражать данную действительность так же хорошо, как и формы литературные) и считают необходимым употреблять формы литературного языка и в обычном разговоре, что в свою очередь производит впечатление педантизма.

Несомненно, литературный язык имеет в своем распоряжении значительно больше слов, необходимых в различных областях культурной жизни, чем обиходно-разговорный язык, не испытывающий потребности в таком множестве слов в силу ограниченности сферы своего применения. С этим связано также наличие в литературном языке большего богатства различных тонко дифференцированных синтаксических конструкций. Однако различие между литературным и обиходно-разговорным чешским языком в этой области не столь резко, как в области фонетики и морфологии. Обиходно-разговорный язык повседневно заимствует из литературного языка те средства выражения (особенно лексику), в которых он нуждается.

В зависимости от потребности богатством выразительных средств литературного языка можно располагать относительно свободно как в сочетании с формами литературного языка, так и в сочетании с формами обиходно-разговорными. Некоторые примеры совмещения в речевом употреблении собственно литературных слов и особенностей обиходно-раз-

[22] См., например, J. Bělič, Sedm kapitol..., стр. 97.
[23] См., например, J. Bělič, Sedm kapitol..., стр. 91 и сл.

говорного языка уже были приведены выше. Присоединяем к этому еще следующие: *Proč by nemohli do toho bejt zasvěcený už v době zrodu takovejdlech reforem.— Máme vypsaný konkursy a dokonce vobsazený konkursy lidma.— Já to... považuju za nesprávný; nevim, podle jakejch měřitek se k tomu dospělo.*

Фонетические и морфологические различия между обиходно-разговорной и литературной нормой в чешском языке представлены значительно ярче, чем в других славянских и неславянских языках, где литературная норма стабилизовалась позже на основе разговорного языка[24]. Часто чешский язык в этом отношении сравнивают с языками со старой литературной нормой, устанавливавшейся на протяжении ряда столетий, главным образом с западноевропейскими языками. Но ни в английском, ни во французском языке устная норма литературного языка так прямо не связана с его письменным обликом (чему способствует традиционное правописание)[25].

Расхождение между литературным и обиходно-разговорным чешским языком, возникшее при особых исторических условиях развития чешского языка, следует признать явлением исключительным и нездоровым. Несмотря на все возрастающее значение устного литературного языка, не приходится ожидать, что в своем дальнейшем развитии обиходно-разговорный чешский язык в полном объеме уступит свое место литературному языку[26]. Различие между обеими нормами не может быть сглажено односторонним подчинением живой разговорной речи народа искусственно (хотя не без основания) восстановленной норме, которая содержит формы, в живой речи давно умершие, а также формы, которые возникли на основе особенностей письменной нормы, а в живой речи (кроме некоторых окраинных наречий) вообще не существовали[27].

Если принять во внимание все указанные обстоятельства, а также то, какое значение имеет для каждой литературной нормы контакт с общеразговорной речью[28], то следует признать, что одним из необходимых средств для ликвидации нездорового разрыва между обеими нормами является д е м о к р а т и з а ц и я л и т е р а т у р н о г о ч е ш с к о г о я з ы к а[29]. В связи с очень малой изученностью обиходно-разговорного чешского языка в настоящее время было бы неуместно дискутировать о том, какие отдельные элементы обиходно-разговорной нормы сохранятся и получат распространение, какие, напротив, будут уступать, а со временем, может быть, и исчезнут. Однако в связи с вопросом о демократизации чешского литературного языка следует отметить, что в этом от-

---

[24] Как показывают русские исследователи (например, П. С. Кузнецов, В. Г. Орлова, С. И. Ожегов), литературная норма русского языка в фонетике и в морфологии по существу не отличается от общеразговорной речи Москвы.

[25] В области демократизации французского литературного (письменного) языка особого внимания заслуживают усилия М. Коэна (см. M. C o h e n, Grammaire et style. 1450 — 1950, Paris, 1954).

[26] См. B. H a v r á n e k, K historické dialektologii, стр. 159; подобные же взгляды высказываются М. Веем (указ. соч., стр. 125 — 128).

[27] Например, произношение письменного *ý* как *i* (ср.: B. H a v r á n e k, Vývoj spisovného jazyka českého, стр. 123; е г о ж е, Influence de la fonction de la langue littéraire, TCLP, 1, 1929, стр. 110—113). Речь идет не о восстановлении старого произношения гласного *ý*, а лишь об обновлении корреляции кратких и долгих гласных.

[28] Ср., например, E. S a p i r, Language, N. Y., 1921, стр. 166 и сл. А. С. Чикобава пишет, что «именно речь трудовых масс и составляет основу общенародного языка» («Введение...», I, стр. 72) и что «жизненные интересы литературного языка требуют, чтобы он не отрывался от родной основы, от неисчерпаемых источников устной речи» (там же, стр. 119).

[29] О демократизации литературного языка см. B. H a v r á n e k, Vývoj spisovného jazyka českého, стр. 132. Материал о проникновении черт общеразговорного чешского языка в литературную норму и краткий обзор взглядов на этот вопрос см. в указанной работе М. Вея (стр. 175 и сл.).

ношении довольно мало внимания уделяется морфологии[30], хотя именно здесь (и в некоторых областях синтаксиса, например в области управления, где речь идет не о богатстве синтаксических средств, а скорее о вопросах «синтаксической формы») имеются, по-видимому, некоторые элементы, уже готовые для признания их в качестве литературных. Речь идет прежде всего о таких формах, которые часто употребляются в устной литературной речи и признание которых не означало бы ни обеднения языка, ни слишком существенных изменений в его кодификации. В этом отношении могли бы быть приняты во внимание, между прочим, инфинитивы типа *moct*, *říct*; вин. падеж ед. числа местоимения *ho* для ср. рода; вероятно, также согласование форм среднего рода во мн. числе типа *ty okna byly*; далее, конструкции типа *učit koho co*, *použ'vat co*[31]. Соответствующие конструкции и формы, требуемые современной кодификацией, являются более или менее книжными и наверняка исчезли бы довольно быстро (подобно тому, как исчезают в настоящее время формы *maži*, *češi* и т. д.), даже если бы они были оставлены в качестве дублетов. Из фонетических явлений (поскольку об этом вообще можно говорить в таком коротком обзоре без необходимого предварительного исследования материала) здесь можно было бы назвать *í* на месте книжного *é* в таких словах, как *míň* (имеются в виду такие пары, как *méně—míň*; ср. *lépe—líp*, где обе формы признаны литературными), т. е. в определенном смысле речь идет скорее о вопросах лексических, чем фонетических, в связи с чем такое изменение кодификации не являлось бы слишком серьезным.

Бесспорно, что и менее значительные изменения в кодификации натолкнулись бы на определенное сопротивление некоторых учителей и части общественности. Этому не следует удивляться. Часто и лингвисты формы обиходно-разговорного чешского языка называют вульгарными, хотя вообще не ясно, в каком значении употребляется ими это слово. Общественность до сих пор не ознакомилась в широком масштабе с тезисом, который в свое время выдвинул в богемистике акад. Б. Гавранек, показавший, что языковая норма существует и развивается как что-то о б ъ е к т и в н о е, независимо от того, кодифицирована она или нет. Таким образом, свою норму имеют и нелитературные языковые образования. Норму литературного языка могут характеризовать и такие элементы, которые не признаны кодификацией[32]. Учитывая, что сама норма каждого живого языка развивается, время от времени должна изменяться и ее кодификация. Ведь языковая культура должна развиваться в зависимости от реального развития языковых норм*.

Перевела с чешского *А. Г. Ширэкова*

---

[30] Определенные изменения в кодификации грамматической нормы в последнее время нашли свое отражение в школьном издании правил чешского правописания (Praha, 1958). Изменения главным образом касаются колебания между различными типами слов (например, между типом *kost* и *píseň*, *beru* и *dělám* и т. д.); см. изложение этого вопроса у А. Едлички и В. Шмилауера (A. J e d l i č k a a V. Š m i l a u e r, Tvarosloví v školních pravidlech českého pravopisu, «Naše řeč», ročn. 41, číslo 5—6, 7—8, 1958, стр. 138—149 и 177—190).

[31] О проникновении таких конструкций в литературный язык см. B. H a v r á n e k, A. J e d l i č k a, Stručná mluvnice česká, 7-e vyd., Praha, 1958, стр. 160 и сл.

[32] См. статью Б. Гавранка «Úkoly spisovného jazyka a jeho kultura», стр. 33 и сл. (ср. и статью В. Матезиуса «О požadavku stability ve spisovném jazyce» в том же сб. «Spisovná čeština», стр. 26); ср. С. И. О ж е г о в, Очередные вопросы культуры речи, сб. «Вопросы культуры речи», 1, М., 1955, стр. 14 и сл. Мы используем здесь термин Б. Гавранка «кодификация» (хотя он и не во всем удачен), так как под «нормализацией» часто подразумевается образование нормы.

* Настоящая статья возникла в связи с рядом вопросов, выдвинутых доц. А. Г. Широковой, также изучающей проблему соотношения литературной и обиходно-разговорной нормы чешского языка (статья А. Г. Широковой, посвященная этой теме будет опубликована в № 3 журнала «Филологические науки» за 1960 г.). Хотелось бы, чтобы мысли и положения А. Г. Широковой послужили толчком для начала дискуссии по поставленным вопросам.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1960

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. И. ЕФИМОВ

О РОЛИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Для более точного и объективного определения влияния языка художественной литературы на развитие русского литературного языка в XIX—начале XX в. необходимо уточнить самые принципы подхода к решению этой сложной проблемы. Следует, во-первых, установить, в каких сферах литературного языка указанного периода это влияние было наиболее ощутимо и в каких случаях роль языка художественной литературы была весьма незначительной; во-вторых, выяснить, в чем конкретно выражалось влияние языка художественной литературы; в-третьих, решить вопрос о правомерности резкого противопоставления литературного языка и языка художественной литературы, а также о месте языка выдающихся писателей в истории литературного языка.

Известно, что литературный язык развивается как сложная, исторически изменяющаяся система систем. Его составными частями являются: фонетико-орфоэпическая система, грамматическая система, система лексико-фразеологическая и, наконец, стилистическая система, наиболее сложная и изменчивая, острее других испытывающая влияние языка художественной литературы. Поэтому самой природой литературного языка подсказываются два основных аспекта изучения его развития: исторический и стилистический, которые не должны противопоставляться друг другу, а наоборот — органически сочетаться. Изучение всех элементов литературного языка должно быть историко-стилистическим, подразумевающим анализ не только состава речевых средств, но и закономерностей их функционирования в разных типах речи. Из этого следует, что на историю литературного языка нельзя смотреть исключительно глазами историка-грамматиста и изучать ее теми же методами, которые используются, например, в исторической грамматике при исследовании развития морфологической структуры общенародного языка.

Роль языка художественной литературы в развитии всех сторон литературного языка далеко не одинакова. Так, устойчивость морфологических норм в сложившемся национальном литературном языке после Пушкина не дает оснований говорить о значительной роли писателей в в развитии грамматической системы. В области произносительно-фонетических средств и норм этот период тоже не отмечен заметным влиянием языка художественной литературы (как это имело место в XVIII в.). Но совсем иные возможности открывались перед писателями в сферах лексико-семантической и фразеологической. Наиболее же сильно и ощутимо влияние языка художественных произведений сказывалось на развитии стилистической системы литературного языка (см. ниже).

Прежде чем характеризовать важнейшие черты стилистической системы, необходимо согласиться с тем, что под термином «история литературного языка» мы будем разуметь не только развитие грамматических и лексических средств языка, но также систему его стилей и характерных для них экспрессивно окрашенных речевых средств. Об этом приходится

говорить потому, что в наше время существует тенденция отказаться от привлечения в качестве предмета исследования языка художественных произведений и самых стилей литературного языка. Одним из поводов к этому, как ни странно, послужило замечание авторов проспекта «Очерков истории русского литературного языка XIX в.», которые, указывая, что будут изучать развитие грамматических и лексических средств, писали: «Вопросы же, которые до сих пор обычно стояли в центре исследовательских интересов языковедов, изучающих историю литературного языка,— такие, как история стилей литературного языка, описание языковых особенностей разных жанров письменности, характеристика языка и стиля произведений отдельных писателей и т. п.,— остаются за пределами наших „Очерков“»[1].

Эта своего рода «фигура умолчания» была понята рядом филологов таким образом: все внимание следует сосредоточить на изучении грамматики и лексики литературного языка; что же касается его стилей и языка писателей, то ими заниматься не следует, а пристальное внимание к ним — если не заблуждение, то во всяком случае явление нежелательное[2]. Подобного рода недоразумения побуждают усилить аргументацию в пользу изучения истории литературного языка как истории национальной речевой культуры XIX — первой половины XX в., а в соответствии с этим назвать конкретные задачи и проблемы, связанные с влиянием языка художественной литературы на русский литературный язык этого периода.

Есть все основания утверждать, что предмет науки о литературном языке нельзя так суживать и ограничивать, ибо тогда она во многом отождествляется с несколько расширенной и доведенной до нашего времени исторической грамматикой и исторической лексикологией. В итоге исчезает самый предмет изучения истории литературного языка: если историческая грамматика, исследуя закономерности развития системы языка, не будет ограничивать свои наблюдения XVI—XVIII вв., а подробно охарактеризует изменения в морфологии, словообразовании и синтаксисе, происходившие в XIX в., то что же останется на долю истории литературного языка? Кроме того, многие изменения в парадигмах и синтаксических связях, описанные в хронологической последовательности, еще не вдохнут «духа жива» в науку о литературном языке, не дадут о нем представления как о важнейшем факторе национальной речевой культуры. Такие сводки парадигм представят литературный язык в виде своеобразного гербария, в котором нет ни цветов, ни плодов. Между тем, как сказал акад. А. А. Шахматов, история литературного языка — это «история развития русского просвещения».

Рассматривая литературный язык как систему стилей и характерных для них речевых средств, как явление, развивающееся в единстве с развитием литературы (художественной, публицистической, научной и т. д.), исследователи в таком случае правильно понимают предмет науки. В качестве объекта наблюдений они имеют не только развитие и нормализацию самих средств литературного выражения, но также их стилистическое своеобразие и важнейшие закономерности употребления. Ведь литературный язык — это не склад мертвых, безжизненных речевых единиц. В нем слова, выражения, словосочетания живут вместе со способами и приемами их применения. Поэтому историк литературного языка стоит перед необходимостью изучения всех его стилевых разновидностей, включая книжную и разговорную формы, в том числе ораторскую речь.

---

[1] См. «Очерки истории русского литературного языка XIX века». Проспект (Материалы к обсуждению), М., 1956, стр. 4—5.

[2] См., например, В. Б. Бродская, С. О. Цаленчук, История русского литературного языка, ч. 1—X—XVIII вв., [Львов], 1957, стр. 3, где в качестве «существенного недостатка» моего «Курса лекций» по истории русского литературного языка отмечается «слишком большой интерес к характеристике различных речевых стилей и их дифференциации».

Поскольку же язык художественной литературы является важнейшей и организующей разновидностью литературного языка, внимание к роли писателей в этом процессе должно быть разносторонним и неослабным. Трудно представить себе и согласиться, будто бы язык Чехова, под обаянием и благотворным влиянием которого воспитывается не одно поколение грамотных людей,— это замечательное событие в истории русской речевой культуры, со всем многообразием средств и приемов литературного выражения,— не имеет никакого отношения к истории русского литературного языка конца XIX — начала XX в.

*

Определить роль художественной литературы в развитии национального литературного языка — это значит раскрыть сложный исторический процесс плодотворного влияния речевой деятельности писателей на обогащение и совершенствование средств литературной речи, а также норм и приемов их употребления. При решении этой задачи возникает необходимость четко различать явления, хотя и имеющие значительную общность, но тем не менее явно неоднородные: 1) стилистический аспект, т. е. обогащение литературного языка новыми сочетаниями слов, выражениями, оборотами, новыми значениями и смысловыми оттенками, оригинальными приемами употребления, являющимися результатом творчества писателей и расширяющими изобразительно-выразительные возможности языка, развивающими его стилистическую систему; 2) собственно языковой, т. е. пополнение через посредство художественной литературы грамматических и лексических средств, входящих в состав языковой системы.

Проблема взаимодействия языка художественной литературы и национального литературного языка может быть правильно решена лишь в том случае, если в качестве исходного положения будет принят тезис о взаимосвязи и взаимообусловленности процесса их развития. В соответствии с этим положением должна строиться как наука о литературном языке, так и стилистика художественной речи. Больше того, самая история русской литературы не может плодотворно развиваться в отрыве от истории национальной речевой культуры. Эта мысль неоднократно развивалась историками русского языка и зарубежными филологами. Например, А. А. Потебня считал историю русского литературного языка основой для истории литературы, которая, по его словам, «должна все более и более сближаться с историею языка, без которой она так же ненаучна, как физиология без химии»[3]. Взгляды И. И. Срезневского на тесную связь развития языка и литературы имеют первостепенное значение для решения вопросов периодизации истории литературного языка. Он полагал, что «главные эпохи нашей новой литературы, эпохи Прокоповича и Кантемира, Ломоносова и Сумарокова, Державина и Фонвизина, Карамзина и Крылова, Жуковского и Пушкина — это эпохи развития народности в книжном языке более даже, чем эпохи усовершенствования литературы по ее содержанию, эпохи развития народности литературного языка в отношении к словам и оборотам, к складу и слогу и т. п.»[4]. В трудах К. С. Аксакова и Я. К. Грота о роли Ломоносова и Карамзина в истории русского литературного языка сделана попытка определить значение выдающихся писателей для развития речевой культуры и строить эту науку, учитывая роль личности писателя. Однако теоретическая основа таких исследований еще не была разработана.

В таком же плане строится история других славянских литературных языков. Прослеживая историю развития польского литературного языка позднего периода, Т. Лер-Сплавинский выдвигает на первый план

[3] А. Потебня, Мысль и язык, 3-е изд., Харьков, 1913, стр. 182.
[4] И. И. Срезневский, Мысли об истории русского языка, М., 1959, стр. 78.

язык художественной литературы, подробно характеризуя язык и стиль выдающихся авторов и обнаруживая в их творчестве отражение общих тенденций развития польской литературной речи [5]. Б. Гавранек в «Истории литературного чешского языка» уделяет большое внимание развитию поэтической речи, ее различным типам, характерным для эпох классицизма и романтизма [6]. К. Горалек стоит на тех же позициях, утверждая в частности, что роль национальной художественной литературы в развитии славянских литературных языков «определяется диалектикой функционального использования языковых средств при создании произведения словесного искусства» [7].

Итак, с уточнением предмета изучения и с выработкой методов исследования более четко определится и научная проблематика. Среди других проблем должное место займут и те, которые связаны с выяснением роли языка художественной литературы в развитии литературного языка. Назовем некоторые из них: 1) значение языка художественной литературы для развития стилистической системы литературного языка; 2) проблема периодизации истории литературного языка в соответствии с этапами развития литературы; 3) роль писателей в развитии народности (т. е. в так называемой «демократизации») литературного языка; 4) принципы литературного освоения просторечных и других нелитературных речевых средств; 5) роль личности выдающегося писателя в развитии средств и приемов литературного выражения; 6) значение художественной литературы в расширении и нормализации лексико-фразеологических и грамматических средств, в развитии системы синонимических соответствий; 7) влияние на средства литературного языка и приемы словоупотребления различных литературных направлений, школ и жанров (классицизм, романтизм, реализм и т. п.); 8) роль писателей в повышении культуры речи; 9) влияние литературного языка (при посредстве художественной литературы) на диалектную и народно-разговорную речь; 10) проблема общих и специфических черт литературного языка и языка художественной литературы и др. Не претендуя на объяснение, а тем более решение этих сложных проблем, мы ограничимся в данном случае выяснением некоторых общих положений, касающихся роли художественной литературы в развитии русского литературного языка.

*

Обратимся в первую очередь к вопросам влияния языка художественной литературы на стилистическую систему литературного языка. В данном случае не представляется возможным дать подробное и всестороннее определение самого понятия стилистической системы — это предмет особой статьи, в которой должна быть охарактеризована специфика этой сложной категории и названы процессы исторического развития и взаимодействия ее элементов. Поэтому дадим краткое («рабочее») определение стилистической системы, указав на ее составные части и роль писателей в ее совершенствовании и развитии.

Стилистическая система национального литературного языка со всем ее богатством и разнообразием — это та его важнейшая и специфическая сторона, благодаря которой последний значительно отличается от разговорно-бытовой речи народа. Есть основания утверждать, что стилистическую систему литературного языка образуют как все его основные стили с их разновидностями и подгруппами (художественно-беллетристические, публицистические, научные, деловые и т. п.), развивающиеся во взаимо-

[5] T. Lehr-Spławiński, Język polski, 2 wyd., Warszawa, 1951 (см. русский перевод: Т. Лер-Сплавинский, Польский язык, М., 1954).

[6] B. Havránek, Vývoj spisovného jazyka českého, «Československá vlastivěda», řada II, Praha, 1936.

[7] K. Horálek, Úloha národní umělecké literatury ve vývoji slovanských spisovných jazyků, сб. «Československé přednášky pro IV. Mezinárodní sjezd slavistů v Moskvě», Praha, 1958, стр. 419.

связи и взаимодействии, так и все характерные для различных видов литературной речи экспрессивные, стилистически окрашенные элементы лексики, фразеологии, словообразования, грамматики, которые употребляются наряду с нейтральными средствами языка и на их фоне, образуя многочисленные языковые светотени. В состав стилистической системы языка входят все образные речевые средства. Например, афоризмы писателей («А ларчик просто открывался»), вошедшие во фразеологию литературного языка, отличаются своим стилистическим профилем, а поэтому относятся к экспрессивно-стилистическим средствам литературного языка. То же следует сказать относительно экспрессивных синонимов (*очи* — глаза, *конь* — лошадь) и о др. изобразительных средствах: переносно-метафорических значениях слов, образных перифразах и т. п.

Следовательно, под стилистической системой литературного языка разумеется совокупность его стилевых разновидностей и стилистически окрашенных речевых средств, исторически сложившихся в каждом стиле, употребляемых на фоне и в сочетании с нейтральными общестилевыми средствами и используемых в соответствии с установившимися стилистическими нормами. Прослеживая важнейшие изменения этой системы, мы каждый раз убеждаемся, что наиболее активная роль в ее развитии принадежит художественной литературе, на язык которой обычно равняются публицисты, ораторы и др. Дело в том, что существование стилистической системы литературного языка немыслимо без сложившихся на каждом этапе его развития стилистических норм литературной речи. Отклонения и нарушения этих норм бывают различными. Во-первых, нарушение стилистических норм, например, у учащихся, у людей, приобщающихся к литературному языку; чаще всего оно квалифицируется как недостаточная грамотность (например: «Онегин, хотя и не был *стилягой*, но одевался он...»). Во-вторых, отклонения и новаторство в этой области, осуществляемое крупными писателями; оно дает весьма эффективные и плодотворные результаты. Это отчетливо прослеживается в тех случаях, когда авторы смело объединяют элементы, принадлежащие разным стилям, не считаясь при этом с общепризнанными приемами их употребления. См., например, сатирические формулы Салтыкова-Щедрина: «Политико-экономическое рассуждение на тему: „Не устроить ли колбасную?"», «Исследование на тему: была ли замужем Баба-Яга», административная «Комиссия несведения концов с концами» и др.

Известно, что в системе стилей литературного языка язык художественной литературы (т. е. стили художественно-беллетристические, обладающие рядом общих черт и дифференцирующиеся в зависимости от идейного направления произведения, его жанра, литературной школы, к которой принадлежит автор, и т. п.) занимает центральное положение. Это своего рода «сердцевина» литературного языка. Если соотношение его основных стилей можно было бы изобразить в виде концентрически расположенных кругов, соединяющихся подобно звеньям одной цепи, то в самом центре расположился бы круг, обозначающий язык художественной литературы. Именно с языком художественной литературы (если иметь в виду язык авторского повествования и речь образованных действующих лиц) связано представление о литературности и нормированности. Всякие виды стилизации возможны лишь при условии существования сложившихся стилистических норм литературного языка.

Из этого следует вывод: с точки зрения исследователя стилистической системы литературного языка, язык писателей — важнейший предмет изучения, ибо это — конкретное воплощение литературного языка эпохи.

В чем конкретно выражается влияние писателей на стилистическую систему литературного языка?

1. Речевое творчество писателей, как убеждают в этом наблюдения над развитием русского литературного языка в XIX в., оказывает на некоторых этапах его решающее влияние на коренные изменения в сти-

листической системе литературного языка этого времени. Например, под влиянием деятельности Пушкина в этой системе происходят большие преобразования. Известно, как было велико значение реформаторской деятельности Ломоносова в XVIII в. (о системе трех стилей см. ниже). Карамзина Белинский считает «преобразователем языка и стилистики» [8].

2. Соотношение и взаимодействие основных стилей литературного языка, выдвижение на первый план стилей поэзии или прозы, влияние элементов романтической литературы на общепринятые нормы и способы выражения, преобразования в языке, происходившие в связи с появлением и развитием реализма [9],— все это свидетельствует о значительной роли языка художественной литературы.

3. Писатели, подобные Салтыкову-Щедрину, оказывали заметное влияние на развитие некоторых стилевых разновидностей литературного языка, в частности на стили общественно-публицистические. То же самое можно сказать относительно ораторской речи, ибо, например, в выступлениях судебных деятелей второй половины XIX в. часто встречались средства и приемы образно-литературного словоупотребления.

4. Главным образом в языке художественной литературы появляются и утверждаются новые принципы и способы освоения и литературной обработки элементов живой народно-разговорной речи. Именно Пушкин, Гоголь, Щедрин, Островский и другие писатели дали непревзойденные образцы использования народных пословиц, просторечных слов и т. п.

5. Новые типы и модели сочетания слов, новые приемы их объединения, реформаторская деятельность Карамзина и Пушкина в области синтаксиса литературного языка — все это те факторы, с которыми нельзя не считаться, говоря о роли языка художественной литературы.

6. Развитие фразеологической системы литературного языка, формировавшейся из национальных русских источников, а также путем заимствования, калькирования, создание многих афористических изречений, популяризация в XIX в. церковно-книжных выражений и т. д. и т. п.— все это осуществлялось при активном участии писателей.

7. Стилистическая оценка слов и выражений, которую часто давали в своих произведениях авторы, в ряде случаев определяла дальнейшую судьбу слов, приобретавших своеобразный «стилистический паспорт».

8. Прежде всего писателям принадлежит разработка самих принципов объединения в единое целое элементов, присущих различным стилям, о чем, например, говорил Гоголь, успешно занимавшийся этим. Имея в виду язык Державина, он поражался «необыкновенным соединением самых высоких слов с самыми низкими и простыми...» [10].

9. Роль личности выдающегося писателя в преобразовании всей стилистической системы литературного языка и прежде всего его стилистических норм хотя еще не определена, но может быть раскрыта всесторонне и убедительно.

Таковы важнейшие аспекты, с которыми приходится иметь дело историку стилистической системы литературного языка. Что же касается историков его грамматического строя и лексики, то перед ними встают несколько иные задачи. В ряде случаев (например, история развития в XIX в. наречий, числительных и т. п.) о роли языка художественной литературы говорить всерьез не приходится. Гоголь или Чехов в отношении этих частей речи ничего не прибавили и не убавили в морфологии русского языка. Более того, если подойти, например, к творчеству Гоголя с точки зрения истории грамматических средств, то еще со времен Греча известны

[8] В. Г. Белинский, Русская литература в 1841 году, Собр. соч. в трех томах, т. II, М., 1948, стр. 141.

[9] Относительно последнего см. статью В. В. Виноградова «Реализм и развитие русского литературного языка» («Вопросы литературы», 1957, № 9).

[10] Н. В. Гоголь, В чем же наконец существо русской поэзии и в чем ее особенность, Полн. собр. соч., т. VIII, М.— Л., 1952, стр. 374.

его отступления и погрешности против грамматики. Но нет никаких сомнений в том, что Гоголь очень интересен и значителен для истории развития стилистической системы литературного языка. Белинский не случайно восторгался его слогом. И если будет отдано должное новаторству Гоголя в разработке самих принципов расширения средств литературного языка, приемов сочетания элементов различных стилей, его системе метафорических значений, приемам использования фразеологии, всей его стилистической школе, оказавшей огромное влияние на развитие не только стилей русской прозы, но и стилистической системы литературного языка, то вопрос о том, включать ли изучение языка Гоголя в курс истории литературного языка, будет странным и излишним.

Развивая и конкретизируя некоторые приведенные выше положения, мы коснемся здесь вопросов, связанных прежде всего с влиянием языка художественной литературы на развитие стилистической системы литературного языка.

*

Поиски новых речевых средств и оригинальных приемов их употребления — вот что характерно для творчества многих выдающихся писателей, благодаря деятельности которых постоянно пополняется и обогащается стилистическая система литературного языка. Этот фактор новизны и стилистической изобретательности талантливых авторов заметно отличает язык художественной литературы от языка науки, официально-документальной переписки и других разновидностей литературного языка. Важно при этом, что некоторая часть этих новых средств, а также способов их применения проникает в литературный язык и становится общим достоянием.

Дух новаторства и нетерпимость к шаблонам, штампам, избитым (в силу частого повторения) словам и оборотам речи выгодно отличают деятельность большинства художников слова. Идея новизны и изобретательности высоко ценится и постоянно культивируется как самими писателями, так и критиками и исследователями литературы и языка. В подтверждение можно было бы сослаться на многочисленные заявления об этом самих авторов. Карамзин, выдвигая принцип фразеологического и синтаксического новаторства, призывал писателей «выдумывать, сочинять выражения; угадывать лучший выбор слов; давать старым некоторый новый смысл, предлагать их в новой связи, но столь искусно, чтобы обмануть читателей и скрыть от них необыкновенность выражения!»[11]. Пушкин настойчиво призывал к «смелости изобретения», в своих стихах он ценил «звуков или слов нежданное стеченье», «странность рифмы новой, неслыханной дотоль» («К моей чернильнице»). Относительно смелого и удачного сочетания слов в «Евгении Онегине» Пушкина («... С каким *тяжелым умиленьем* Я наслаждаюсь дуновеньем В лицо мне веющей весны») Тургенев восторженно заявлял, что он «дал бы себе отрезать по мизинцу на каждой руке за то, чтобы суметь так сказать»[12].

Развивая эти доказательства, можно было бы привести весьма красноречивые примеры поисков новых средств и способов литературного выражения. Указывая, что «язык неистощим в соображении слов», Пушкин соглашался с тем, что «счастливая шутка» Вяземского относительно эпитетов («все существительные сказаны и нам остается заново оттенивать их прилагательными») в известной мере справедлива[13]. Творческая практика самого поэта блестяще подтверждает эту мысль. Так, по данным картотеки «Словаря языка Пушкина», при слове *ум* поэт употребляет 56 определений: *блестящий*, *быстрый*, *великий*, *верный*, *возвышенный*, *высокий*, *глубокий*, *гордый*, *государственный*, *дивный*, *замечательный*, *здра-*

[11] Н. М. Карамзин, Соч., т. 3, СПб., 1848, стр. 528.

[12] Л. Нелидова, Памяти И. С. Тургенева, «Вестник Европы», т. V, кн. 9, 1909, стр. 232—233.

[13] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. XI, [Л.], 1949, стр. 60.

вый, испытывающий, книжный, колкий, лукавый, мирный, младенствующий, молодой, надменный, насмешливый, нежный, незрелый, необыкновенный, нестройный, обширный, ограниченный, озлобленный, оригинальный, острый, охлажденный, погибающий, посредственный, праздный, природный, развивающийся, развращенный, разгульный, резвый, резкий, светский, свободный, слабый, смелый, смятенный, темный, тихий, томный, тонкий, точный. хладный, холодный, человеческий, чужой, юный, ясный. Не все эти определения, используемые Пушкиным (и не одному ему принадлежащие), со временем вошли во всеобщее употребление. Важно лишь, что часть их является общим достоянием (*тонкий ум, ясный, смелый* и т. п.), а также что принцип новаторства, смелого сочетания иногда далеких друг от друга слов (*колкий ум, охлажденный* и др.) побуждает к речевой изобретательности не только писателей, но и всех носителей литературного языка. На разных этапах развития национального литературного языка это новаторство по-разному отражается на его составе и стилистической системе. Важно одно: это влияние никогда не прекращается. По сравнению с началом XIX в. во второй его половине хотя и происходят некоторые изменения в самом характере деятельности писателей, но и в это время художественная литература «была мощным средством распространения и закрепления новообразований, возникавших в публицистике, науке, живой речи; она отражала, далее, стилистическое многообразие литературного языка, а также и особенности устной речи различных социальных слоев общества, и, наконец, художественная литература продолжала обогащать литературный язык выразительными словами, выражениями, афоризмами, изобразительными средствами»[14].

При определении роли художественной литературы в развитии национального литературного языка не следует упускать из вида активное вмешательство писателей в нормализацию речевых средств, их творческие усилия в борьбе за чистоту, богатство, а также разнообразие выразительных возможностей литературной речи. Это объясняется тем, что литературный язык — большая культурно-историческая ценность. Споры по поводу путей его развития обычно имеют социально-идеологический характер (ср. позиции Шишкова и Карамзина). Начиная с Ломоносова в России не было таких писателей, которые были бы равнодушны к судьбам языка, его состоянию и перспективам развития. Многие писатели участвовали в составлении словарей, синонимических и других справочников (Фонвизин и др.), в собирании профессиональных и диалектных слов и выражений (Гоголь, Островский), в правильном толковании изречений (см. замечания Пушкина к пословице «нужда научит калачики есть»), в отборе выразительных средств языка (см. записные книжки Гоголя, Толстого, Чехова), в борьбе с искажением и засорением языка, которую в наше время так успешно вел Горький.

*

Отражение в художественной литературе изменений, которые происходят в стилистической системе литературного языка, а также влияние писателей на эти изменения — вот те сложные и мало еще разработанные вопросы, которые ждут своего решения. Интересно проследить, какую роль играет язык художественной литературы в развитии и совершенствовании разных стилей литературного языка, как изменяется взаимодействие этих категорий. Например, во второй половине XIX в. под влиянием публицистики и научной литературы несколько изменяется самое понятие художественности. «Рост влияния научно-деловой и газетно-публицистической прозы, развитие „беллетристики“, которая противопоставлялась еще В. Г. Белинским чистому художеству,— создает новые формы взаимодействия между художественной речью и разными жанрами

[14] В. Д. Левин, Краткий очерк истории русского литературного языка, М., 1958, стр. 167.

и стилями книжного и разговорного языка»[15]. «В связи с изменением состава и функций художественных стилей, в структуре русской литературной речи решительно перемещаются связь и соотношение разных стилей и жанров»[16]. Менее сложным это соотношение было в XVIII в., когда писатели руководствовались системой трех стилей. Но для того чтобы установить характер влияния художественной литературы на развитие литературного языка того времени, необходимо прежде решить основной вопрос: была ли система трех стилей свойственна всему литературному языку или же сфера ее бытования ограничивалась языком художественной литературы? В зависимости от решения этого вопроса можно будет говорить о характере влияния художественной литературы, например, на язык научного изложения, публицистики и т. п.

Новые данные позволяют утверждать, что система трех стилей была свойственна преимущественно языку художественной литературы и на другие разновидности литературного языка не распространялась. Так, стили научный или документально-деловой, сложившиеся задолго до Ломоносова, продолжали развиваться своим путем. У них выработалась специфическая терминология и фразеология, которые нельзя признать элементами низкого или высокого стиля и которые не имели соотносительных стилистических вариантов (типа *сегодня — днесь*). Если внимательно изучить, в каком смысле Ломоносов употреблял термин «стиль», то окажется, что под ним он разумел язык образцовой художественной литературы; это особенно отчетливо прослеживается в черновых набросках его грамматики и риторики [17]. В качестве сфер бытования каждого стиля он назвал исключительно жанры художественной литературы: оды, сатиры, элегии, комедии и т. п. Написанные им самим научные труды в отношении языка не отличались от сочинений современных ему ученых, а употребляемые в языке научных трудов слова (*материя*, *тело*, *движение* и др.) не были соотносительны с высокими или низкими словами, не дифференцировались в соответствии с трехчленной системой стилей. С этой точки зрения становится понятным, почему произошло крушение системы трех стилей в связи с появлением на литературной арене Пушкина, тогда как научный или публицистический стили не претерпели радикальных изменений. При таком решении проблемы трех стилей большую актуальность приобретает вопрос о влиянии системы трех стилей языка художественной литературы эпохи Ломоносова на другие стилевые разновидности литературного языка. Следовательно, мы оказываемся перед необходимостью говорить о проникновении элементов художественно-беллетристической речи в публицистику, деловую или научную литературу. Роль писателей в развитии литературного языка станет в таком случае более очевидной. Что же касается проникновения в научную литературу образных речевых средств, то оно хорошо прослеживается у самого Ломоносова, который сравнивает естествоиспытателя с влюбленным женихом, называет геометрию осторожной и догадливой, оптику проницательной и т. п. («Слово о пользе химии»). С течением времени язык науки все более освобождается от таких украшений. Пушкин, например, считал, что слог ученых сочинений должен быть простым и кратким; встреченное им в «Энциклопедическом лексиконе» уподобление одного из сражавшихся корпусов кораблю или птице признал неуместным: «таковые риторические фигуры в каком-нибудь ином сочинении могут быть дурны или хороши, смотря по таланту писателя; но в словаре они во всяком случае нестерпимы»[18].

---

[15] В. В. Виноградов, Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX вв., 2-е изд., М., 1938, стр. 387.

[16] Там же, стр. 389.

[17] Подробнее об этом см. в третьем издании моей книги (А. И. Ефимов, История русского литературного языка, М., 1957, стр. 161—170).

[18] А. С. Пушкин, Полн. собр. соч., т. 5, М., 1947, стр. 249—250.

*

Роль личности выдающегося писателя и его языкового творчества в развитии национальной речевой культуры раскрыты еще явно недостаточно. Это объясняется тем, что не найдены точные и объективные ориентиры и критерии, которыми необходимо руководствоваться при определении объема и значимости того вклада, который внесли талантливые мастера слова в сокровищницу литературного языка. В качестве подтверждения можно было бы привести примеры многих поспешных и неосновательных утверждений и выводов, встречающихся в работах о языке писателя: иногда бывает достаточно найти в произведениях Горького или Серафимовича несколько просторечных слов или выражений, чтобы утверждать, что писатель оказал большое влияние на литературный язык, обогатил его и т. п. Между тем эти слова так и остались нелитературными, а рассуждения о влиянии — заблуждением.

При оценке роли писателя иногда учитываются лишь некоторые стороны его речевой деятельности. Так, Карамзина принято ценить за преобразования в синтаксисе. Он, по определению Белинского, «первый на Руси заменил мертвый язык книги живым языком общества»[19], «преобразовал русский язык, совлекши его с ходуль латинской конструкции и тяжелой славянщины и приблизив к живой, естественной, разговорной русской речи»[20]. Вся же остальная деятельность Карамзина как преобразователя литературного языка (в частности, выдвинутый им и осуществляемый принцип фразеологического новаторства, его приемы калькирования — в ряде случаев удачного и открывающего перспективы создания новых слов, его оценка иноязычий и приемы их употребления и т. п.) остается в тени, не получает должной оценки.

Такая же односторонняя, а иногда и противоречивая оценка роли писателей в истории литературного языка характерна и для зарубежной филологической науки. Например, имея в виду чешскую прозу эпохи чешского национального возрождения, Ф. Вадичка придает большое значение творчеству Й. Юнгмана, который существенно преобразовал структуру чешского предложения, изменив порядок слов. Полемизируя с Ф. Вадичкой, К. Горалек приходит к иным выводам. Он пишет: «В оценке значения Юнгмана для развития литературного чешского языка надо вообще действовать осторожнее, нежели это делается в последнее время. На первый взгляд действительно кажется, что Юнгман, не будучи большим поэтом, был настоящим творцом языка и уже этим помогал общему развитию литературы. Однако достаточно сравнить язык Юнгмана с языком Маха, чтобы понять, что большую поэзию можно было создавать на основе языка, который как лексически, так и синтаксически мало отличается от народного языка. При этом такая простая в изобразительных средствах (но одновременно тонкая и эмоционально богатая) поэзия не является в основе своей реакцией на литературную усложненность; скорее всего это только следствие новых общественных условий, нового отношения к реализму, нового понимания задач искусства. Важно при этом отметить, что все это новое выражалось новыми средствами, по существу теми, которыми располагал разговорный язык широких народных слоев и язык народного творчества»[21].

Повышенный интерес к реформаторской деятельности этих писателей в сфере синтаксиса литературного языка объясняется различными причинами. Прежде всего следует подчеркнуть, что деятельность Карамзина и Юнгмана совпадает с периодом становления и оформления национальных литературных языков. Роль писателей в это время неизмеримо возрастает. Им приходится освобождать синтаксис литературного языка от иноязычных конструкций, устаревших словосочетаний, существенно изме-

[19] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., т. VII, М., 1955, стр. 132.
[20] Там же, стр. 122.
[21] K. Horálek, указ. соч., стр. 420.

нять порядок слов, бороться с искусственной книжностью и неудачным подражанием, чуждыми реализму, за подлинную народность литературного языка. Для реформаторской и созидательной деятельности в этот период открывались большие возможности, каких уже не было, например, в конце XIX в. Произведения, напр., Карамзина являли собой образцы новой синтаксической системы, в основе которой лежал синтаксис родного языка.

Другой причиной, объясняющей повышенный интерес к синтаксису художественной литературы и национального литературного языка, является смысловая и стилистическая значимость самих синтаксических единиц, в первую очередь — предложения. Как справедливо указывает Я. Мукаржовский, «предложение не есть только синтаксическая форма и мелодическая формула, но также, и это самое главное, есть способ мышления, способ выражения отношения к действительности»[22]. В связи с этим полезно вспомнить замечание Карамзина о том, «что Авторы помогают согражданам л у ч ш е м ы с л и т ь и г о в о р и т ь,... что достоинство народа оскорбляется бессмыслием и косноязычием худых Писателей»[23].

Таким образом, преобразования, осуществляемые писателями в синтаксисе литературного языка, имеют большое культурно-историческое значение. Роль же предложения как средства мыслительной деятельности должна учитываться не только историей литературного языка, но и стилистикой художественной речи. Последняя еще очень мало сделала для того, чтобы убедительно доказать справедливость тезиса: «... предложение в гораздо большей степени является носителем стиля, чем слово»[24].

•

Самые принципы отбора и литературной обработки средств общенародной речи в XIX в. вырабатываются и осуществляются в первую очередь писателями, за которыми уже следуют публицисты, ораторы, ученые и др. Разговорная речь народа с ее территориальными диалектами и социально-речевыми стилями предоставляет писателю богатейшие возможности выбора. Но как отбор, так и обработка этого материала не могут осуществляться без четко установленных принципов, которыми руководствуются мастера слова, независимо от индивидуальности каждого автора. С именем и творчеством Пушкина неслучайно связано представление о новом этапе в развитии русского литературного языка, так как он создал и осуществил новые и смелые принципы отбора, обработки и использования широко известных всему народу языковых средств. И дело не в том, что, по сравнению с предшественниками и многими современниками, поэт значительно расширил самый круг привлекаемых слов из народной речи. Количественные показатели недостаточны и неубедительны, ибо, например, В. Даль употребил в своих произведениях гораздо больше народных пословиц и просторечных слов. Решающее значение имеет фактор качественный, т.е. принципы отбора и использования.

Просторечие, например, использовалось в литературе XVIII в. главным образом как средство речевой характеристики. Творчество поэта, создавшего новую стилистическую систему литературного языка, отличалось принципиально новым подходом к оценке роли и места этих речевых средств: осуществляя сложный и своеобразный синтез основных стихий русского языка, навсегда стирая границы между классическими тремя стилями и разрушая эту систему, Пушкин санкционировал употребление в художественной литературе многих общенародных слов и выражений. При отборе и обработке этих средств он руководствовался принципом исторической апробированности, т. е. привлекал лишь те слова и выражения, которые были употреблены в фольклоре, летописях и поэтому известны всему народу. Народность его языка имела исторический характер.

---

[22] J. M u k a ř o v s k ý, Kapitoly z české poetiky, Díl II, Praha, 1948, стр. 408.
[23] Н. М. К а р а м з и н, указ. соч., стр. 532.
[24] См. М. В е р л и, Общее литературоведение, М., 1957, стр. 69.

Учитывая творческую практику писателей-реалистов первой половины XIX в.— периода, когда завершался процесс формирования национального русского литературного языка,— можно назвать те важнейшие общие принципы, которыми они руководствовались при отборе речевых средств.

1. Принцип развития народности литературного языка. Он выражается в отборе и привлечении писателями лучших образцов и высших достижений речевой культуры народа, в насыщении литературного языка наиболее ценными, самобытными и характерными средствами родной речи, что способствовало сохранению и усилению его национальной специфики.

2. Историзм в отборе речевых средств и объясняемая им широкая известность их всему народу. Этот принцип исторической апробированности и общеупотребительности помогал писателям оберегать литературный язык от привлечения малоизвестных диалектных или случайных элементов.

В соответствии с этими двумя основными принципами решалась тогда проблема заимствований, устранялось влияние на литературный язык социальных жаргонов, ограничивающих его возможности, засоряющих словарь и фразеологию. Что же касается идеи так называемой национальной демократизации языка, то изложенное здесь вполне исчерпывает то содержание, которое принято вкладывать в данное понятие. Сам же по себе этот термин, заимствованный у литературоведов, нельзя признать удачным в тех случаях, когда он применяется к языку, так как понятие демократизма и демократизации — это категория социально-идеологическая и, применяя ее в отношении литературного языка, мы смешиваем и подменяем понятие идеологического и языкового. Если бы литературный язык был, как утверждал Н. Я. Марр, явлением классовым, языком господствующего класса, то можно было бы с полным правом говорить о его демократизации, т. е. о приближении к языку народному, насыщении его элементами народной речи. Но поскольку литературный язык является высшей формой (обработанной и обогащенной) языка народного, говорить о сближении каких-то двух — якобы различных и противостоящих — языков нет необходимости.

*

Если мы обратимся к определению роли художественной литературы в развитии лексики литературного языка, то необходимо прежде всего решить вопросы: какие новые языковые ценности, отобранные в литературу из народной речи или созданные самими писателями, входят в литературный язык? Почему не все эти речевые средства получают права литературности, входят в употребление не сразу, а постепенно, причем некоторые из них утверждаются вместе с приемами их употребления? Ответить на эти вопросы помогут конкретные исследования фактов, ставших на памяти истории достоянием литературного языка. Необходимы также теоретические обобщения, раскрывающие условия и закономерности взаимодействия языка писателя и литературного языка.

Остаются еще недостаточно точно определенными те сферы и источники, из которых пополняется в XIX в., например, лексика литературного языка, хотя, в частности, исследования по истории языка (см. «Материалы и исследования по истории русского литературного языка», т. I—IV, М., 1949—1957) убеждают, что не диалектизмы, а просторечная лексика пополняла в конце XVIII и в XIX в. литературный язык. Например, достоянием литературного языка становятся, по наблюдениям Н. С. Авиловой, бывшие просторечные слова *сливки*, *лихач*; Ю. С. Сорокин и В. Д. Левин прослеживают литературное освоение слов *надо*, *толковать*, *надоедать*, *быт*, *богач*, *бедняк*, *блажь*, *белоручка*, *истома*, *закадычный*, *вдоволь*, *навеселе*, *наотрез*, *нахлынуть*, *чваниться*, *юркнуть* и др.; интересна история слова *самодур*, которую прослеживает Е. А. Земская. Однако роль художественной литературы в популяризации этих слов остается еще недостаточно выясненной.

Наряду с этим предстоит решать и другие вопросы. Например: что из привлекаемого писателями просторечного материала остается в литературном языке и что отсеивается? Так, в смысле расширения границ литературного языка и пополнения его словаря и фразеологии в середине XIX в. заметную роль играли писатели так называемой натуральной школы. Поясним это на примерах, не приписывая, конечно, какому-либо автору решающей роли в пополнении литературной лексики. В произведениях В. Даля, Д. Григоровича, А. Писемского и других авторов читатели встречали огромное количество новых и не известных еще в литературном языке слов, выражений, характерных для разговорно-бытовой речи простого народа словосочетаний и структур предложения. Например, в рассказе Д. В. Григоровича «Прохожий» употребляются приблизительно 20 слов, часть которых рассматривалась Академическим словарем 1847 г. как простонародные (*зипун*, *трафиться*, *раздобаривать*, *лихоманка*), а другая — совсем не приводилась, ибо они не имели прав литературности: *понява*, *светец*, *запевала*, *хороводица*, *позыватка*, *поддевочка*, *рядно*, *перемена за обедом*, *зовутка*, *касатик*, *серенка*, *укланяться*, *пришипиться*, *вестимо*, *шишига*, *побирушка*. Очень немногие из этих слов со временем стали общеупотребительными и вошли в лексику литературного языка.

Чтобы правильно определить закономерности пополнения литературного лексикона за счет привлекаемых писателем слов общенародной речи, рассматриваемых в прошлом словарями как простонародные и просторечные, необходимо считаться с основными двумя функциями языка — коммуникативной и экспрессивной. В языке писателя хорошо обнаруживается именно потребность наименования определенных реалий. Поэтому Григорович использовал слова *зипун*, *понява*, *поддевка*, *рядно* и др. В целях же экспрессивного изображения он привлекал значительно меньше слов (*побирушка*, *шишига*, *пришипиться*), т. е. из 20 лишь 3.

В состав литературного языка из приведенных выше вошли прежде всего те слова, которые отвечали потребностям наименования: *поддевка*, *зипун*, *запевала*. При этом слово *запевала* позднее с помощью метафоризации образовало второе, омонимичное значение: «инициатор, зачинатель». Такая же закономерность образования от бывших просторечных речевых единиц новых слов с отвлеченным значением прослеживается в истории слова *подоплека*. В словаре Академии Российской оно приводилось как «простонародное», хотя словарь 1847 г. уже снял эту помету. Наряду с первым значением («холщевая подкладка у крестьянских рубах») приводится второе: «действительная, но скрытая причина чего-нибудь»[25]. Следовательно, отсутствие в литературном языке середины XIX в. средств для именования этих понятий способствовало литературному освоению этих слов и образованию от них новых лексико-семантических единиц.

Не вошли же во всеобщее употребление из упомянутых выше слов из рассказа Григоровича лишь те, для которых в языке существовали более известные синонимические эквиваленты (*лихоманка* — лихорадка, *вестимо* — известно, *серенка* — спичка и т. п.), или же слова, необходимость в которых отпала или не ощущалась: *светец*, *позыватка*, *зовутка* и др.

Если, привлекая обширный материал, исследовать важнейшие закономерности пополнения речевых средств литературного языка через посредство художественной литературы, то окажется, что увеличение количества общеупотребительных слов определяется следующими факторами: 1) отсутствие в языке слов или выражений, необходимых для обозначения предмета, понятия, явления, в силу чего, например, вошли в литературный язык привлеченное Тургеневым слово *зеленя* или пущенное в обращение Достоевским *стушеваться* и др.; 2) социально-идеологическая значимость слова, отражающего новые явления общественной жизни (на-

[25] Интересна и не изучена еще история слова *подполье*; оно в переносном значении образовало омоним, от которого произведены такие слова и выражения: *подпольщик*, *подпольная литература*, *уйти в подполье* и др.

пример, известное ранее, но получившее распространение после употребления Тургеневым *нигилизм*); 3) потребности в экспрессивных средствах, необходимых для образных характеристик (*помпадур* Щедрина, *жалкие слова* Гончарова и т. п.); 4) авторитет писателя и популярность его средств и приемов выражения (ср. крыловское *А Васька слушает да ест*) и др.

*

В заключение кратко коснемся тех материалов и исследований, которые необходимы для разработки интересующей нас проблемы. Роль художественной литературы в развитии национального русского литературного языка может быть убедительно раскрыта и показана в том случае, если исследователи будут располагать след. фактами и наблюдениями.

1. Необходимы словари языка тех писателей, которые наиболее полно отразили важнейшие эпохи в формировании и развитии национального литературного языка. Словарь Ломоносова может дать хорошее представление о состоянии литературного языка в середине XVIII в. Завершаемый словарь Пушкина предоставляет исследователям ценнейшие сведения о новом этапе речевой культуры. Если со временем будут созданы словари Л. Толстого и М. Горького, то мы получим свидетельства о развитии литературного языка во второй половине XIX в. и в советскую эпоху. Когда же появится в свет словарь языка В. И. Ленина, то сопоставление этих материалов откроет перед историками языка широкие перспективы исследований и обобщений.

Наряду с этим ощущается острая необходимость в словниках (словоуказателях) многих писателей, отразивших в своих произведениях богатство и разнообразие русской речи,— Фонвизина, Радищева, Державина, Карамзина, Грибоедова, Крылова, Лермонтова, Гоголя, Щедрина, Некрасова, Тургенева, Островского, Достоевского, Мамина-Сибиряка, Чехова, Маяковского, Шолохова и др.

2. Большую ценность имеют конкретные исследования тех речевых средств, которые проникли из народной речи в литературный язык благодаря развитию литературных школ и направлений. Как уже указывалось, закономерный интерес вызывают писатели натуральной школы (Гоголь, В. Даль, Григорович, Писемский и др.), значительно расширявшие круг лексико-фразеологических средств. Не менее полезные сведения могут дать исследования языка произведений социалистического реализма.

3. Составление каталогов бывших диалектных, просторечных и профессиональных речевых средств, вошедших в литературный язык, позволит ответить на ряд вопросов: какие элементы речи получили права литературности? когда это произошло? как развивалась система синонимических соответствий? каковы закономерности пополнения литературного языка?

4. Очевидна также необходимость в справочниках фразеологических единиц, вошедших во всеобщее употребление из художеств. литературы.

5. Тщательно собранные и систематизированные высказывания писателей (притом — не только классиков) о языке представляют несомненную ценность для истории литературного языка и стилистики.

6. Углубленная разработка науки о языке художественного произведения, а также исторической стилистики русского языка будет способствовать выяснению роли писателей в развитии не только лексико-фразеологических и грамматических средств литературного языка, но и его произносительных норм, орфографии и пунктуации.

7. В целях полного и всестороннего изучения процесса развития литературного языка целесообразно поощрять развитие как стилистики художественной речи, так и стилистики речи научной, публицистической, деловой. Такое комплексное изучение основных разновидностей литературного языка не замедлит сказаться на результатах, ибо появится возможность сопоставить и оценить вклад в литературный язык не только писателей, но и ученых, публицистов и общественных деятелей.

№ 2 1960

О. С. АХМАНОВА, Ю. А. БЕЛЬЧИКОВ, В. В. ВЕСЕЛИТСКИЙ

К ВОПРОСУ О «ПРАВИЛЬНОСТИ» РЕЧИ

Нормализация литературной речи — одна из актуальных задач современного языкознания. Соответствующие систематические исследования представлялось бы естественным проводить во всех основных разделах языка — в области фонологии, морфологии, синтаксиса, лексикологии, лингвостилистики. Однако до сих пор последовательная и систематическая нормализация речи ограничивается сферой правописания и произношения. Вследствие этого сами термины «орфография» и «орфоэпия» понимаются крайне суженно, т. е. как правила правописания и правила произношения. Что же касается лексической, синтаксической и лингвостилистической «орфоэпии» и «орфографии» в более широком смысле (для которой может быть предложено особое название — «ортология»), то эта область научных изысканий разработана еще крайне недостаточно [1].

Для того чтобы попытаться определить предмет и границы «ортологии» как особой лингвистической дисциплины, необходимо прежде всего поставить вопрос о категориях этой науки и, далее, о методике исследования явлений и фактов, относящихся к этой области. Отличие ортологии от фонетики, грамматики, лексикологии, фразеологии состоит прежде всего в том, что основной категорией ортологии является к а т е г о р и я в а р и а н т н о с т и, для выявления и описания которой следует обратиться к изучению функционирования языка как важнейшего средства человеческого общения, а также к изучению характера и объема сознательного воздействия на развитие языка со стороны его носителей. В основе категории вариантности лежит сосуществование параллельных способов выражения, имеющих общее лингвистическое (грамматическое, лексико-семантическое, фонологическое) значение, но различающихся оттенками или сферой распространения [2].

[1] Слабая и недостаточная разработка проблем описательной грамматики и в связи с этим проблем нормализации литературной речи и стилистики неоднократно отмечалась в лингвистической литературе. Ср., например, В. В. В и н о г р а д о в, Итоги обсуждения вопросов стилистики, ВЯ, 1955, № 1. Из известных работ более общего характера, имеющих значение для исследований в области нормализации речи и стилистики, необходимо указать в первую очередь следующие: В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, М.— Л., 1947; е г о ж е, [рец. на кн.:] А. Н. Гвоздев, Очерки по стилистике русского языка, ВЯ, 1952, № 6; В. И. Ч е р н ы ш е в, Правильность и чистота русской речи, 2-е изд., Пг., 1914—1915; е г о ж е, Законы и правила русского произношения, 3-е изд., Пг., 1915; Р. И. А в а н е с о в, Русское литературное произношение, 3-е изд., М., 1958; Е. С. И с т р и н а, Нормы русского литературного языка и культура речи, М.— Л., 1948; С. П. О б н о р с к и й, Культура русского языка, М.— Л., 1948; С. И. О ж е г о в, К вопросу об изменениях словарного состава русского языка в советскую эпоху, ВЯ, 1953, № 2; е г о ж е, Очередные вопросы культуры речи, сб. «Вопросы культуры речи», 1, М., 1955; К. И. Б ы л и н с к и й, Д. Э. Р о з е н т а л ь, Литературное редактирование, М., 1957; Ю. Р. Г е п п е р, Очерки по общему и русскому языкознанию, Харьков, 1959, и нек. др. См. также Е. В. У х м ы л и н а, Культура и развитие речи. Указатель литературы, Горький, 1959.

[2] Существенно подчеркнуть, что предметом ортологии как научной дисциплины является такая вариантная соотносительность, члены которой представляют собой реальный, безусловно вошедший в ткань языка факт. Разного рода очевидные ошибки, явное несоблюдение правил и законов общенародного языка, порождаемые, например, плохим знанием языка, при ортологическом исследовании во внимание не принимаются.

Категория вариантности отражает реальное сосуществование в языке сходных по функциям элементов старого и нового качества, процессы распространения разнообразных параллельных форм, конструкций, оборотов и т. д. В основе категории вариантности лежит воззрение на язык как на особое общественное явление, находящееся в состоянии непрерывного изменения, признание полной невозможности статического среза как основы для «нормализации» языка, так как такой подход к вопросу, несомненно, привел бы в целом ряде случаев к навязыванию данному языковому коллективу фактически уже не существующих регламентаций.

Показать специфику ортологии можно на примере сосуществования в современном русском языке двух параллельных форм род. падежа существительных муж. рода ед. числа на *-а* и на *-у* (*чашка чая — чашка чаю*). Если описательная грамматика обычно в основном констатирует наличие двух параллельных форм в грамматической системе языка или в процессе исторического развития ее, то с точки зрения нормализации речи различия в смысловых, стилистических оттенках рассмотренных форм на *-а* и *-у* в современном русском литературном языке наших дней представляются основными. Конечную задачу ортологии составляет точная соотносительная оценка функционирования вариантов в каждый данный момент развития языка, установление «правильного» их употребления. Для ортологии важно установить мотивы употребления той или иной формы (или условия, при которых необходимо использовать ту или иную форму). В качестве примера можно привести еще соотносительную пару *из до́ма — и́з дому*. Будучи формами одного падежа и выражая в данном случае одно значение, компоненты этого соотношения не являются тождественными. *И́з дому* указывает направление из жилища, постоянного места жительства кого-либо (ср. англ. *from home*), *из до́ма* подразумевает помещение, здание как таковое, могущее служить и местом временного пребывания кого-либо (ср. англ. *from a house*). Различие это не всегда учитывается говорящими. Еще иллюстрация. Формы множественного числа существительных на *-а* и на *-ы* (*и*) для некоторых слов оказываются одинаково употребительными, но нередко они приобретают и определенные семантические различия. Так, например, форма *учителя* используется для обозначения учителей-педагогов, тогда как форма на *-и* (*учители*) употребляется для обозначения наставников духовных и идейных. Совершенно иное соотношение наблюдается между такими параллельными формами, как, например, *профессоры — профессора*, первая из которых архаична; ее употребление в обычном стиле речи было бы «неправильным».

Уже приведенные примеры позволяют установить, что соотносительность вариантных форм, конструкций и т. д. может быть разной. Во-первых, выделяются случаи, когда все компоненты данного вариантного ряда представляются нормативными и различаются лишь смысловыми или стилистическими оттенками (*учителя — учители*). Во-вторых, возможны случаи, когда один из соотносительных компонентов нормативный, а другой (или другие) стоит на «периферии» современного литературного употребления (ср. устаревшее *профессоры* наряду с *профессора*, приобретающий права гражданства южнорусизм *говорить за*, абсолютное употребление глагола *внедрить* вместо *внедрить в производство*, просторечное *нету* вместо *нет* и т. д.). Эти два наиболее простых и несомненных случая вариантности далеко не исчерпывают всех возможных видов соотношения, которые требуют гораздо более детальной и разносторонней разработки. Понятие «правильности» и «неправильности» речи может приобрести научную точность и явиться основой для той или иной регламентации только тогда, когда работа по исследованию различных типов вариантности будет в должной мере продвинута.

Систематические ортологические исследования необходимо предполагают рассмотрение таких общелингвистических категорий, как соотношение языка и речи (в частности, проблема языковой категории и способов

ее выражения) и особенно «ассоциативного» и «линейного» рядов. В наиболее общем виде разнообразные явления вариантности категоризуются именно как явления парадигматического (или «ассоциативного») ряда и явления синтагматического (или «линейного») ряда. К первым относятся явления «выбора» («вариантности», «множественности», «взаимозаменяемости») слов и выражений как таковых, рассматриваемых сами по себе, вне соотношения с окружающим контекстом. Так, например, вместо слова *зараза* может быть употреблено с той или иной целью слово *инфекция*, вместо *украсть* — *стащить* или *похитить*, вместо *человек* — *тип*, *субъект*, вместо *так как* — *ибо* и т. п. Во всех подобных случаях варианты «сосуществуют» за пределами данного «речевого произведения», в котором они не только взаимонезаменяемы, но и взаимоисключены. Ко вторым (т. е. к явлениям синтагматического, или «линейного», ряда) относятся такие явления, сущность которых состоит именно в сосуществовании в данном речевом произведении. Так, например, ортологическое рассмотрение и оценка таких сочетаний, как *ужасно интересно*; *этот тип изрек*; *он не придет, ибо болен* и т. п., требуют уже не сопоставления каждого из членов в отдельности с его «парадигматическими», или «ассоциативными», аналогами, т. е., соответственно, не с *очень*, *чрезвычайно*, *весьма* и т. п. и не с *любопытно*, *занимательно*, *увлекательно* и т. п.; не с *человек* и не со *сказал*, *промолвил* и т. д., а с выяснением правильности или «ортологической оправданности» именно данного сочетания, соединения слов в данной речевой ситуации.

В плане парадигматическом наиболее отчетливо и несомненно выделяются явления, которые можно было бы объединить под названием структурной вариантности. Здесь объединяются такие случаи, когда два или более параллельных способа выражения различаются какими-либо особенностями своей морфологической структуры. Это или устойчиво существующие морфологические варианты слова (*спазм — спазма*, *индивид — индивидуум*, *жираф — жирафа*), или возрождение словообразовательной форманты, устаревшей для данного слова (ср. *преемство* вместо *преемственность* и т. п.), или некоторые другие случаи[3].

В этом же плане намечается ряд явлений, которые можно было бы условно объединить под общим названием временно́й вариантности. Введение понятия «временна́я вариантность» оправдывается стремлением подчеркнуть важность для изучения языка фактора времени, того обстоятельства, что язык находится в состоянии непрерывного движения и изменения. Поэтому в каждый данный момент в языке оказываются параллельные выражения — элементы устаревающие, относящиеся, по существу, уже к пройденным этапам развития языка, и элементы, которые только появляются — вначале, может быть, в ограниченных сферах употребления. Речь здесь идет, собственно, об «архаизмах» и «неологизмах». Например, в настоящее время было бы анахронизмом называть родителей собеседника *ваша матушка*, *ваш батюшка* (resp. франц. *madame votre mère*, *monsieur votre père*), говорить вместо *самолет — аэроплан*, вместо *летчик — авиатор*; то же впечатление производит оборот *быть в концерте* вместо *быть на концерте*, *не преминуть* (*сделать что-либо*) и т. д.

Что же касается явлений собственно стилистической[4] (или оценочной) вариантности, то здесь четкое разграничение парадигматического и синтагматического рядов становится неоправданным. Выше говорилось о явлениях, вариантность которых обусловлена или их

---

[3] Подробнее см.: О. С. Ахманова, Очерки по общей и русской лексикологии, М., 1957, стр. 213—233.

[4] Необходимо заметить, что содержание понятия «стилистический» в науке четко не определено. Этот термин представляется целесообразным употреблять для обозначения разного рода эмоционально-экспрессивных, оценочных «обертонов», накладывающихся на собственно семантическую, или интеллектуальную, ткань высказывания.

структурой, или разной временно́й отнесенностью в пределах какого-либо периода развития языка. Здесь же предметом наблюдения будут результаты перемещения слова из одного, свойственного ему стилистического плана, или «уровня», языка в другой, ему несвойственный. Это, естественно, предполагает наличие параллельных средств выражения мысли. Оценочная вариантность основывается на выборе из ряда стилистических вариантов — синонимов такого, который своим несоответствием контексту создает тот или иной стилистический «эффект». Ср.: *перешагнуть через лужу—форсировать лужу* и т. д. Подобный же результат достигается употреблением слов *коллатеральный, летальный, дешифровать* и т. д. в несвойственных им контекстах вместо общеупотребительных *боковой, смертельный, разобрать* и т. д.

*

Исследование явлений синтагматического ряда требует принятия определенной системы в классификации соединений слов, типов их синтагматического соположения. В данной статье авторы рассматривают различные типы словосочетаний, располагая последние по степени их продуктивности, характеру употребления и распространения. Детальная классификация словосочетаний осуществлена в академической «Грамматике русского языка» и получила применение в некоторых специальных исследованиях [5]. Однако, хотя эта классификация в основных положениях используется нами, в целях данной работы она нуждается в некоторых уточнениях, поскольку ортология исходит из функционально-оценочного аспекта речи. Особенно большое значение здесь приобретает момент частотности, распространенности того или другого вида соединения слов. Абсолютное большинство собранных фактов в сфере именных и глагольных словосочетаний относится к трем типам словосочетаний: 1) прилагательное + существительное (*весенняя погода*), 2) существительное + существительное в род. падеже (*кора дерева*), 3) глагольные словосочетания, конституируемые противопоставлением предложного и беспредложного управления [6]. Конечно, такая классификация охватывает не все случаи, а лишь самые основные из них.

Одним из самых распространенных и наиболее продуктивных среди именных словосочетаний в современном русском языке является словосочетание, состоящее из имени существительного и согласованного с ним прилагательного (указанного выше типа *весенняя погода*). Особенно широко используются эти словосочетания в обиходной речи, а также в таком жанре, как газета. В последнем случае представляется возможным говорить о намечающейся тенденции к дальнейшему расширению словосочетаний рассматриваемого типа. Эта тенденция усиливается, в частности, влиянием переводов с английского языка, которых так много в современных газетах, в результате чего появляются такие выражения, как *президентское послание* (англ. *presidential message*) вместо *послание президента* или *министерское совещание* (англ. *ministerial meeting*) вместо *совещание министров* и т. п.[7].

Словосочетания типа «прилагательное + существительное» встречаются в качестве параллельных способов выражения наряду со словосочета-

[5] Ср. О. С. Ахманова, указ. соч.; см. также главу «Словосочетание», написанную В. А. Белошапковой, в книге «Современный русский язык. Синтаксис» (изд. МГУ, 1957).

[6] Последние могут рассматриваться и по отдельности. В данной работе они объединяются на основе указанного противопоставления.

[7] Бо́льшая широта семантико-синтаксических функций прилагательного в английском языке по сравнению с современным русским сближает английский язык с более старыми формами русского языка, когда были естественны такие сочетания, как *страх иудейский, ограбление монастырское, взятие псковское* и т. п. (см. А. М. Пешковский, Русский синтаксис в научном освещении, 7-е изд., М., 1956, стр. 246—247. См. также O. S. Akhmanova, Lexical and syntactical collocation in contemporary English, «Zeitschr. für Anglistik und Amerikanistik», Jg. 6, Hf. 1, 1958, стр. 19).

ниями «существительное + существительное в род. падеже»; ср. *советские предложения* и *предложения Советского Союза*, *погодные условия* и *условия погоды* и т. п. Среди единиц типа *весенняя погода* могут появляться и не совсем четкие в семантическом отношении случаи, когда возможно двоякое толкование. Например, *колхозные телятницы* — телятницы данного колхоза и колхозные телятницы в отличие от совхозных.

Словосочетания типа *весенняя погода* могут заменять и более сложные по своей структуре образования, в том числе и описательные обороты (ср. *германский вопрос*, *русский вопрос* и т.д., заменяющие предложно-именные конструкции с предлогом *о*). Такого рода словосочетания были распространены и в XIX в. В настоящее время они широко используются в речи специалистов, людей одной профессии, при этом часто имея условный характер. Ср. из речи спортсменов: *кубковая игра* («игра на кубок»), *полевой игрок* («игрок, участвующий в борьбе за мяч на футбольном поле»); ср. из технической терминологии: *эфирная радиофикация*, *попутный газ* и т. п.

Важно отметить, что процесс замены различных оборотов словосочетаниями типа *весенняя погода* тесно связан с процессом обогащения семантической структуры прилагательного — компонента словосочетания и соответственно с расширением сочетаемости этого прилагательного, что обусловлено в свою очередь особенностями в развитии соответствующих реалий. Получается чрезвычайно сложная и многообразная картина, которая складывается из взаимодействия таких различных факторов, как: 1) судьба данного типа словосочетания вообще в языке, 2) изменение значения и сочетаемости данного конкретного прилагательного под влиянием изменений в самой реалии. Показательным в этом отношении представляется прилагательное *атомный*. В первые десятилетия XX в. это слово могло выступать только как составная часть физико-химических терминов («атомный», т. е. относящийся к атому). В настоящее время наблюдается интенсивный рост употребительности этого слова. Прилагательное *атомный* сравнительно легко вступает в сочетание с существительными, относящимися отнюдь не к физико-химической терминологии. См., например: *атомная бомба*, *артиллерия*; *атомный снаряд*, *ледокол*; *атомное вооружение*, *оружие*. Особенно показательно расширение сферы сочетаемости слова *атомный* в следующем, например, ряду: *атомная война*, *политика*; *атомный психоз*, *шантаж* и т. д. Такого рода словосочетания распространены в публицистике. Как и приводившиеся выше сочетания *кубковая игра*, *полевой игрок* и т. д., сочетания с прилагательным *атомный* (ср. также с *атлантический* и под.) находятся в русле все той же тенденции выражать некоторые, даже сложные расчлененные понятия словосочетаниями типа *весенняя погода*. Значение последних нередко определяется через более распространенные словосочетания и обороты. Ср. *атомная война* — это «война с применением атомного оружия», а *атомное оружие* означает «оружие, в котором используется энергия расщепления атома».

Следующим по степени продуктивности и распространенности среди именных словосочетаний в современном русском языке представляется словосочетание типа *кора дерева*. В сфере словосочетаний этого типа также наблюдается стремление расширить фразеологические связи компонентов. Такие, например, выражения, как *образцы труда* (*образцы труда показывает токарь Иванов*), возникли в результате соединения словосочетаний типа *весенняя погода* и *кора дерева* при опущении одного из компонентов сложного словосочетания (по типу явления эллипсиса в разговорной речи). Действительно, в приведенном примере речь идет о героическом самоотверженном труде токаря, об образцах такого труда. Следовательно, надо было бы сказать *образцы самоотверженного труда*. Однако в настоящее время словосочетание *образцы труда* вполне закономерно, поскольку у слова *образец* развилось самостоятельное значение «положительный, хороший образец».

Между типами словосочетаний *кора дерева* и *весенняя погода* наблюдается, таким образом, известное соотношение. Оно выражается, с одной стороны, в том, что, как было показано выше, словосочетания этих типов заменяют друг друга; с другой стороны, в том, что словосочетания *весенняя погода* и *кора дерева* определенным образом контаминируют друг с другом.

В глагольных словосочетаниях наблюдаются явления, связанные преимущественно с контаминацией в сфере управления (как беспредложного, так и предложного). Весьма заметна тенденция расширять круг предлогов, вовлекаемых в систему фразеологических связей отдельных глаголов. Особенно выделяются следующие случаи.

1. Аналогическое употребление предлогов. Например: *Мать тянется* ***навстречу*** *молодежи* (вместо ***к*** *молодежи*); *Все это говорит о несравнимых преимуществах советского строя* ***над*** *буржуазным* (вместо ***перед*** *буржуазным*); *Он радеет* ***к*** *людям* (вместо ***о*** *людях*) и др.

2. Контаминация или изменение управления в результате совмещения двух близких по значению глаголов. Например: *смириться с чем-либо* (ср. *примириться с чем-либо*) вместо *смириться перед чем-либо*; *отчитаться о чем-либо* вместо *отчитаться в чем-либо; беспокоиться за кого-либо* вместо *беспокоиться о ком-либо* и др.

3. Новые явления в области управления. Так, становится закономерным использовать глаголы *внедрять — внедрить* без косвенного дополнения в вин. падеже с предлогом. Совсем недавно считалось, например, обязательным: *внедрить новую технику в производство*. Теперь же все чаще и чаще дополнение *в производство* опускается. Все более распространенным (в пределах «правильной», «литературной» речи) становится употребление глагола *требовать* с инфинитивом. Например: *Миролюбивые силы в западноевропейских странах и США все настойчивее* ***требуют*** *от своих правительств* ***приступить*** *к деловому обсуждению предложений Советского Союза*. Эта же тенденция проявляется в сфере управляющих существительных отглагольных или обозначающих действия. Например: *Советский народ решительно поддерживает* ***усилия*** *своего правительства* ***добиться*** *урегулирования германской проблемы*.

*

Из сказанного выше ясно, что «ортология» в предлагаемом понимании в первую очередь должна заниматься изучением реальных процессов, происходящих в языке,— тех процессов, в результате которых постепенно складываются некоторые закономерности словоупотребления. Эти закономерности действуют в определенный момент развития языка и постоянно обновляются и изменяются. Хотя «оценка» того или иного конкретного выражения говорящим в той или другой ситуации обусловлена наличием разного рода специфических особенностей (диалектная принадлежность, возраст, образование и т. д.), все же некоторые явления могут быть объединены как примеры весьма далеко идущего расширения возможностей словоупотребления того или иного типа. Здесь можно наметить, в самом предварительном плане, следующие случаи (группируем их в той же последовательности, что и в предыдущем изложении).

1. В сфере словосочетаний типа *весенняя погода* наблюдается, прежде всего, чрезвычайно интенсивное расширение фразеологических связей лексем, объединяемых в эти словосочетания. Поэтому наряду с такими примерами, как *берлинский вопрос*, встречаются и такие, как *дворянская деградация*, в которых «смазаны» семантические грани и смысл которых становится трудно уловимым, хотя это словосочетание соответствует по типу общей тенденции заменять обороты более сложной структуры построениями типа *весенняя погода*.

В сфере словосочетаний типа *весенняя погода* наблюдаются также объединения лексем в результате своеобразной лексико-семантической контаминации одного из компонентов с близким семантически словом. В качестве примера можно привести сочетание *высокопоставленные круги*. Очевидно, что слово *высокопоставленные* может сочетаться лишь с существительными, обозначающими отдельных (должностных) лиц или их совокупность (*высокопоставленные лица*, *чиновники*, *персоны* и т. д.), тогда как слово *круги* означает не только совокупность лиц, группирующихся вокруг какого-либо учреждения, организации, видного деятеля, но и совокупность учреждений. Таким образом, в сочетании *высокопоставленные круги* прилагательное, которое может употребляться лишь с существительным со значением лица, поставлено в сочетание со словом, обозначающим совокупность не только лиц, но и учреждений. Явления рассматриваемого типа иллюстрируются также словосочетанием *непредвзятый наблюдатель*. С достаточным основанием можно утверждать, что прилагательное *непредвзятый* сочетается с неодушевленными, в частности, отвлеченными, существительными (*непредвзятый взгляд*, *точка зрения*, *мнение* и т. д.). Наблюдатель с непредвзятым мнением, взглядом — объективный, беспристрастный наблюдатель. Видимо, семантическое сходство слов *непредвзятый*, *объективный*, *беспристрастный* сделало возможным появление сочетания *непредвзятый наблюдатель*[8].

2. В сфере словосочетаний типа *кора дерева* также наблюдается расширение сложившихся фразеологических связей слов — компонентов словосочетаний, в частности лексико-семантическая контаминация. Примером может служить сочетание *фарс выборов* (*фарс выборов в странах капитализма*). Слово *фарс* редко требует имени существительного. Обычно это присуще семантически близкому слову *комедия*, которое регулярно встречается и в переносном значении, образуя сочетание *комедия суда*. Именно под влиянием последнего возникло сочетание *фарс выборов*. Рассматриваемое явление наблюдается также в таких распространенных в современной речи построениях, как *факты общественных контролеров говорят о...*, когда сочетание образуется «усечением», сокращением более сложного описательного оборота (*факты общественных контролеров* — «факты, которыми располагают общественные контролеры»).

3. В области глагольных словосочетаний под влиянием процессов, связанных с контаминацией и аналогией, а также с расширением круга фразеологических связей отдельных глаголов, наблюдаются случаи, свидетельствующие об отклонениях от сложившихся связей и отношений между словами. Примерами могут служить следующие случаи: а) незакономерное аналогичное употребление предлога при глаголе. Например, предлог *на* при глаголе *участвовать*: *В мае состоялось совещание, **на** котором **участвовало**...* (вместо ***в** котором **участвовало***); б) произвольное изменение управления при отдельном глаголе: *Качалов **потрясал** проникновенным исполнением роли Бранда*. Глагол *потрясать* в переносном значении обычно сочетается с отвлеченным существительным в твор. падеже (*потрясать чем*) и одушевленным существительным в вин. падеже (*потрясать кого*). В приведенном примере дополнение в вин. падеже отсутствует; в) контаминация. Например: *ассимилироваться чему* (под влиянием *уподобляться чему*), *иронизировать над чем* (под влиянием *смеяться*, *издеваться над чем*) вместо *иронизировать по поводу* и т. д.; г) редупликация — нередупликация глагольной модификации. Как известно, явление «удвоения», свойственное русскому языку и в меньшей мере шведскому и некоторым другим герман-

[8] Приведенные примеры рассматриваются только с ортологической точки зрения. Различного рода стилистические категории (такие, например, как «перенос эпитета» и т. п.) здесь к исследованию не привлекаются.

ским языкам (ср. англ. *in*, resp. *into*; швед. *in*, resp. *i* и т. п.), выражается в употреблении омоморфемных приставки и предлога. Ср. *отличаться от*, *исходить из* и т. п. Для современного речевого употребления представляется возможным говорить о намечающейся тенденции к устранению такого рода «удвоений», вследствие чего распространение получают такие формы управления, как *различать*, *различаться от*; *отличать(ся) между собой*; *исходить от* и т. п. вместо *различать кого-что* и *различаться*, *отличать(ся) от* (также: *друг от друга*), *исходить из* и т. д.

Помимо перечисленных, можно отметить также следующие явления, имеющие отношение к проблеме «правильности» речи. Например, можно наблюдать случаи, когда расширяется выражение понятия отчуждаемой—неотчуждаемой принадлежности, обнаруживается ее «избыточное выражение». (Как известно, эти явления представлены в русском языке гораздо менее отчетливо, чем, например, в большинстве новых европейских языков. Ср.: *У него в руке был карандаш — He had a pencil in his hand*; *Он надел шляпу на голову — He put a hat on his head* и т. д.) Примерами упомянутой «избыточности» могут служить следующие случаи: *Язык имеет гораздо более узкие границы* ***своего*** *применения*; *Дождь уже дает* ***свои*** *последствия*; *Накануне* ***своей*** *смерти он изменил завещание*, и т. д.; ср. также: *Это не нашло* ***себе*** *отпора со стороны наших преподавателей*; *Не оставил* ***по себе*** *след*; *Не мог наблюсти* ***сам за собой***, и т. п.

Необходимо также указать на явления «плеоназма». Ср., например, употребление подобнозначащих слов (*инициативное начинание*) или слов, в одном из которых повторяется значение другого (*несколько резковат*). В последнем примере слово *несколько* определяет степень признака, которая выражена формой самого прилагательного *резковат*. Ср. также случаи морфологического характера, например *самый сверхизобильный*: *В магазин поступают товары в* ***самом сверхизобильном*** *количестве*[9], и др.

Изложенные соображения, естественно, не исчерпывают обширную проблематику нормализации речи. В статье лишь была сделана попытка обратить внимание на некоторые тенденции развития, главным образом в сфере словосочетания, совмещая это по возможности с выяснением функционального соотношения вариантов для каждого отдельного случая в русском литературном языке наших дней. Одновременно была предпринята попытка определить ряд наиболее специфических и существенных для рассматриваемой области языкознания категорий.

---

[9] О построениях последнего типа см.: Ю. А. Бельчиков, Об именах прилагательных с приставкой *сверх-* в современном русском языке, сб. «Вопросы культуры речи», 2, М., 1959.

№ 2 1960

Г. М. ВАСИЛЕВИЧ

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ТУНГУСО-МАНЬЧЖУРСКИХ ЯЗЫКОВ

Новые материалы, собранные за последние два десятилетия, и исследования языков тунгусо-маньчжурской группы ставят тунгусоведов перед необходимостью пересмотра традиционной классификации этих языков: несоответствие ее показаниям языков не раз отмечалось попутно в ряде работ [1]. Ввиду того что вопросы классификации в практической работе не имели большого значения, они до сего времени оставались в тени.

В своем неопубликованном исследовании «Материалы языка к проблеме этногенеза тунгусов» [2], сравнивая лексические и грамматические материалы тунгусо-маньчжурских языков, мы пришли к выводу о необходимости новой классификации внутри тунгусо-маньчжурской группы языков. Этот вопрос был поднят в нашем докладе «К вопросу о начале становления тунгусских языков» на совещании по методологии этногенетических исследований, организованном в 1951 г. институтами АН СССР: языкознания, этнографии, истории материальной культуры и истории [3]. В настоящее время вопрос о пересмотре классификации ставят и нанаеведы (Аврорин, Суник), которые считают, что объединение в одну подгруппу с маньчжурским родственных языков Нижнего Приамурья не соответствует лингвистическим данным.

Если большинство специалистов по тунгусо-маньчжурским языкам с полным основанием предлагает выделить в особую ветвь или подгруппу маньчжурский язык с его диалектом сибо и чжурчженьский письменный язык [4], то в вопросе классификации остальных тунгусо-маньчжурских языков они расходятся. В. А. Аврорин предлагает разделить остальные языки на две ветви: северную (эвенкийский, эвенский, негидальский и солонский языки) и южную (нанайский, ульчский, орокский, удэйский и орочский), принимая, таким образом, трехчленное деление внутри тунгусо-маньчжурской группы (в качестве третьей ветви выделены маньчжурский язык, его сибинский диалект и чжурчженьский язык) [5]. О. П. Суник сохраняет двучленное деление всей группы на две ветви: маньчжурскую и тунгусскую, предлагая последнюю в свою очередь разделить на две подгруппы: «эвенкийскую» (языки эвенкийский, эвенский, солонский, негидальский) и «нанайскую» (языки нанайский, ульчский, орокский, орочский и удэйский) [6].

---

[1] См., например: В. И. Цинциус. Сравнительная фонетика тунгусо-маньчжурских языков, Л., 1949, стр. 35; О. П. Суник, Кур-урмийский диалект. Исследования и материалы по нанайскому языку, Л., 1958, стр. 16, примеч. 1; В. А. Аврорин, Новые исследования по языкам народностей Севера, ИАН ОЛЯ, 1957, вып. 5, стр 472—473.

[2] Краткую аннотацию этого исследования см.: Г. М. Василевич, Материалы языка к проблеме этногенеза тунгусов, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», I, 1946.

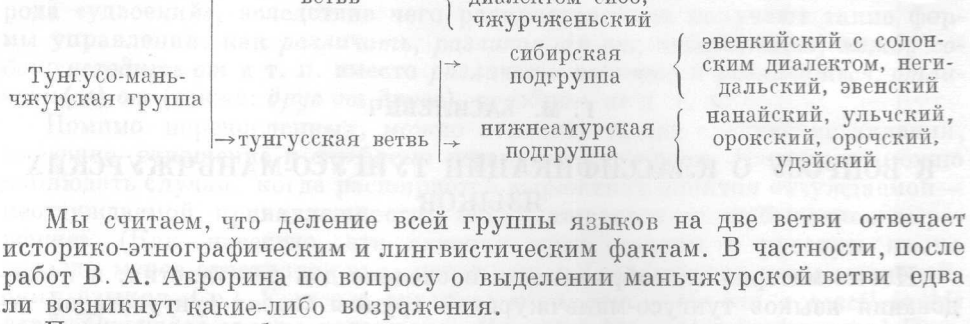
[3] См. об этом: ИАН СССР. Серия истории и философии, 1951, № 6, стр. 576.

[4] См. обоснование этого выделения: В. А. Аврорин, Новые исследования по языкам народностей Севера, стр. 473.

[5] Третью ветвь в вышеуказанной работе он называет восточной (стр. 473), а в своей «Грамматике нанайского языка» (т. I, М.— Л., 1959, стр. 3) — западной ветвью.

[6] О. П. Суник, указ. соч., стр. 16, примеч. 1.

Наша классификация совпадает с последней, отличаясь названием подгрупп:



Мы считаем, что деление всей группы языков на две ветви отвечает историко-этнографическим и лингвистическим фактам. В частности, после работ В. А. Аврорина по вопросу о выделении маньчжурской ветви едва ли возникнут какие-либо возражения.

Правильность объединения всех остальных языков в одну ветвь — тунгусскую (как это предлагает и О. П. Суник) подтверждается следующими фактами: 1) в составе любой народности Нижнего Приамурья преобладают роды раннего — тунгусского — и позднего — эвенкийского — происхождения[7], в то время как количество родов маньчжурского происхождения, входящих в состав этих народностей, относительно меньше; вхождение группы эвенков в состав, например, нанайской народности (роды Кили и Самар) продолжалось еще в конце XIX в.[8]; 2) предметы общетунгусской и эвенкийской культуры, будучи занесены древними тунгусами и эвенками на Амур и попав в среду оседлых (а не бродячих охотников горной тайги, какими были древние тунгусы и поздние эвенки) охотников-рыболовов, были видоизменены в соответствии с местными условиями и превращены в их нижнеамурские варианты (ср., например, лодку-берестянку, лыжи, колыбель, штаны, ноговицы и обувь); многие из таких предметов, как, например, лук, самострел, копье, конический чум, покрытия из бересты («тиски») и др., сохранены без каких бы то ни было изменений. Почти весь быт, связанный с охотой и жизнью в тайге, у народов Нижнего Приамурья является общим с эвенкийским, и соответствующие названия — в большинстве случаев одними и теми же; в орнаменте этих народов также сохраняется еще много тунгусских элементов. В языках этих народов также много древнетунгусских и эвенкийских элементов; количество их значительно превышает число маньчжурских.

Исключив общие элементы, имеющиеся во всех языках тунгусо-маньчжурской группы, рассмотрим в языках Нижнего Приамурья грамматические элементы тунгусского и эвенкийского происхождения, с одной стороны, маньчжурского — с другой. Элементами тунгусского происхождения мы называем такие, которые имеются во всех языках Нижнего Приамурья и которые не характерны для языков маньчжурской ветви. Элементами эвенкийского происхождения мы называем такие, которые имеются лишь в некоторых языках и говорах Нижнего Приамурья. Эти элементы могут быть характерными только для определенных диалектов эвенкийского языка и свидетельствуют о самых поздних вхождениях небольших групп эвенков в состав той или иной народности Нижнего Приамурья.

[7] См. об этом Л. Я. Штернберг, Гиляки, орочи, гольды, негидальцы, айны, Хабаровск, 1933, стр. 405, 406, 466; А. М. Золотарев, Родовой строй и религия ульчей, Хабаровск, 1939, стр. 26—27; Т. И. Петрова, Ульчский диалект нанайского языка, М.— Л., 1936, стр. 7—10; В. Г. Ларькин, Некоторые данные о родовом составе удэгейцев, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», XXVII, 1957, стр. 36—41; А. В. Смоляк, К вопросу о происхождении ороков, «Краткие сообщения Ин-та этнографии АН СССР», XXI, 1954.

[8] Например, в силу разновременности вхождения эвенков из рода Самар~Самагир в состав нанайских родов, современные нанайцы из рода Самар говорят на разных говорах; см. об этом: V. Diószegi, Le problème de l'ethnogenèse des samaghirs, «Acta orientalia», t. III, fasc. 1—2, 1953.

Тунгусские элементы в языках тунгусской подгруппы[9]

В области словообразования. Суффикс, посредством которого от названия предмета образуется название другого предмета с назначением охватывать первый предмет: эвнк., нгд. *-птун*; орч., ул.- *пту*; нн., ул. *-пту*[n]; нгд. *-пун*; эвн. *-пан*; *-тан* (тип: *ӈāлэ* «рука», *ӈāлэптун* «браслет»). /Суффикс, образующий названия мелких предметов или животных, которым свойственно находиться в скоплениях: эвнк., эвн., нгд., орч., уд., ул., нн. *-кта* (в говорах эвнк., нгд., орч. *-хта*); эвн., ул. *-та*; эвн. *-т* (тип: *ӈанмакта* «комар»)./Суффикс, образующий названия однородной массы: эвнк., нгд., орч., ул., нн. *-кса*; эвн., ул. *-са*; уд. *-ха* (в говорах эвнк., нгд., орч. *-хса*; эвнк., уд. *-ха*; эвн. *-с*) (тип: *тамнакса* «туман»). /Суффикс, образующий названия признака предмета по веществу или материалу, из которого он сделан: эвнк., эвн., нгд., орч., уд., ул., нн. *-ма* (тип: *мōма* «деревянный»)./Суффикс, образующий название признака предмета по времени: эвнк., нгд., орч., уд., ул., в говоре нн. *-пті*; нн. *-пчи*; эвн. *-п*; уд. *-ті* (тип: *горопті* «давний, далекий»)./ Суффикс, образующий многократный вид глаголов движения: эвнк., нгд., орч., уд., ул., нн. *-кта*; эвн. *-к* (тип: *туксакта-* «бегать»)./ Суффикс, обозначающий органическую потребность в действии: эвнк., эвн., уд. *-му*; эвнк., нгд., нн. *-муси* [<*-му* + *си* (*н*)]; улч. *-мси*; уд. *-мухи* (тип: *ум-му-* «хотеть пить»)./Суффикс, образующий взаимный залог глагола: эвнк., эвн., нгд., ул., нн. *-мат*, *-мачи*; уд. *-мас*, *-махи* (тип: *ӈōрчамāт-* «бороться»).

В области словоизменения. Суффикс локатива: эвнк., эвн., нгд., орч., уд., ул., нн. *-лā*[10], *-дулā* (тип: *ǯӯлā* «домой»)./Суффикс инструменталиса: эвнк., эвн., нгд., орч., уд., ул., нн. *-ǯ′и*; эвнк. *-т*; эвн. *-ч*./Суффикс 3-го лица повелительного наклонения, ед. число: эвнк., нгд., орч. *-бин*; нн. *бини*; орч. *-ини*; ул. *-ǯ′ини* (тип: *сāбин* «пусть он узнает»); мн. число: эвнк., нгд. *-гитін*; орч. *-гиті*, *-иті*; нн. *-гичи*; ул. *-ǯ′иті*; эвнк. *-ктін* (тип: *сāктін* «пусть они узнают»)./Суффикс будущего времени изъявительного наклонения: 1) эвнк., нгд., орч., орк., нн. *-ǯ′а*, эвнк. *-ǯ′ал*; эвн. *-ǯ′и* (тип: *эмэǯ′эн*, *эмэǯ′эллэн* «он придет скоро»); 2) эвнк., нгд., орч., уд. *-ǯ′аӈā*; эвн. *-дӈа*; ул., нн. *-ӈа тани*[11] (тип: *эмэǯ′эӈэн* «он придет завтра»).

Во всех языках Нижнего Приамурья, так же как в эвенкийском, эвенском и негидальском, существуют притяжательные (личные и безличные) формы имен и личные формы глагола.

Эвенкийские элементы в языках тунгусской подгруппы

В области словообразования. Суффикс, образующий название шкур: эвнк., нгд., ул., нн.-*кса*; эвн. *-с*, *-кас* (тип: *ӈинакса* «собачья шкура»). /Суффикс, образующий названия частей организма: эвнк., нн.-*ки*; эвнк., орч., уд. *-хи* (тип: *арпукӣ* «плавник»)./Суффикс, образующий названия места действия: эвнк., нгд. *-кит*; эвнк., нгд. *-кич*, *-кичи*; уд.-*кчи* (тип: *бейумэкӣт* «место охоты на копытного зверя»)./Суффикс, образующий повторительные числительные: эвнк., ул. *-рā*; эвнк., эвн. *-рākāн*; нгд., орч.-*йа*; уд. *-леба* (тип: *иларā* «трижды»)./Суффикс, образующий названия числительных для счета дней: эвнк., нгд.-*лда*,-*лла*;эвн. *-ла*; ул., нн.-*лта* (тип: *ǯ′ӯлдэ* «два дня»)./Суффикс, образующий названия числительных для счета людей: эвнк., эвн., нгд., ул.-*ни* (тип: *иланī* «три человека»).

---

[9] Нами приняты следующие сокращения: эвнк.— эвенкийский, эвн.— эвенский, нгд.— негидальский, орк.— орокский, орч.— орочский, уд.— удэйский,ул.— ульчский, нн.— нанайский, мн.— маньчжурский.

[10] В маньчжурском, как и в нанайском, в некоторых наречиях места суффикс *-ла* (*-лэ*) слился с основой слова (*амала* «позади», *фэчжилэ* «внизу по реке»).

[11] В нанайском эта форма выражает значения пожелания, предложения произвести действие: *холаӈа-си тани* «почитал бы ты, почитай-ка ты».

/Суффикс, образующий уменьшительно-пренебрежительную форму имен: эвнк., эвн., нгд., орч., нн.[12] *-чан* (тип: *ңинакчан* «собачонка»)./Суффикс, выражающий стремление к действию: эвнк. *-кса* (*-кси*); эвн. *-счи*; орч. *-кча*; нн. *-кича* (тип: *ичэксэ-* «стремиться увидеть»)./Суффикс, образующий начинательный вид действия: эвнк., эвн., нгд., орч., уд., ул.*-л(и)*, *-ли*; нн. *-лу/-ло* (тип: *ичэчил-* «начать смотреть»).

В области словоизменения. Суффикс аллатива: эвнк., эвн., нгд. *-ткӣ*~ *-тікӣ*; орч., ул. *-ті*; уд. *-тіги*; нн. *-чи* (в наречиях места эвнк., эвн. *-ски*; орч., ул., нн., мн. *-си*; уд. *-хи*) (тип: эвнк. *бираткӣ* «к реке», *дісккӣ* «вверх по горе»)./Суффикс аблатива: эвнк., эвн., нгд. *-дук(и)*; орч. *-дуйи*; уд. *-дігі* (тип: эвнк. *ǯ'ӯдук* «из дома»)./Суффикс пролатива: эвнк., эвн., нгд., орч., уд.*-лӣ*, *-дулӣ* (тип: эвнк. *биралӣ* «по реке»). /Суффикс элатива: эвнк. *-гит*, *-гиǯ'и*; эвн. *-гич*; уд. *-ǯ'иǯ'и*; нн.*-ǯ'еаǯ'и* [тип: эвнк. *бирагит* «с реки» (дуть)]./Суффикс 1-го лица ед. числа наст. времени повелительного наклонения: эвнк., нгд. *-кта* (<*-гита*); нн.*-гита*; ул. *-ǯ'ита* (тип: эвнк. *ōкта* «сделаю-ка я»)./Суффикс настоящего времени для глагола отрицания *э-* и глагола существования *би-*: эвнк., эвн., нгд., орч. *-си*; эвнк. *-с(э)*. Перечень эвенкийских грамматических элементов в языках Нижнего Приамурья можно значительно увеличить.

Маньчжурские элементы в языках Нижнего Приамурья

Суффикс, образующий прошедшее время: мн., нн., ул., уд., орч. *-ха* (в уд. этот показатель имеют только основы, оканчивающиеся на гласный). /Суффикс, образующий условно-временное деепричастие: мн. *-фи*; нн. *-пи*. /Суффикс, образующий качеств. прилагат. мн.,нн. *-ку*.

Числительные. 20: мн. *орин*, нн. *хорин*, ул. *хури*^{н}, уд. *вайн*, орч. *-ои*^{н}; 30: мн. *гусин*, нн. *гочин*, ул. *-гути*^{н}, орч. *гути*; 40: мн., нн. *дэхи*, ул. *дэги*, *дэйи*; 50: мн., ул. *сусай*, нн. *сосай*, *соси*; 100: мн., ул., уд., орч. *тангу*, нн. *эм тангу*; 1000:мн. *минган*, нн. *менг*^{н},ул. *минга*^{н}, орч., уд. *минга*.

Как видно, в языках Нижнего Приамурья число тунгусских и эвенкийских грамматических элементов значительно превышает количество маньчжурских элементов. В лексике указанных языков тунгусские слова служат для обозначения явлений, относящихся к природе горной тайги, к быту бродячего охотника, его представлениям и обрядам. Маньчжурские и монгольские лексические заимствования соответственно служат для выражения понятий, пришедших с юга.

Проследим элементы тунгусской лексики, выражающие следующие значения[13]./«1) Гора, покрытая лесом; 2) лес»: эвнк. *урэ* (1); нгд. *уйэ* (1); эвн. *урэкчэн* (1); орч. *уэ* (1); уд. *уэ*~*вэ* (1); орк. *хурэ* (1, 2); ул., нн. *хурэ*^{н} (1, 2)./ «Исток (реки)»: эвнк., эвн. *дэрэн*; нгд. *дыйэн*; орч. *дэрэсу*; уд. *дэ*; орк. *дэрэ*; ул., нн. *дэрэ*^{н}. /«Горная тундра, сфагновое болото»: эвнк., нгд., эвн. *дэт*; орк., ул., нн. *дэту*. /«Лиственница»: эвнк., нгд. *ирэктэ*; эвн. *ирэт*; орч., уд. *йэктэ*; орк. *урэктэ*; нн. *уракта*. /«1) Осина; 2) тополь»: эвнк. *хула* (1); нгд. *хол* (1), *холдан* (2); эвн. *хул* (1); орч. *хулу* (1); уд. *пулу* (1); ул. *поло* (1); нн. *фулха* (2). /«Кора (хвойного дерева)»: эвнк., нгд., орч. *угдакса*; уд. *уакта*; нн. *удаха*./ «1) Олень; 2) лось; 3) крупный копытный зверь»: *бэйун* — эвнк. (1, 2, 3), нгд. (2), эвн. (1), ул. (1, 2); *буйу* — орч. (2, 3), уд. (3); нн. *бэйу* (1, 2, 3); орк. *буйу* «медведь»./ «Заяц»: эвнк. *туксаки*; нгд. *токсаки*; орч., уд., орк. *тукса*; ул., нн. *токса*./ «Рысь»: эвнк., орч., уд. *тыбǯ'акӣ*; нгд. *тыбǯ'эхи*; эвн. *чибǯ'ахи*; орк., ул., нн. *тугдэ*./ «Выдра»: эвнк. *ǯ'укун*; нгд. *з'укин*; эвн. *з'укан*; орч., нн. *ǯ'уку*; уд. *ǯ'угу*./ «Лыжа»: эвнк. *кинңэ* (1. «лыжа без меха»), *суксилла* (2. «лыжа с мехом»); нгд. *кинңэ* (1), *сохсила* (2); орч. *киңили* (1), *сукта* (2); уд. *киңилэ* (1), *сугала* (2); орк., уд., нн.

[12] В ванайском эта форма встречается редко.

[13] В скобках цифрой указывается, какое именно из перечисленных значений имеет приведенное слово.

киңилтэ; орк. *с'уңулта*; ул. *султа*; нн. *сокселта.*/ «Сеть»: эвнк. *адыл/адал*; нгд.*адел*; эвн. *адал*; орч. *адули*; уд. *адыли*; орк. *адури*; ул. *адули*; нн. *адоли.*/ «1) Линь; 2) карась; 3) налим; 4) рыба»: эвнк. *сугъ'эннэ* (1); нгд. *сугъ'анна* (1); эвн. *хугъ'анра* (1); орч. *сугъ'асе* (4); уд. *сугъ'эхэ* (4); орк. *сугдаи* (2); ул., нн. *сугда(-та)* (4)./ «Рыба»: эвнк. *олло*; нгд. *оло*; эвн. *олра*; уд. *олохо*; орк. *холто*; ул., нн. *холто*^{н} [14]./«1) Молока; 2) икра»: эвнк., нн. *чапа* (1); орч., уд. *чафа* (2)./ «Место, расположенное против входа в жилище»: эвнк., нгд., уд., орк., ул., нн. *малу*; эвн. *мал.*/ «Штаны, трусы (натазники)»: эвнк. *хэрки*; нгд., орч. *хэйки*; эвн. *хэркэ*; уд. *хэйги*; орк., ул., нн. *пэру.*/ «Унты (обувь)»: эвнк., эвн., нгд., орч., уд., ул. *унта*; нгд. *онта*; нн. *ота.*/ «Рукав»: эвнк., нгд., орч. *уксэ*; эвн. *ус*; уд. *укихэ*; ул. *вэскэ*; нн. *хуэксэ, хуксиптун.*/ «Рукавицы»: эвнк., нгд. *кокоммо*; орч. *коокто*; уд. *к'оло*; нн. *колто.*/ «Нагрудник»: эвнк., эвн. *нэл(и)*; орч., уд. *лэли*; нн. *лэлу.*/ «Охра, сурик (рыжая и красная краска)»: эвнк., ул. *дэвэксэ*; эвн. *дэвэ*; орч. *дэвуксэ*; нн. *дэуксэ.*/ «1) Сосед; 2) гость; 3) соседить»: эвнк. *нимэк* (1), *нимэр* (2), *нимэ-* (3); нгд. *нимэх* (1), *нимэ* (3); эвн. *нимэр* ~ *нимэк* (1); орч., уд. *нимэнкэ* (1); орк., ул., нн. *нимэ* (1). /«Обмениваться»: эвнк. *дюгэт-* (*дюгэчи-*); эвн. *дюгэн-*; орч. *дюэчи-*; уд. *дюгэс-*; ул. *дюэчи-*; нн. *дюэчиэ-*. /«Сказка, сказание»: эвнк. *нимңакан*; эвн.*нимкан*; орч. *ниммахачи*; уд. *ним'анку*, *нима*; орк., ул. *ниңма*; нн. *неңма.*/ «Камлать»: эвнк. *нимңа-*; ул. *ниңман-*; нн. *неңман-*. /«Побеждать»: эвнк. *дабӯ-*~*дабӯ-*; эвн. *дабӯ-*; уд. *дабдумас-*; орк. *дабде-*; нн. *дабдис-.*/ «Душа (душа-тень)»: эвнк., нгд. *хан'ан*; эвн. *хан'ин*; орч., уд. *хан'а*; орк. *пан'а*; ул. *пан'а*^{н}; нн. *пан'еа*^{н} и т. д.

Перечень слов тунгусского происхождения можно значительно увеличить. Собственно эвенкийская лексика отражена в языках Нижнего Приамурья различно, причем в некоторых из них количество слов эвенкийского происхождения изменяется от говора к говору. В отдельных говорах языков Нижнего Приамурья отмечаются некоторые фонетические явления, сближающие эти говоры с отдельными диалектами эвенкийского языка. Эти факты могут говорить о разновременности вхождения эвенков в состав той или иной народности Нижнего Приамурья.

Приведенные факты в достаточной степени свидетельствуют о родстве и близости культур и языков народов Нижнего Приамурья и эвенков. С учетом этого родства мы предлагаем деление тунгусо-маньчжурской группы на две ветви; такое деление нам кажется более соответствующим фактам истории и менее формальным, чем предлагаемое В. А. Аврориным деление на три ветви. Для наименования ветвей тунгусо-маньчжурской группы мы предлагаем сохранить традиционные, употребляющиеся в этнографической литературе названия — тунгусская и маньчжурская: во-первых, они соответствуют историческим названиям народов (тунгусы, маньчжуры), языки которых по новой классификации предлагается объединить в тунгусскую и маньчжурскую ветви; во-вторых, эти названия не совпадают ни с самоназваниями народов, говорящих на языках тунгусской ветви, ни с наименованиями этих языков (сейчас нет тунгусов и тунгусского языка, а есть эвенки, эвены и негидальцы; в свою очередь, почти все маньчжурское население Китая говорит на китайском языке, и маньчжурский язык, как и чжурчженьский, становится уже достоянием истории). Наименование же ветвей тунгусо-маньчжурской группы по странам света искусственно: даже Аврорин еще окончательно не решил, как называть маньчжурскую ветвь —восточной или западной.

Для наименования подгрупп тунгусской ветви нам кажется правильным применять названия «сибирская» и «нижнеамурская»: во-первых, эти названия нейтральны в отношении наименований современных народностей; во-вторых, основная масса народов нижнеамурской подгруппы населяет районы Нижнего Приамурья (исключение составляют ороки,

[14] В удэйском, орокском, ульчском и нанайском приведенные слова обозначают вареную рыбу.

живущие на Сахалине), а все народы сибирской подгруппы населяют большую часть Сибири. Деление тунгусской ветви на нижнеамурскую и сибирскую подгруппы и наименование указанных ветвей и подгрупп соответствует и принятому в публикуемом Сибирском этнографическом атласе выделению типов разных элементов культур и их вариантов, а также наименованию этих типов и их вариантов (например, тунгусский тип и его нижнеамурский вариант). Языки нижнеамурской подгруппы, сохраняя в основе черты общности с языками сибирской подгруппы и маньчжурской ветви, имеют свои особенности (в лексике, фонетике и отчасти — в морфологии), позволяющие выделить их в отдельную подгруппу.

Фонетические особенности, в разной степени характерные для языков Нижнего Приамурья и не свойственные другим языкам тунгусо-маньчжурской группы, могут быть отнесены за счет субстрата — языков аборигенов, населявших Нижнее Приамурье и Приморье севернее и южнее устья Амура до выхода туда тунгусоязычных охотников.

Ниже мы приведем несколько примеров фонетических изменений, имевших место в тунгусской лексике и показывающих, что фонетика современных нижнеамурских языков складывалась и развивалась под влиянием различных, но родственных между собою языков аборигенного населения.

1. Негидальскому, орочскому и удэйскому языкам не свойствен звук *р*, характерный для эвенкийского; во всех случаях его заменяет среднеязычный *й*: эвнк. *бэр* «лук», нгд. *бэй*, орч., уд. *бэй*~*бий*; эвнк. *бира* «река», нгд. *бейа*, орч. *бийака*, уд. *беэса*; эвнк. *гара* «ветвь», нгд. *гайа*, уд. *га*; эвнк. *оросол* «олени», нгд. *ойосол*, орч. *оласа*, уд. *оло*.

2. В орочском и удэйском языках звукосочетания *лд*,*лг*,*лб* в словах тунгусского происхождения претерпели изменения: *лд*>*гд*; *лг*>*гг*, *г*, *гд*; *лб*>*бб*, *гб*. Например: эвнк. *балды-* «родиться», орч., уд. *багды-*; эвнк. *олдон* «бок», орч., уд. *огдо*; эвнк. *олго-* «сохнуть», орч. *огги-* «сушить», уд. *ого-* «сохнуть», *огду* «сушеный»; эвнк. *дɪлган* «голос», орч. *дɪгган*, уд. *дɪган-* «издавать звуки»; эвнк. *долбо* «ночью», *долбонӣ* «ночь», орч. *доббо*, уд. *долбони*; эвнк. *элбэс-*, уд. *эгбэси-* «плыть, купаться».

3. Во всех языках Нижнего Приамурья тунгусские звукосочетания *рб*, *рп*, *рг*, *рк*, *рч*, *рл* в ряде слов претерпели изменения. Например: эвнк. *гэрби* «имя», мн. *гэбу*, нгд. *гэлби*, орч. *гэбби*, *гэбу*, уд. *гэгби*, ул. *гэбу*, нн. *гэрбу*~*гэбу*; эвнк. *арба* «мель», нгд. *адби*, ул. *халба*, нн. *харба*; эвнк. *гарпа-* «восходить (о солнце); стрелять», мн. *габта-*, нгд. *гатпа-*, орч. *гаспа-*, уд. *гакпа-*, ул., нн. *гарпа(л)-*; эвнк. *арпу-* «опахать, махать», мн. *хаптала-*, нгд. *атпу-*, орч. *аппу-*, уд. *акпу-*, ул. *харпули-*, нн. *хапола-*; эвнк. *ирги* «хвост», нгд., орч., уд. *игги*, уд. *хуӡ′у*, нн. *хуйгу*; эвнк. *бургу* «жирный», нгд. *бэйгэ*, орч. *бэггэ*, уд. *бого*, ул. *бэӡ′э*~*буӡ′у*, нн. *буйгуⁿ*; эвнк. *иргэ* «мозг», мн. *учжу*, нгд. *иггэ*~*идгэ*, ул. *иӡ′э*, нн. *игэ*; эвнк. *ургэ* «тяжелый», мн. *учжэн*, нгд. *уйгэгды*, орч. *угэси*, уд. *угэхи*, ул. *хуӡ′э*~*ули*, нн. *хуйгэ*; эвнк. *уркэ* «дверь», мн. *учэ*, нгд. *уйкэ*, орч. *уккэ*, уд. *укэ*, ул. *учэ*, нн. *уйкэ*; эвнк. *хурка* «петля» (при охоте на птицу), мн. *хурка*, *хурга*, нгд. *хойка*, орч. *хукка*, уд. *хука*, ул. *пуча*, нн. *пойка*; эвнк. *арча-* «встретить», мн. *арча-* («преграждать путь зверю»), нгд. *алча-*, орч. *ача-*, уд. *асали-*, ул. *ачал-*, нн. *ачан-*.

4. В ряде слов в звукосочетаниях *пк*, *бг*, *мн* происходят перестановки звуков, ассимиляции или замены одних звуков другими. Например: *пк*>*к*, *кп*: эвнк. *ӡ′апка* «берег, край», мн. *ӡ′ака*, орч., уд., ул., нн. *ӡ′акпа*; эвнк. *ӡ′апкуӈ* «восемь», мн. *ӡ′акун*, орч., уд. *ӡ′акпу*, ул., нн. *ӡ′акпуⁿ*; эвнк. *тыпкэн* «гвоздь, клин», орч. *тыппэ*, уд. *тыкгэ*, ул., нн. *тукпэⁿ*; /*мӈ*>*нӈ*, *мм*, *ӈм*: эвнк. *амӈа* «рот» (в мн. *аннa* — другого происхождения), орч. *амма*, уд., нн. *аӈма*; эвнк. *нимӈакан* «сказка, сказание», орч. *ниммахачи*, уд. *ним′анку*, ул., нн. *ниӈма*, *неӈма*; /*вг*>*бг*, *бб*, *гб*: эвнк. *сэвгу*~*субгу* «рыбья кожа», орч. *суббу*, уд., ул. *сугбу*, нн. *согбо*; эвнк. *ливган-*~*либган-* «подавиться, проглотить», орк. *нуӈбэ-*, ул., нн. *луӈбэ-*.

5. Эвенкийскому окончанию *-н* в орочском и удэйском соответствует нуль звука, а в нанайском и ульчском исчезновение конечного *-н* компенсируется назализацией гласного. Например: «копытный зверь (олень, лось)»: эвнк. *бэйун*, нгд., эвн. *бэйун* ~ *буйун*, ул., нн. *бэйу*^{н} > *бэйу*, уд., орч. *буйу*; «шапка»: эвнк., нгд., эвн. *авун*, ул. *апу*^{н}, нн. *апо*^{н}, орч., уд. *ау*, орк. *апу*; «домашний олень»: эвнк., эвн. *орон*, нгд. *ойон*, нн., ул. *оро*^{н}, уд. *оро*, орч., орк. *ула*, орч. *ола*.

Таким образом,замена тунгусского-*р*-среднеязычным *й* имеет место в негидальском, удэйском и орочском; переход тунгусских звукосочетаний *-лд-*>*-гд-*; *-лг-*>*-гг-*, *-гд-*; *-лб-*>*-бб-*, *-гб-* отмечен только в орочском и удэйском языках; переходы тунгусских звукосочетаний *-рб-*>*-б-*, *-лб-*, *-бб-*, *-гб-*, *-дб-*; *-рп-*>*-п-*, *-бт-*, *-тп-*, *-сп-*, *-кп-*, *-пт-*, *-пп-*, *-кп-*; *-пк-*>*-к-*, *-кп-*, *-пп-*, а также *-мң-*>*-ң ң-*, *-мм-*, *-ңм-* имеют место во всех языках Нижнего Приамурья и в маньчжурском; переход звукосочетания *-рг-*>*-гг-*, *-ǯ-*, *-йг-*, *-г-* отмечен во всех языках Нижнего Приамурья, а в отдельных случаях и в маньчжурском; переходы звукосочетаний *-рк-*>*-ч-*, *-йк-*, *-кк-*, *-к-*; *-рч-*>*-ч-*, *-с-*, *-лч-*, а также *-вг-* ~ *-бг-*>*-бб-*, *-гб-*, *-ңб-* наличествуют во всех языках Нижнего Приамурья.

Указанные немногочисленные фонетические данные свидетельствуют о том, что языки нижнеамурской подгруппы развивались во взаимодействии с языками аборигенов, что и отличает эту подгруппу от языков сибирской подгруппы. Маньчжурский язык испытал влияние аборигенных языков в весьма незначительной степени: лишь в отдельных словах общетунгусские звукосочетания (*-рб-*, *-рг-* и др.) в маньчжурском заменены другими, в большинстве же случаев они сохраняются (ср., например: эвнк. *гэрби*, мн. *гэбу* «имя» и эвнк. *хэргилэ*, мн. *фэчжилэ* «внизу», где такая замена производится; но эвнк. *арба*, мн. *харба* «мель» и эвнк. *тургэн*, мн. *тургэн'* «быстрый», где общетунгусские звукосочетания сохраняются). Этот факт говорит о том, что замена сочетаний согласных в маньчжурском языке происходила не таким путем, как в языках Нижнего Приамурья.

Наличие в одних случаях одинаковых фонетических явлений не тунгусского происхождения во всех языках Нижнего Приамурья свидетельствует о родстве языков аборигенов. Например, нетерпимость к дрожащему *-р-* распространилась и на негидальский язык в низовьях р. Амгуни. Но если в негидальском общетунгусский *-р-* заменился во всех случаях среднеязычным *-й-* или боковым *-л-*, то в языках Нижнего Приамурья *-р* заменялся по-разному в зависимости от того, находился ли он в интервокальном положении или в сочетании с согласным (например: *-рб-*>*-б-*, *-гб-*, *-бб-*; *-рп*>*-кп-*, *-пп-*, *-п-*; *-рг*>*-гг-*, *-йг-*, *-г-*, *-ǯ'-*; *-рк-*>*кк-*, *-йк-*, *-к-*, *-ч-*; *-рч-*>*-ч-*, *-с-*;*-пк-*>*-кп-*, *-пп-*,*-к-*; *-мң-*>*-мм-*, *-ңм*; *-вг-*~*-бг-*>*-гб-*, *-бб-*). В других случаях влияние фонетики аборигенных языков, проявившееся в замене общетунгусских согласных в некоторых иных звукосочетаниях, зафиксировано на ограниченной территории, а именно — к югу от низовьев Амура, где оно распространялось на языки орочей и удэ. Эти языки, кроме вышеуказанных явлений, характеризовались еще и нетерпимостью к боковому *-л-* в сочетаниях с согласным (*-лд-*>*-гд-*; *-лг-*>*-гд-*, *-гг-*; *-лб-*>*-гб-*, *-гг-*). Интересно, что и такое явление, как усечение конечного *-н*, распространившееся в языках орочей и удэ, в других (нанайский и ульчский) на территории самого Амура и Сунгари отразилось неполностью, обусловив назализацию согласного. Эти факты свидетельствуют о существовании различий между родственными языками аборигенов.

Мы несколько отвлеклись от рассматриваемого вопроса с тем, чтобы на примерах фонетических изменений слов тунгусского происхождения показать еще одну сторону вопроса, подтверждающую правильность деления тунгусо-маньчжурских языков на две ветви (тунгусскую и маньчжурскую) и большее соответствие предлагаемых названий для подгрупп тунгусской ветви — сибирской и нижнеамурской.

№ 2 1960

Е. В. ЧЕШКО

К ВОПРОСУ О ПАДЕЖНЫХ КОРРЕЛЯЦИЯХ

Чтобы быть по-настоящему плодотворной, дискуссия о структурализме не должна ограничиваться лишь теоретическим обсуждением основных положений структурной лингвистики. Необходима критическая проверка на конкретном языковом материале правильности и универсальности законов и отдельных концепций, сформулированных в структуральных исследованиях.

В этом отношении заслуживает внимания статья чешского ученого М. Докулила, опубликованная к IV Международному съезду славистов[1]. Автор ставит перед собой следующую задачу: проверить на материале современного чешского языка действенность и правильность известных положений пражской лингвистической школы, в частности — теорию морфологических корреляций Р. Якобсона, опирающуюся на принцип асимметрии лингвистической структуры[2] и принцип бинарных двучленных противопоставлений. В применении к морфологической системе принцип асимметрии раскрывается Якобсоном как противопоставление признаковой и беспризнаковой категорий, т. е. категории, сигнализирующей о наличии какого-то признака *A*, и категории, не сигнализирующей о наличии этого признака. Последнее выражается в том, что беспризнаковая категория может выражать и не выражать данный признак в зависимости от условий контекста. Мы позволим себе проиллюстрировать это положение примером из интересующей нас области падежных корреляций. Вин. падеж, по мнению Якобсона, сигнализирует о том, что на данный предмет направлено действие (сигнализирует об объектном значении), в противоположность чему им. падеж не может быть охарактеризован как падеж с противоположным значением, так как он наряду со значением субъекта может выражать и значение объекта действия. Это и служит для Р. Якобсона основанием рассматривать данный падеж как не сигнализирующий о признаке направленности[3]. Таким образом, объем значений противопоставляемых категорий не равен: беспризнаковая категория обладает бóльшим объемом значений, так как способна выражать помимо своих особых значений также значения признаковой категории. В этом и проявляется асимметрия лингвистической структуры.

Признак бинарности заключается в том, что все, даже многочленные грамматические системы, как, например, система падежей, могут быть сведены к ряду двусторонних противопоставлений. Так, система русских падежей основана, по мнению Якобсона, на трех двучленных противопоставлениях, которые в последнем его докладе на IV Международном съезде славистов определены следующим образом: 1) признак направленности вин. и дат. падежей противопоставлен отсутствию такового в им. и твор. падежах; 2) признак объемности в род. падеже противопоставлен отсутствию такового в им. и вин. падежах, и тот же признак в предл. па-

[1] M. Dokulil, K otázce morfologických protikladů, SaS, ročn. XIX, číslo 2, 1958.

[2] S. Karcevski, Du dualisme asymétrique du signe linguistique, «Cahiers F. de Saussure», 14, 1956.

[3] R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, TCLP, 6, 1936, стр. 249.

деже противопоставлен отсутствию такового в твор. и дат. падежах; 3) по признаку периферийности твор., дат. и предл. падежи противопоставлены лишенным этого признака им., вин. и род. падежам[4].

М. Докулил не рассматривает категории падежа, однако он ставит вопрос, который, нам кажется, должен быть снова рассмотрен и применительно к этой категории: «Если нам действительно удастся,— пишет М. Докулил,— привести морфологическую систему данного языка к ограниченному числу исключительно двусторонних противопоставлений, будут ли эти противопоставления всегда к о р р е л я ц и я м и в смысле якобсоновских, т. е. противопоставлением чего-то с ничем в области их значений?»[5].

Мы поставим этот вопрос применительно к категории падежа: следует ли общее значение им. падежа понимать как недостаток признаков направленности, объемности и периферийности или значение данного падежа может быть охарактеризовано положительно? Прежде чем перейти к его рассмотрению, сформулируем свои исходные позиции. Мы разделяем мнение ученых, полагающих, что падеж обладает морфологическим или общим значением, и присоединяемся к следующему положению Р. Якобсона: «Каково бы ни было разнообразие семантических вариаций, зависящих от чисто синтаксических и лексических условий, все же единство падежа остается реальным и ненарушимым... В каждом падеже все его частные, комбинаторные значения могут быть приведены к общему знаменателю. В отношении к прочим падежам той же системы склонения каждый падеж характеризуется своим инвариантным общим значением, собственной „значимостью“, согласно удачной передаче соссюровского термина „valeur“ в переводе А. М. Сухотина»[6].

Мы считаем важным остановиться еще на двух положениях доклада Р. Якобсона, так как они уточняют позицию автора в принципиальных вопросах, определяющих метод исследования. Нельзя не согласиться с возражением Якобсона против механического перенесения фонологических методов на грамматические исследования: «При всей плодотворности фонологического опыта для разысканий в других языковых планах нельзя автоматически прилагать фонологические критерии к грамматическим элементам, которые в отличие от фонологических, чисто различительных средств наделены собственным значением»[7]. Признание изоморфизма в языке не должно исключать признания специфики его отдельных систем. Поэтому не следует механически выводить за пределы лингвистики все то, что отличает морфологическую и лексическую системы от фонологической. А это прежде всего фактор з н а ч е н и я. В отличие от дифференциальных признаков фонем, в качестве которых выступают различные артикуляционные или акустические особенности звуков, т. е. элементы, не обладающие каким-либо значением или значимостью, в морфологии дифференциальными признаками служат э л е м е н т ы з н а ч е н и я.

Таким образом, специфика морфологической системы определяет необходимость учета данных семантического анализа для определения морфологического значения падежей: «Вслед за регистрацией комбинаторных (синтаксически или лексически обусловленных) значений каждого падежа должна быть произведена дальнейшая операция — морфологический анализ падежных значений, который открывает лежащую в их основании систему минимальных единиц грамматической информации, т. е. падежных признаков, и по общности признака объединяет падежи в классы»[8].

---

[4] Р. О. Я к о б с о н. Морфологические наблюдения над славянским склонением, s'Gravenhage, 1958, стр. 5.

[5] M. D o k u l i l, указ. соч., стр. 89.

[6] Р. О. Я к о б с о н, Морфологические наблюдения..., стр. 3.

[7] Там же, стр. 6.

[8] Там же, стр. 8.

Строя морфологический анализ на базе семантического, нужно, однако, четко разграничивать функционально-семантический план, который можно назвать планом грамматической семантики, и план морфологический, который мы называем планом грамматического представления. В первом случае речь идет о том, ч т о́ обозначают, какие реальные отношения могут выражать те или иные морфологические категории в различных условиях контекста. К функционально-семантическому плану относятся, таким образом, все контекстуальные, т. е. синтаксически и лексически обусловленные значения падежей, в том числе и те субъектно-объектные значения, которые подробно рассматриваются Р. Якобсоном в его работе «Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre». Во втором случае речь идет о тех минимальных единицах грамматической информации, носителем которых является данная грамматическая категория, о тех признаках, которые определяют, почему данная категория функционирует так, а не иначе, почему, например, тот или иной падеж может выступать в одних условиях контекста, выражая при этом определенные значения, и не может функционировать в других контекстах или других значениях.

В работах исследователей, пытающихся проводить структурный анализ в области морфологии по методу Р. Якобсона, разграничению этих двух планов не уделяется должного внимания. Источником этой ошибки является труд самого Р. Якобсона, в адрес которого различными учеными делались неоднократные упреки по поводу чисто семантической ориентации его теории. Однако критика эта велась главным образом с позиций синтаксической теории падежа, подвергающей сомнению самую постановку вопроса о наличии у падежей общего или морфологического значения [9].

Мы сделаем попытку принципиально иного рассмотрения этой работы, так как считаем приемлемой исходную позицию автора — признание общего значения падежа. Недостаточно четкое различение семантического и морфологического планов у Р. Якобсона проявляется в том, что он оперирует то корреляциями падежных признаков (морфологические корреляции), то корреляциями падежных значений (семантические корреляции), не отмечая принципиального различия между ними. В самом деле, в его докладе (как и в общей схеме корреляций русских падежей в его указанной статье от 1936 г.) представлены корреляции падежных признаков: направленности, периферийности и объемности (или охвата действием). Когда же автор обращается к анализу этих корреляций, избрав в качестве образца корреляцию вин.-им. падежей, он рассматривает уже корреляцию значений, в которой коррелятивный падеж обладает значением объекта действия. В противоположность этому немаркированный падеж характеризуется наличием по меньшей мере двух значений, а именно: 1) совпадающим с коррелятивным падежом значением объекта действия, которое для им. падежа является комбинаторным или не собственным значением, и 2) противопоставленным коррелятивному падежу значением (или рядом значений) не-объекта, т. е. значением субъекта действия, которое является специфическим значением им. падежа.

Корреляция принимает, следовательно, примерно, такой вид:

Вин. падеж — объект действия Им. падеж { — объект действия / — субъект действия }

Поскольку немаркированный падеж обладает рядом значений, среди них определяется главное. Для определения главного значения вводится критерий контекста: «Специфическое значение именительного, которое прямо противопоставлено значению коррелятивного падежа, в данном случае — значение действующего субъекта или, еще точнее, значение субъ-

[9] См. например: J. Kuryłowicz, Le problème du classement des cas, BPTJ, zesz. IX, 1949, стр. 41-43; Е. Р. Курилович, Заметки о значении слова, ВЯ, 1955, № 3.

екта переходного действия[10] является главным значением именительного падежа. В этом значении[11] другой падеж, кроме именительного, невозможен. Можно, например, сказать: *Детей пришло*!, *Никого не было*!, но можно только сказать: *Дети собирали ягоды*, *Никто не пел* — и нельзя: *Детей собирало ягоды*, *Никого не пело*»[12].

Переход от корреляции признаков к корреляции значений при анализе соотношений вин.-им. падежей оказывается незаметным, так как различие этих падежей определяется только одним признаком (в отношении второго и третьего эти падежи тождественны). Последнее обстоятельство обусловливает то, что корреляция значений вин.-им. падежей полностью соответствует первой корреляции признаков. Других семантических корреляций Якобсон не анализирует. Но совершенно очевидно, что вторая и третья корреляции Якобсона также должны быть переведены в семантический план, чтобы стало возможным определение комбинаторного, специфического и главного значений. А в том виде, как они представлены, они не могут быть подвергнуты такому анализу, как первая корреляция, т. е. в них нельзя, например, определить главное значение, пользуясь теми же критериями контекста, что и в первом случае.

Р. Якобсон не приводит семантических корреляций других падежей; между тем именно этот тип корреляций кажется нам бесспорным, так как он представляет собой определенный способ регистрации и сопоставления контекстуальных значений различных падежей.

На основании семантических корреляций могут быть определены морфологические[13]. Однако это определение не должно быть механическим перенесением отношений, наблюдаемых в сфере грамматической семантики, в морфологический план. Примером такого рода ошибки является, на наш взгляд, определение Якобсоном падежного признака первой корреляции, разграничивающего вин., дат. и им. падежи.

В самом деле, на основании того, что вин. падеж обозначает объект действия, а им. падеж — объект и субъект действия, Р. Якобсон делает следующий вывод: вин. падеж сигнализирует о том, что предмет должен подвергнуться действию, т. е. этот падеж выступает как маркированный в отношении признака направленности, в то время как им. падеж в отношении данного признака является немаркированным.

Бесспорные на первый взгляд заключения Р. Якобсона, которые он делает на основании семантической корреляции вин.-им. падежей, вызывают у нас сомнения как в части определения падежных признаков, разграничивающих эти падежи, так и в части определения отношения так называемых немаркированных падежей к разграничительным признакам.

Признак направленности определяет вин. и дат. падежи только как падежи объекта, в то время как они могут употребляться не только в объектном, но также и в субъектном значении, например: *Мне нравится эта картина*, *Кате надоело учиться*, *Меня тошнит*, где никакой направ-

[10] С нашей точки зрения главным значением им. падежа следует считать значение действующего субъекта, а не значение «субъекта переходного действия», так как последнее определение необоснованно сужает понятие главного значения и делает его столь же строго контекстно обусловленным, как и несобственное для им. падежа значение объекта действия. В действительности же главное значение должно, видимо, характеризоваться максимальной широтой употребления. С семантической точки зрения различий в значении «действующего субъекта» при переходных или непереходных глаголах нет. Различие в употреблении им. падежа при переходных или непереходных глаголах — это различие позиции в контексте: при переходных глаголах им. падеж выступает в позиции противопоставления коррелятивному падежу, при непереходных противопоставление вин. падежу в контексте отсутствует.

[11] В связи с этим следует внести уточнение и в дальнейшую формулировку, заменив слова «в этом значении» словами — «в этой позиции...».

[12] R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, стр. 253.

[13] Подробнее см. Е. В. Чешко, Падежи и предлоги в современном болгарском литературном языке, в кн.: «Вопросы грамматики болгарского литературного языка», М., 1959, стр. 50—60.

ленности действия на предмет нет. Пытаясь исправить эту неточность, Якобсон дает дополнительную характеристику указанных падежей, называя их наделительными падежами, так как каждый из них «наделяет предмет свойством или состоянием, вытекающим из направленного на предмет действия»[14]. Однако и эта — более гибкая — формулировка оказывается неудовлетворительной. Недостатком обоих этих определений является то, что указанный в них признак не мотивирует ограниченности сферы употребления данных падежей, не объясняет, почему вин. и дат. падежи не могут выражать значения активно действующего субъекта. Ведь предмет, подвергаемый действию, тоже может быть активным, как, например, предмет, обозначенный им. падежом при взаимных или возвратных глаголах, где, являясь объектом действия, он одновременно выступает и в роли субъекта.

Итак, падежный признак маркированного падежа должен быть ограничительным признаком, т. е. должен обусловливать не только все возможности употребления падежа, но также и все ограничения его употребления, иными словами должен указывать на такие свойства падежа, которые позволяют ему иметь одни значения и не позволяют выражать другие. Признаки периферийности и объемности (или неполного охвата) соответствуют этому требованию, так как первый исключает возможность значений, предполагающих тесную связь предмета с действием, а второй исключает значения, связанные с полным охватом предмета действием. В отличие от этого, признаки направленности или наделительности сами по себе не обусловливают невозможности выполнения функции активно действующего субъекта. Поэтому признаком, отграничивающим значения вин. и дат. падежей от им. и твор. падежей в первой корреляции, следует признать не признак направленности или наделительности, а признак пассивности, который объясняет не только возможность выполнения объектных функций и функции пассивного субъекта, свойственной вин. и дат. падежам, но также невозможность для этих падежей выступать в функции субъекта активного действия.

Далее, построение семантических корреляций, аналогичных первой объектно-субъектной корреляции вин.-им. падежей, предполагает более дробную дифференциацию субъектно-объектных значений, чем это сделано в статье Р. Якобсона.

В значении субъекта, как мы видели, необходимо различать действующий субъект, который всегда является активным и потому не может быть выражен вин. и дат. падежами, и субъект восприятия (отношения или состояния), который может быть пассивным и потому может быть обозначен вин. или дат. падежами.

Поскольку им. падеж и твор. падеж также могут выступать в значении субъекта восприятия (*Я люблю сестру*, *Сестра любима мной*), создается корреляция, в которой дат. падеж и вин. падеж занимают место маркированных, а им. падеж и твор. падеж — немаркированных членов:

Вин. и дат. падежи	— субъект восприятия, отношения	Им.(твор.)[15] падеж	{ — субъект восприятия и отношения — субъект действия

Учитывая разницу в употреблении падежей, в сфере объекта также следует различать значение объекта действия и объекта восприятия, отношения, так как дат. падеж может выступать во втором значении (например, *Я ему завидую*) и не может выступать в первом, т. е. не может обозначать объект, подвергаемый активному действию субъекта. Создается корреляция:

Дат. падеж	— объект восприятия и отношения	Вин. (им., твор.)падеж	{ — объект восприятия и отношения — объект действия

[14] Р. Якобсон, Морфологические наблюдения..., стр. 23.

[15] Здесь и ниже в скобках указываются падежи, для которых значение, противопоставленное коррелятивному, не является главным.

При глаголах активного действия (*Я даю ему книгу*, *Бабушка рассказывает внукам сказку*, *Я купила сыну пальто*) дат. падеж выступает в значении воспринимающего объекта (имеется в виду лицо, которое воспринимает данное действие или его результат). Он является объектом, а не субъектом, так как глагол не характеризует данного восприятия, а обозначает воспринимаемое как действие другого лица. Создается корреляция:

Дат. падеж — воспринимающий объект

Вин. (им., твор.) падеж { — воспринимающий объект; — объект действия

Следовательно, дат. падеж, занимая место маркированного члена в трех корреляциях с им. и вин. падежами, обладает тремя значениями. Очевидно, что не во всех этих значениях он может выступать в позиции противопоставления обоим падежам в контексте. Пользуясь сформулированным выше критерием, мы должны признать главным значением дат. падежа то, которое он имеет при переходных глаголах, т. е. в позиции противопоставления им. и вин. падежам. Это значение воспринимающего объекта (*Я даю ему книгу*). Главным значением вин. падежа является значение объекта действия. Итак, в отличие от Якобсона, мы предлагаем определять главное значение не только для немаркированных, но также и для маркированных падежей.

На основании рассмотренных корреляций можно сделать выводы об отношении падежей к дифференциальным признакам, разграничивающим их значения, т. е. определить признаки, характеризующие морфологическое значение падежей.

Функционирование дат. падежа определяется двумя падежными признаками: признаком пассивности и признаком периферийности. Оба эти признака являются о г р а н и ч и т е л ь н ы м и, так как в силу первого дат. падеж не может иметь значения действующего субъекта, а в силу второго не может обозначать объект действия, ведь последний обязательно предполагает тесную связь предмета с действием.

Как же относится к дифференциальным признакам им. падеж? Является ли он только неотмеченным падежом в отношении к данным признакам или может рассматриваться как носитель противоположных признаков — активности и тесной связи с действием? Нам кажется, что правильнее считать им. падеж не беспризнаковым, а падежом, обладающим противоположными признаками активности и тесной связи с действием. Рассмотрим возможность такого решения с точки зрения его допустимости и необходимости.

Допустимость подобного решения определяется следующим: широта функционирования так называемых «немаркированных» падежей может быть объяснена тем, что присущие им признаки не являются ограничительными; т. е. эти признаки, обусловливая возможность новых падежных функций, не исключают возможности выполнения функций, свойственных падежу, обладающему противоположным (ограничительным) признаком. Так, например, в отличие от признака пассивности, признак активности не является ограничительным. Определяя возможность выполнения функции активности действующего субъекта, он не исключает функции субъекта восприятия и отношения, свойственной вин. и дат. падежам, так как воспринимать и относиться можно не только пассивно, но и активно. Признак активности не исключает возможности выполнения объектных функций, поскольку эти функции обусловлены деятельностью другого предмета, которая равным образом может быть направлена как на пассивный, так и на активный предмет. Иллюстрацией этого может служить им. падеж при возвратных и взаимных глаголах, выступающий одновременно и в функции объекта действия, и в функции активно действующего субъекта. Только в страдательной конструкции при наличии логического субъекта признак активности им. падежа н е й т р а л и з у е т с я. Однако эта нейтрализация относится лишь к семантическому плану. Здесь мы под-

ходим ко второму тезису своей аргументации, к обоснованию необходимости признать им. падеж носителем признака активности.

Нейтрализация признака активности в страдательной конструкции не приводит к полному отождествлению значения объекта, выраженного им. падежом, со значением объекта, выраженного вин. падежом. Выполняя функцию объекта в страдательной конструкции, им. падеж представляет данное слово как грамматически независимое от глагола, управляющее глаголом. Оно выступает как объект только в семантическом, но не в грамматическом плане. Это заставляет признать, что морфологическое значение имеет свою собственную сферу проявления, которую условно можно назвать планом грамматического представления.

В некоторых областях морфологии, например в разграничении частей речи, план грамматического представления давно нашел свое законное место. Так, например, ни у кого не вызывает сомнений, что в слове *белизна*, обозначающем признак, или в слове *бег*, обозначающем действие, грамматически эти признак и действие представлены как предметы. Так же четко план грамматического представления должен быть отграничен от плана семантики и в области свойств и отношений, выражаемых грамматическими категориями. Морфологическое значение формы и характеризует план грамматического представления, который остается постоянным, в отличие от плана грамматической семантики, т. е. тех синтаксически и лексически обусловленных значений, в которых неограничительный морфологический признак, выражаемый данной категорией, может иногда не проявляться (нейтрализация), но которые никогда не могут выйти за пределы тех границ, которые поставлены ограничительным признаком.

В позиции противопоставления коррелятивным падежам каждый падеж выступает в своем главном значении — значении, наиболее полно соответствующем его морфологической значимости. Для им.падежа—это значение субъекта активного действия, в котором полностью реализуются все морфологические свойства данного падежа, обладающего неограничительными признаками активности, значение тесной связи с действием.

Другие падежи, обладающие признаком активности, получают иную реализацию этого признака в силу наличия каких-либо ограничительных признаков, лишающих эти падежи грамматической независимости от других слов. Так, например, для твор. падежа значение активно действующего субъекта является лишь семантическим, комбинаторным в силу признака периферийности, который ограничивает возможности проявления данного значения только пределами страдательной конструкции, где им. падеж может выступать в значении объекта.

В позиции противопоставления им. и вин. падежам твор. падеж обозначает предмет, способствующий осуществлению действия. Инструментальное значение является, таким образом, главным значением твор. падежа. Род. падеж в роли активно действующего субъекта также может выступать лишь при условии отсутствия им. и вин. падежей (*Народу собралось*! *Никого не было*!), причем специфика значения субъекта, выраженного род. падежом, определяется ограничительным признаком объемности, т. е. обязательной характеристикой степени охвата действием (*много*, *мало*, *сколько*). Это создает крайне ограниченные лексические возможности проявления субъектного значения род. падежа (род. падеж субъекта возможен только от слов с собирательным значением).

Таким образом, асимметрия объема значений противопоставленных падежей объясняется тем, что дифференциальные признаки, которыми обладают падежи, могут быть ограничительными и неограничительными. При этом нейтрализация неограничительных признаков относится только к плану грамматической семантики, в то время как в плане грамматического представления они остаются неизменными. Именно это и заставляет нас признать неправильной характеристику падежей, обладающих нейтрализующимися признаками, как падежей беспризнаковых.

№ 2 1960

ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛИТЕРАТУРНЫХ ЯЗЫКОВ*

В о п р о с ы №№ 18 и 21: «Как протекали процессы смещения и смешения границ между тремя стилями в области литературной лексики и фразеологии со второй половины XVIII в.? В какой мере исторически оправдано предположение, что средний стиль русского литературного языка XVIII в. лег в основу русской национально-языковой нормы литературного выражения?»

Установленная М. В. Ломоносовым строгая регламентация языковых средств по трем стилям, выдвинутым согласно поэтике классицизма, еще не привела к созданию единых общенациональных норм русского литературного языка, что было серьезным препятствием на пути дальнейшего развития национального литературного языка. В связи с ростом культуры, науки, просвещения функции литературного языка во второй половине XVIII в. расширяются. Появление и развитие научной, публицистической, критической и подобной литературы, интенсивное развитие средних жанров художественной литературы (эклоги, элегии, стансы, рондо, песни, мадригалы и пр.) вызывают развитие и усовершенствование языковых средств среднего слога, который, в отличие от высокого и низкого стилей, должен был удовлетворять нужды самого широкого литературного общения в его письменной и устной формах. Постепенно средний стиль становится ведущим в общей системе литературного языка, оттесняя на задний план высокий стиль, признававшийся в поэтике классицизма основным и главным. Низкий же стиль в связи с ростом критического направления получает дальнейшее и блестящее развитие в творчестве А. П. Сумарокова, Д. И. Фонвизина, И. А. Крылова и других сатириков второй половины XVIII и начала XIX в. Такое перераспределение стилей по их значимости в системе литературного языка приводит к их тесному взаимодействию и к смещению установившихся границ между ними.

Процесс взаимодействия трех стилей, чрезвычайно сложный по своему характеру, протекал в направлении отбора и формирования единых норм национального литературного языка. Главная роль в этом процессе принадлежала среднему слогу, выступавшему в качестве связующего звена между высоким и низким стилями. В рамках этого слога отрабатывались те языковые средства, которые более всего соответствовали потребностям широкого литературного общения и которые затем начинали постепенно осознаваться как образцовые и обязательные в литературном языке. На этом основании Г. О. Винокур указывал в свое время на то, что именно на почве среднего слога в дальнейшем развилась и «окрепла традиция общенациональной русской речи, представлявшая собой новую, высшую ступень в процессе скрещения книжного и обиходного начал»[1].

Поскольку средний стиль должен был обслуживать нужды самого широкого литературного общения, в качестве средней нормы этого стиля принимались такие языковые средства, которые пользовались наибольшей распространенностью в разных сферах общенародного языка. Сюда прежде всего относится так называемая стилистическая нейтральная лек-

* Продолжение публикации ответов на анкету, опубликованную в № 4 за 1959 г.

[1] Г. О. В и н о к у р, Русский язык, М., 1945, стр. 135.

сика. Эта лексика употреблялась в разговорной речи, а также в разных стилях книжной речи и объединяла их в общей системе языка. Сюда входили разные по своему происхождению слова, обозначающие людей по их родственным отношениям, по их служебному и общественному положению (типа *теща*; *дворянин*, *холоп*; *судья*, *секретарь*; *поэт* и пр.); названия предметов домашнего быта и обихода (типа *парик*, *зеркало* и под.); термины науки, искусства, церковного быта и церковной идеологии (типа *грамматика*, *цифра*, *музыка*; *церковь*, *крест*, *покаяние*, *рай*, *ад* и др.); названия предметов и явлений административно-хозяйственной жизни и военного дела (типа *поместье*, *суд*, *чин*, *закон*, *барыш*; *армия*, *устав* и пр.) и др. Сюда относилось также большое количество глаголов, имен прилагательных, наречий, местоимений, особенно таких, которые не имели синонимов в составе высокой книжной лексики (*летать*, *украшать*, *беречь*, *скрыть*; *строгий*, *приятный*, *нежный*; *спокойно*, *тихо*, *важно* и пр.).

В качестве второго основного пласта в словарном составе среднего слога выступала традиционно-книжная лексика, однако только такая, которая была широко распространена в различных жанрах и стилях книжной речи и, таким образом, являлась общелитературной. Сюда относятся преимущественно имена существительные, образованные посредством суффиксов *-ние* (*-ение*, *-ание*), *-ие*, *-тие*, *-ость* (*-есть*), *-ство* (*-ество*), *-ствие* (*-ествие*), *-тель*. Эти имена существительные никогда не были принадлежностью только высокого стиля: еще в XVII в. и ранее они употреблялись в разных жанрах письменности, в том числе в деловых бумагах, бытовых повестях и пр. В XVIII в. указанные суффиксы развивают большую продуктивность в рамках книжной речи. Словопроизводство при помощи этих суффиксов выступает как один из основных источников обогащения словарного состава среднего слога. В состав общелитературной книжной лексики входили и такие части речи, как глаголы (*уповать*, *страдать*, *провождать* и др.), местоимения и наречия (*сей*, *коликий*, *толикий*, *паче*, *коль* и др.) и другие разряды слов.

В произведениях среднего слога начинает использоваться и тот вид традиционно-книжной лексики, который к началу рассматриваемого периода всей поэтической практикой и теорией трех «штилей» М. В. Ломоносова был закреплен за высоким слогом. Это те высокие «славенские» слова, которые, по определению М. В. Ломоносова, не являлись «весьма обветшалыми» и были «вразумительны» грамотным людям. Одни из них использовались преимущественно в поэтических произведениях и, быстро устарев, вышли из употребления; другие получили широкое распространение в поэтических и в прозаических жанрах, в том числе в научных, философских, критических сочинениях, и закрепились в литературном языке.

К первой категории славянизмов следует отнести слова с неполногласными сочетаниями: *глас*, *брег*, *злато*, *власы*, *хладный*, *младой*, *драгой* и некоторые другие. Круг этих славянизмов сравнительно узок; они повторяются почти во всех поэтических произведениях разных стилей и используются здесь иногда наряду с их русскими полногласными вариантами для сохранения стихотворного ритма. Ср.: «Шел некто *городом*, но *града* не был житель, Из дальних был он стран» (Сумароков, Хвастун).

В поэтические произведения среднего, а затем и низкого стилей второй половины XVIII в. проникали также славянизмы типа *дщерь*, *длань*, *росс*, *нощь*, *стезя*, *препона*, *чадо* и др. Употребление этих слов в среднем стиле во многих случаях было вызвано также необходимостью сохранения ритма или рифмы. Все эти славянизмы входили в состав традиционно-книжной лексики и в то время не воспринимались как устаревшие. Поскольку все эти слова имели соответствующие синонимы в русском языке, многие из них довольно скоро вышли из употребления, даже в поэтических произведениях. Лишь некоторые (*перси*, *стезя*, *лобзание*, *уста*, *очи*,

ланиты и некоторые другие) сохранились в поэзии XIX в. как особые «поэтические» слова, придающие слогу стилистическую приподнятость.

В произведения среднего слога, уже не только поэтические, но и прозаические, поступают из высокого стиля и такие славянизмы, которые прочно закрепились в словарном составе среднего слога, а затем и в русском литературном языке вообще. При переходе из высокого стиля в общее употребление они часто изменяли свои лексические значения. Так, например, слово *область* в высоком стиле встречается в значении «власть» (по глаголу *обладать*). В произведениях же среднего слога — в значении «пространство, подвластное кому-либо». Сходным изменениям подверглись слова *бремя*, *пленить*, *влачить*, *питать*, *хитрый* («искусный») и др.

Лексика среднего слога пополнялась и за счет лексики низкого стиля, являвшейся по своей основе разговорно-просторечной. Однако следует указать, что эти пополнения были в то время незначительны; проникали лишь отдельные слова, такие как *крушиться*, *кручиниться*, *кручина*, *тужить* и др., не имеющие грубой экспрессивной окраски. Те же разговорно-просторечные слова, которые имели экспрессивную окраску грубоватости, вульгарности, не поступали в средний слог в качестве его общеобязательной нормы, ибо наличие этой окраски вызывало стилистическую сниженность текста. Использование таких слов было возможно только с определенными стилистическими целями. Однако следует отметить, что уже тогда в среде передовых людей раздавались голоса в пользу более широкого вовлечения в сферу книжной речи элементов живого просторечия и обогащения ее за счет этих элементов. Еще А. П. Сумароков выступал в защиту более смелого использования в литературно правильной речи, которую он отождествлял со средним слогом вообще, разговорно-просторечных слов, не имеющих грубой экспрессивной окраски, а также народных пословиц и поговорок[2]. Эти попытки не увенчались большим успехом, поскольку средний слог в то время формировался как слог книжной речи и разрыв между книжной и разговорной речью был еще велик. Только позднее, когда оформляется устная разновидность литературного языка, а живая разговорная речь подвергается процессу литературной нормализации, открываются возможности более широкого проникновения тех или иных средств разговорного просторечия в книжную речь и в литературный язык вообще.

Языковые средства, возникая, развиваясь и закрепляясь в рамках среднего слога книжной речи, постепенно распространялись и в живом разговорном языке. Воздействие книжной речи среднего слога на разговорную речь становится глубоким и интенсивным в последние десятилетия XVIII в., когда начинает формироваться устная разновидность литературного национального языка. В это время отдельные элементы общелитературной книжной лексики довольно свободно проникают в разговорную речь, утрачивают свой книжный характер и становятся стилистически нейтральными. При этом их лексические значения во многих случаях качественно изменяются. Из книжной речи в разговорную речь поступают целые категории имен существительных с указанными выше суффиксами *-ние*, *-тие*, *-ость*, *-ство* и др., но лексические значения большинства из них изменяются при этом в сторону конкретизации, опредмечивания. Так, слово *награждение* в значении отвлеченного действия употреблялось только в книжной речи, в значении же косвенного объекта данного действия («то, чем производится награждение») оно встречается и в книжной, и в разговорной речи, становясь, таким образом, стилистически нейтральным. Подобному процессу стилистической нейтрализации подверглись и другие имена существительные: *зрение*, *стихотворение*, *прошение*, *население*, *сообщение*, *обхождение*, *привидение*, *состояние*, *сочи-*

[2] См. А. Т. Кунгурова, К вопросу о роли А. П. Сумарокова в истории русского литературного языка, «Уч. зап. Удмурт. гос. пед. ин-та», вып. 14, Ижевск, 1958.

нение, *отвращение*, *великодушие*, *предприятие*, *должность*, *человечество*, *ругательство*, *общество*, *качество*, *благодетель* и мн. др.

В процессе смещения установившихся ранее границ между высоким, средним и низким стилями, между книжной и разговорной речью средний слог выступал как посредник, как определенный регулятор устанавливающихся и формирующихся единых норм национального литературного языка, хотя следует оговориться, что взаимодействие высокого и низкого стилей могло происходить и без такого посредничества.

Таким образом, смещение границ между тремя стилями, наблюдавшееся во второй половине XVIII в., отразило объективные законы развития русского литературного языка. Его наиболее жизнеспособные элементы синтезировались в единой системе литературного языка в качестве единых общеупотребительных и общеобязательных норм. Полного смещения границ высокого, среднего и низкого стилей в то время еще не произошло (они в какой-то мере сохраняются и до сих пор), однако уже тогда создавалась база, реальные предпосылки для новой стилистической системы, характер которой в основном был определен уже в творчестве великого русского поэта новой эпохи А. С. Пушкина.

А. Т. Кунгурова
(Ижевск)

*

Вопрос № 21.

Распространенное положение о том, что в основу русской национально-языковой нормы литературного выражения лег «средний» стиль русского литературного языка XVIII в., основано, как кажется, главным образом на чисто логической отвлеченной оценке процессов развития русского литературного языка во второй половине XVIII—начале XIX в. Известно, что «высокий» и «низкий» стили представляли собою крайние, полярные разновидности литературного языка, отражающие разобщение его лексико-фразеологических, грамматических и стилистических средств; поскольку национально-языковая норма литературного выражения вырабатывается только при необходимом условии объединения этих средств на основе их переосмысления, перегруппировки и отбора, постольку делается логический вывод, что основные процессы оформления и становления общенациональных норм литературного языка в начале XIX в. в предшествующую эпоху протекали в рамках «среднего» стиля, который тем самым и признается источником дальнейшего развития русского литературного языка. Предполагается, что взаимодействие, взаимопроникновение и качественное преобразование элементов «высокого» и «низкого» стилей могли протекать только (или главным образом) в пределах «среднего» стиля, который и должен был лечь в основу единых норм литературного выражения. При этом рассуждения о роли «среднего» стиля имеют обычно слишком общую форму и не связываются с конкретным анализом стиля тех или иных авторов (за исключением, пожалуй, Сумарокова).

Между тем если взять, например, стиль «Жития» протопопа Аввакума или стиль од Державина, являющиеся — каждый для своей эпохи — ярчайшими и типичными образцами взаимовлияния и взаимопроникновения книжно-славянской и народно-разговорной стихий русского литературного языка, то вряд ли можно их квалифицировать как «средний» стиль. Ведь в «среднем» стиле настоятельно предписывалось «наблюдать всевозможную равность, которая особливо тем теряется, когда речение славенское положено будет подле российского простонародного». «Средний» стиль должен был отличаться «нейтральностью», отсутствием ярко выраженных особенностей «высокого» и «низкого» стилей. Между тем для стиля наиболее значительных произведений русской художественной и публицистической, а отчасти и научной литературы XVII—XVIII вв. характерно сочетание и взаимодействие элементов «высокого» и «низкого» стилей. Часть этих произведений — трагедии, оды, «прозаичные речи о важ-

ных материях» — написана, несомненно, «высоким» стилем, в котором народно-разговорные и просторечные элементы присутствуют стихийно и в относительно небольшом количестве. Но подавляющее большинство литературных произведений от середины XVII до конца XVIII в.— «Житие» Аввакума, повести, сатиры Кантемира, притчи и эпиграммы, проза сатирических журналов, комедии, «Пригожая повариха» Чулкова, поэзия (в том числе и оды) Державина, проза Крылова и Фонвизина — характеризуется стилем, который следует квалифицировать как «низкий» или — лучше и правильнее — «простой» стиль.

К «среднему» же стилю можно отнести лишь часть лирики XVIII в. (в частности, лирики Сумарокова) и часть научной прозы (в частности, научных трудов Ломоносова). Возможно, не будет ошибочным предположение, что «средний» стиль в истории русского литературного языка существовал больше как теоретическое понятие, чем как объективная реальность.

Когда мы говорим о роли того или иного из трех стилей XVIII в. в дальнейшем развитии русского литературного языка, то говорим об этом в известной степени условно, так как теория трех стилей Ломоносова не столько определила перспективы, сколько подвела итоги предшествовавшего развития русского литературного языка. В творчестве Новикова, Чулкова, Фонвизина, Державина, Радищева, Крылова и других писателей второй половины XVIII в. происходило разрушение системы трех стилей. Однако стиль этих писателей, несомненно, связан с предшествующей традицией, вырастает из нее, как и вся система русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. в целом. В этом смысле мы и говорим о том, какова была роль того или иного из трех стилей в выработке литературной национально-языковой нормы. Роль «среднего» стиля в этом процессе была крайне незначительной, поскольку он ни теоретически, ни практически не являлся ареной борьбы и взаимодействия двух главнейших исторических стихий русского литературного языка — книжно-славянской и народно-литературной.

В основе процесса разрушения системы трех стилей и становления общенациональных норм литературного выражения лежало усовершенствование, унификация и стабилизация «простого» стиля русского литературного языка. В результате вовлечения в систему «простого» стиля книжно-славянских элементов подверглись преобразованию не только эти элементы, но и сам «простой» стиль, который уже со второй половины XVIII в. перестал противостоять «высокому» стилю и лег в основу такой системы литературного языка, которая, хотя не имела еще твердых норм, но уже не расчленялась на три (а может быть, все же точнее говорить: на два) отдельных потока. Именно из этой системы литературного языка, восходящей к «простому» стилю (а генетически — к народно-литературному типу), и вырабатывается в творчестве Пушкина русская национально-языковая норма литературного выражения.

Определенные нормы «среднего» стиля во второй половине XVIII в. нашли свое воплощение, как кажется, только в «новом слоге» Карамзина. И не случайно, очевидно, стиль раннего Карамзина был воспринят современниками как «новый слог». Это свидетельствует о практической неразработанности и непопулярности «среднего» стиля в предшествующую эпоху. Самый же «новый слог», стилистически бедный, лишенный как демократической простоты, так и книжной торжественности, оказался в стороне от главной линии развития русского литературного языка.

А. И. Горшков
(Чита)

Скрупулезное и всестороннее сопоставление лексики среднего стиля в произведениях Ломоносова, Сумарокова, Хемницера, отчасти Батюшкова и Державина с лексикой современного русского литературного язы-

ка приводит к выводу, что эта лексика без особо заметных изменений сохранилась до нашего времени, чего нельзя сказать о лексике высокого и низкого стиля. Лексика из произведений низкого стиля по преимуществу считалась в первом Рос. Акад. словаре 1789—1794 гг. просторечной. Та ее часть, которая вошла в литературный фонд современного языка, в современных толковых словарях этой ограничительной пометы не имеет.

И. К. Матвеенко
(Барнаул)

*

В о п р о с № 8: «В чем заключается специфическое своеобразие соотношения и взаимодействия народнорусских и церковнославянских элементов в русском литературном языке XVI—XVII вв. сравнительно с белорусским и украинским литературными языками того же времени?»

В украинском литературном языке XVI—XVII вв., особенно после Люблинской унии 1569 г., существенное место занимают полонизмы — элемент, не игравший столь заметной роли в русском литературном языке. В некоторых произведениях этого времени полонизмы составляют 30—40 % языкового материала. Полонизмы признавались естественной частью украинского литературного языка. Например, проповедник второй пол. XVII в. А. Радивиловский, готовя к печати свои сочинения, вычеркивал некоторые украинские слова и вписывал вместо них польские.

В XVI—XVII вв. на Украине получил довольно широкое распространение так называемый «простой язык» — особая разновидность литературного языка, относительно свободная от церковнославянизмов, но содержащая значительные количества полонизмов. Показательны в этом отношении, например, «Апокрисис» Х. Филалета, произведения С. Зизания, проповеди Г. Галятовского и упомянутого А. Радивиловского. Резко изменился в это время и характер языка украинских деловых документов. Чисто восточнославянские, украинские по своему языку в XIV—XV вв., в XVI—XVII вв. они все более интенсивно насыщаются польскими словами и оборотами. Процессы эти были исторически обусловлены как естественными украинско- (равно и белорусско-) польскими контактами, так и, особенно, насильственной полонизацией, которую проводила польская шляхта на захваченных ею землях.

В течение XVI—XVII вв. в украинском литературном языке наблюдается широкое вторжение полонизмов, постепенно ослабляющее роль церковнославянской стихии. Можно думать, что распространение полонизмов было на Украине одним из основных факторов, ослабивших значение церковнославянизмов для литературного языка. Здесь следует различать фактическое состояние литературного языка и оценку этого состояния современниками. Выдающиеся полемисты И. Вишенский и З. Копыстенский создавали восторженные гимны церковнославянскому языку, однако сами в своих сочинениях нередко вместо церковнославянизмов употребляли полонизмы и латинизмы, пришедшие из Польши. Четкое вначале стилистическое различение церковнославянизмов и полонизмов во многих произведениях утрачивается. В литературном языке постепенно отпадает необходимость функционально дифференцировать иноязычные элементы соответственно их происхождению. В результате полонизмы стали выполнять в украинском литературном языке XVI—XVII вв. многие функции церковнославянизмов, уделом которых остались, в конце концов, православная церковь и церковная торжественность. Исключения, подобные «Синопсису» И. Гизеля (1674 г.), немногочисленны. В белорусском литературном языке этого времени происходили сходные процессы. В русском литературном языке XVI—XVII вв. указанный фактор отсутствовал, в связи с чем церковнославянизмы сохраняли там прежние прочные позиции.

Следует добавить, что полонизмы в украинском литературном языке не пустили прочных корней. Живому народному языку они всегда были чужды, о чем свидетельствуют песня о Штефане-воеводе, записанная до 1571 г. чехом Я. Благославом, и интермедии, написанные с умышленным копированием живой украинской речи поляком Я. Гаватовичем (1619 г.). В XVIII в., когда польское влияние ослабло, полонизмы выпали и из литературного языка. Однако перед этим они сыграли свою роль в устранении из литературного языка церковнославянизмов. Национальный украинский литературный язык, существующий со времени И. П. Котляревского, не включил в себя, таким образом, в значительных дозах ни полонизмов, ни церковнославянизмов. Последним он отличается от русского литературного языка.

Ю. А. Карпенко
(Черновцы)

По мере развития русской художественной и публицистической литературы все более назревала необходимость в обогащении литературного лексикона новыми выразительными словами экспрессивного характера, которые были бы не слишком обыденны, но в то же время понятны читателю.Такую роль стали с течением времени исполнять в русском литературном языке «славянизмы», достаточно известные русскому человеку за многие века их литературного использования. На Украине и в Белоруссии старинной литературной традиции использования славянизмов не было, так как художественная и публицистическая литература здесь появилась сравнительно поздно; знакомства же со славянской лексикой, получаемого в церкви, было недостаточно для перенесения этих слов в литературный язык. Украина и Белоруссия, находившиеся в продолжение трех веков под властью Польши, достаточно широко усвоили польскую лексику; в функции свежих экспрессивных слов здесь стали употреблять полонизмы, приобретшие роль, аналогичную роли славянизмов в русском литературном языке. В большинстве случаев воспринятые славянизмы и полонизмы изменялись семантически или морфологически.

И. К. Матвеенко

*

Вопрос № 5: «Чем объяснить усиление влияния и расширение функций деловой речи в стилистике древнерусской литературы XVI—XVII вв.?»

Разрыв между языком художественной литературы, сложившимся к концу XV в. на Руси, и живой народной речью выдвигал в XVI в. и в первой половине XVII в. потребность сближения этих разновидностей русского языка. Преодоление разрывов такого рода вообще характерно для истории письменных литературных языков. В условиях XVI и XVII вв. преодоление возникшего разрыва могло идти лишь по пути сближения языка художественных произведений с народной речью (а не путем сочетания первого процесса со вторым, как это могло иметь место позднее).

Необходимость приближения языка художественных произведений к народной речи диктовалась, с одной стороны, общим требованием доступности и понятности литературы, а с другой, возникновением и развитием новых жанров художественной литературы — бытовой и сатирической повести, которые не могли развиваться без сближения языка литературы с языком повседневного общения. Немалую роль сыграло здесь и развитие научно-учебной литературы светского или хотя бы частично светского характера. И различные «хожения» в далекие страны, и «Домострой», и «Книга о ратном строе» (написанные, правда, отнюдь не одновременно) могли возникнуть лишь при условии близости их языка к народной речи.

Деловая речь, которой нельзя отказать в известной нормированности и в рассматриваемый период, была, очевидно, и в силу своей функциональ-

ной специфики, и в результате сложившихся на Руси условий ее развития близка к народно-разговорной речи. Именно благодаря этому деловая речь и могла служить до некоторой степени образцом для языка произведений светской описательной литературы. Расширение сферы использования деловой речи вело к разрушению прежних стилистических ее границ. Появлялись новые функции деловой речи. Вычленялась новая стилистическая разновидность — канцелярская речь. Происходила пока еще не слишком интенсивная, скорее стихийная, нормализация этой речи.

Воздействие деловой речи испытывали и собственно художественные произведения. Ведь языковыми источниками, на которые опирались создатели литературно-художественных произведений в стремлении сблизить их по языку с народной речью, были произведения устного творчества и произведения деловой письменности (особенно с расширением ее функций). Деловая речь, гораздо более близкая к народно-разговорной, чем книжная речь религиозных и философских сочинений, оказывает значительное влияние на язык художественной литературы, и более всего — на язык оформляющейся бытовой и сатирической повести.

Следует подчеркнуть, что канцелярская речь не может отождествляться ни с речью деловой, ни тем более с языком художественной литературы или живым разговорным языком. Это прекрасно чувствовали уже авторы XVI и XVII в., чем и объясняется появление первых пародий на канцелярскую речь, противопоставляемую таким образом народно-разговорной и литературно-художественной. (Пародии — это, кстати, тоже одна из новых возможностей использования деловой речи в художественных произведениях.) Появление речевых пародий свидетельствует о таком уровне языковой культуры, который характеризуется использованием стилевых разновидностей языка в достаточно определенных функциях. Было бы поэтому неверно говорить о простом смешении в художественной литературе литературно-художественного языка с деловой речью. Дело, очевидно, в более сложном процессе перестройки взаимоотношений между типами и разновидностями письменного и разговорного русского языка в XVI—XVII вв., связанного с расширением функций письменной речи. Эта перестройка явилась важной подготовительной ступенью для тех стилистических преобразований русского языка, которые произошли в конце XVII и первой половине XVIII в.

А. Е. Супрун
(Фрунзе)

*

Вопрос № 12: «Как отразилось на процессах формирования системы национального русского литературного языка развитие стилей стихотворной речи в XVIII в.?»

Лингвистами-историками явно недооценивается роль Кантемира в развитии русского литературного языка. Скептическое отношение к его поэзии обычно во многом определяет и отношение к его языку. А между тем изучение языка Кантемира может пролить некоторый свет на ряд недостаточно ясных вопросов истории русского литературного языка. Если не принимать в расчет сравнительно небольшое количество искусственных словообразований в произведениях Кантемира, вызванных или потребностями рифмы, или отсутствием в культурном обиходе того времени нужного слова, то окажется, что основная лексика Кантемира относится именно к тому среднему стилю, о котором позже говорил Ломоносов. По нашим подсчетам, 70% лексики Кантемира является отобранной и отшлифованной национальной лексикой русского литературного языка и совпадает по значению и словоупотреблению с лексикой современного литературного языка. На этом основании можно было бы полагать, что язык Кантемира сыграл важную роль в становлении и формировании русского литературного языка позднейшего времени.

И. К. Матвеенко

№ 2 1960

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. М. ПАВЛОВ

О РАЗРЯДАХ ИМЕН ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ

В большинстве описаний грамматического строя русского языка проводится деление прилагательных на разряды качественных, относительных и притяжательных. Однако по ряду вопросов, связанных с этим делением, еще не достигнуто единства взглядов. В самом основании деления прилагательных на разряды можно различать два аспекта: семантический и грамматический. В исследованиях русского языка грамматические различия между прилагательными обычно соотносятся с их семантической группировкой. В некоторых работах высказывается положение о соответствии грамматических различий прилагательных семантической группировке последних[1]. Но такая установка вызывает необходимость в большом числе существенных оговорок и ограничений, так как грамматические различия прилагательных, относимых к разным семантическим разрядам (например, у качественных и относительных — способность к образованию степеней сравнения, к определению наречиями, употреблению в полной и неполной формах и некоторые другие), далеко не последовательно проведены у всех прилагательных этих разрядов. Поэтому справедливым представляется мнение В. В. Виноградова о том, что «разница между качественными и относительными прилагательными лишь в очень небольшой мере определяется морфологическими признаками», «существо этой разницы — лексико-семантическое и экспрессивно-стилистическое»[2].

В ряде исследований имеют место расхождения по вопросу о составе, объеме и соотношении разрядов прилагательных. Разногласия можно объяснить предпочтением, которое отдается тому или другому основанию деления, степенью последовательности в проведении этого основания, различиями в понимании лексико-семантических особенностей прилагательных разных разрядов. В работах Н. И. Греча, Ф. И. Буслаева, Е. Ф. Будде, В. Н. Сидорова, В. А. Трофимова притяжательные прилагательные объединяются с относительными в рамках одного разряда (иногда, как, например, у Н. И. Греча, различаются при этом «личные» и «родовые» притяжательные). Различен и диапазон значений «притяжательности»: от «отношения предмета к владельцу его» (Е. Ф. Будде) до «принадлежности в ее многоразличных оттенках» (В. А. Трофимов). Так, Г. П. Павский, Л. А. Булаховский, В. В. Виноградов выделяют в особый разряд притяжательных только прилагательные, выражающие индивидуальную принадлежность, как правило, лицу. В противоположность этому взгляду, В. А. Трофимов относит к притяжательным и такие прилагательные, как *племенной*, *домашний*, *материалистический*, *диалектный* и т. п.

[1] «Каждая из этих трех групп прилагательных,— пишет Н. Ю. Шведова, —имеет свои характерные грамматические признаки, связанные с общим значением прилагательного» («Современный русский язык. Морфология», М., 1952, стр. 132).

[2] «Современный русский язык. Морфология», стр. 177. Акцент на лексико-семантическом основании классификации (экспрессивно-стилистический аспект, очевидно, является подчиненным) не исключает взаимосвязи между семантическими и грамматическими различиями прилагательных.

Основные трудности классификации прилагательных связаны с определением значения относительного прилагательного. При этом спорным является не только противопоставление «относительное — притяжательное», но и противопоставление «качественное — относительное». Обобщить существующие очень разнообразные и подчас недостаточно ясные высказывания о различиях между качественными и относительными прилагательными довольно трудно. Однако все же здесь можно наметить две основные группы. Поиски грани между качественными и относительными прилагательными идут обычно в двух направлениях — выясняется, ч т о и к а к выражают прилагательные этих разрядов. В одной части исследований (хотя следует оговориться, что иногда оба направления представлены у одного и того же автора) при разграничении качественных и относительных прилагательных указывается преимущественно на неоднородность того, ч т о они выражают, на противопоставление «относительного» признака «качественному». Подобным образом подходили к этому вопросу, например, А. Х. Востоков, Е. Ф. Будде, Н. Н. Дурново, А. М. Земский и другие авторы учебника, Н. С. Поспелов. Таков же в основном и взгляд В. В. Виноградова на характер различий между качественными и относительными прилагательными[3]. Согласно этой точке зрения, оба разряда прилагательных объединяет преимущественно общность грамматического значения имени прилагательного как части речи и функционального отношения этой части речи к существительному.

Наиболее четкую формулировку второй точки зрения находим у А. А. Шахматова, считающего, что относительные прилагательные «являются названиями свойств, характеризующих отношение одного предмета к другому»[4]. Подобный же взгляд представлен в работах В. Н. Сидорова, С. И. Абакумова, А. В. Исаченко. Здесь имеется стремление обнаружить за непосредственно представленным в морфолого-семантической структуре относительного прилагательного предметным отношением еще и другое значение, более глубокое, опосредованное первым. В этом «втором ярусе» значения относительного прилагательного усматривается отражение известных свойств определяемого, которые характерны для предметного отношения, составляющего «первый ярус» значения относительного прилагательного. С этой точки зрения, различие между относительным и качественным прилагательным заключается преимущественно в том, как прилагательное выражает свойства определяемого — непосредственно или путем указания на отношение к другому предмету. Таким образом, единство обоих разрядов утверждается на более широкой основе, на основе однородности не только грамматического, но в большой мере и лексико-семантического аспекта их значения. Это представление лежит, очевидно, и в основе утверждения качественности прилагательных обоих разрядов, например, в работах А. М. Пешковского и Л. В. Щербы.

Обе изложенные концепции, отражающие определенные действительные черты объекта исследования, не свободны от недостатков. Так, если принять, что относительное прилагательное выражает не качество, а отношение, то отсюда следует утверждение смысловой равнозначности, ска-

[3] Ср.: «Семантической основой имени прилагательного является понятие качества» (В. В. В и н о г р а д о в, Русский язык, М.— Л., 1947, стр. 182), но: «относительные прилагательные... обозначают не качество, а предметно-конкретное отношение» («Современный русский язык. Морфология», стр. 176). Правда, В. В. Виноградов подчеркивает нестойкость относительных значений: «во всех относительных прилагательных потенциально заложен оттенок качественности»; «по всем направлениям видны признаки экспансии качественных значений в смежные области предметно-относительных и действенно-причастных образований» («Русский язык», стр. 205, 208). Но нестойкость относительных значений представляется сомнительной, если учесть другие замечания В. В. Виноградова, например о том, что граница между качественным и относительным значением, «по большей части, проходит внутри одного и того же слова» (там же, стр. 204); следовательно, развивающееся качественное значение, как правило, не вытесняет относительное, а совмещается с ним.

[4] А. А. Ш а х м а т о в, Синтаксис русского языка, 2-е изд., Л., 1941, стр. 494.

жем, словосочетаний *книжная полка* и *полка для книг*, *башенный кран* и *кран на башне*, *тюремная стена* и *стена тюрьмы* и т. п. В. В. Виноградов говорит в одной из своих работ, что «относительные прилагательные... являются синонимическими заместителями предметных или обстоятельственных определений, выраженных формами косвенных падежей имен существительных или наречием времени и места»[5]. Однако равнозначные синонимы, в том числе грамматические, являются в языке редким исключением. О том, что смысловые возможности относительного прилагательного во всяком случае не покрываются смысловыми возможностями косвенных падежей (с любыми предлогами), свидетельствуют, например, словосочетания *ветряная мельница*, *промышленное производство*, *угольная шахта* и т. п.

Вторая, в целом более содержательная, концепция сводит различие между качественными и относительными прилагательными преимущественно к разным способам выражения принципиально однородной семантической категории качества. Тем самым создается опасность нивелирования смысловых различий между данными разрядами.

Ценной представляется мысль о том, что относительное прилагательное тоже выражает какое-то качество предмета. В общем соглашаясь с этим, мы попытаемся, однако, показать, что качественные и относительные прилагательные различаются не только по способу качественной характеристики предмета, но и по содержанию выражаемых ими признаков. Обычно при выяснении семантического различия между этими разрядами прилагательных в первую очередь обращают внимание на противоположность способов выражения признака — выражается ли он непосредственно или опосредованным путем, через отношение к предмету[6]. Однако многие отыменные прилагательные, сохраняющие живую, отчетливо осознаваемую говорящими смысловую связь с предметным значением производящей основы, воспринимаются (и характеризуются в грамматиках) как качественные; ср., например, *дырявый*, *волосатый*, *узорчатый*, *червивый* и мн. др. К качественным могут относиться, следовательно, и производные прилагательные с указанием на отношение к предмету. Существенным для определения такого прилагательного как качественного является неизменность лексического значения предметного отношения, выражаемого основой прилагательного, при разных определяемых (ср.: *червивое яблоко*, *червивый гриб*, *червивое мясо* и т. п.). Семантика таких производных прилагательных может быть определена независимо от того, при каких конкретных определяемых они употреблены, примерно как «имеющий то, на что указывает производящая основа».

К. С. Аксаков очень удачно сформулировал определение грамматического понятия «качество»: «качество есть отвлеченная и понятая та общая сторона предмета, которая в нем находит осуществление, но которая не принадлежит ему непременно и, как общее, может принадлежать всякому явлению»[7]. Это определение помогает нащупать грань, отделяющую качественные прилагательные от относительных. Относительные прилагательные *глазной*, *ветровой*, *автомобильный*, *световой*, *производственный* и т. п. при выделении из словосочетаний с существительными выражают общее и совершенно абстрактное «отношение к чему-либо». Это объясняется тем, что в различных словосочетаниях они выражают различные и весьма дифференцированные отношения. Например, прилагательное *автомобильный* может определять большое число существительных: *сигнал*, *завод*, *парк*, *груз*, *след*, *шина*, *стоянка*, *дорога*, *смазка*, *авария*, *инспекция*,

[5] «Современный русский язык. Морфология», стр. 176.

[6] См., например, «Грамматика русского языка», т. I, М., Изд-во АН СССР, 1952, стр. 281.

[7] К. С. Аксаков, Конспект последних двух отделов первой части русской грамматики, «Сочинения филологические», ч. II (Полн. собр., соч., т. III), М., 1880, стр. 112.

колонна, *сообщение*, *гонки* и мн. др. При этом общим у этих понятий является особо не определяемое отношение вообще к понятию «автомобиль», чем и ограничивается лексическое значение прилагательного *автомобильный* как отдельного слова. Но, определяя его значение как «относящийся к автомобилю», мы формулируем лишь общий смысловой стержень, основу действительного выражения в сочетаниях с разными определяемыми различных «качеств» этих последних, которые принадлежат уже только каждому из них. В относительном прилагательном, следовательно, заключено значение не «относящийся в о о б щ е к данному предмету», а «относящийся т е м и л и и н ы м о б р а з о м к данному предмету»: «завод, на котором изготовляются автомобили», «гонки, в которых спортсмены соревнуются в скорости езды на автомобилях», «инспекция, осуществляющая надзор за правильностью эксплуатации автомобилей» и т. п.

Возможность выделения в семантике отдельного относительного прилагательного (например, для характеристики его значения в словаре) каким-либо образом, хотя бы и в самом общем виде, дифференцированного отношения зависит от того, насколько регулярно применяется прилагательное со значением данного отношения к р а з н ы м определяемым. Семантика производящей основы прилагательного (в которой отражены действительные свойства предмета, в том числе и возможные отношения его к другим предметам) иногда сама предполагает повторение одинакового предметного отношения в большом числе (а иногда в большинстве) атрибутивных словосочетаний с этим прилагательным. Чаще всего различные предметы относятся, например, к стене таким образом, что они помещаются на стене или в стене: *стенные часы*, *стенной карниз*, *стенная живопись*; *стенная ниша*, *стенной проем*, *стенной шкаф* и т. п. Аналогичны в этом отношении многие прилагательные, например, от названий пространственных и временных понятий: *местный*, *боковой*, *июльский*, *годовой*; от названий материалов: *каменный*, *медный*, *стеклянный*, а также прилагательные, образованные от предложных сочетаний: *заречный*, *подземный*, *послевоенный* и т. п. По своей семантике такие прилагательные сближаются с качественными, хотя отличаются от них отсутствием меры выражаемых ими признаков, а также тем, что в случае постоянства и типичности определенного отношения для данного определяемого на это отношение так же, как в остальных относительных прилагательных, наслаивается выражение признаков, характерных для типа предметов (*стенные часы*).

Значение конкретизированного определенным образом отношения не принадлежит семантике относительного прилагательного как отдельного слова, но входит в семантику словосочетания. Тем самым словосочетание с относительным прилагательным оказывается в определенном смысле неразложимым, а именно в том смысле, что выражение мысли в нем не ограничивается передаваемым морфолого-семантической структурой прилагательного «отношением вообще» к соответствующему предметному понятию [8]. Поэтому же в атрибутивном словосочетании с качественным прилагательным и словосочетании с относительным прилагательным по-разному представлено соотношение сигнификативной и номинативной функций. Если *этот большой стол* воспринимается как единичное преимущественно по отношению к *стол вообще*, то *эти ручные часы* — как единичное преимущественно к *ручные часы*, а не к *часы вообще*. Очевидно, словосочетание с относительным прилагательным является в современном русском языке одним из средств выражения понятий или представлений о

[8] Такое словосочетание, естественно, разложимо в том смысле, что значение определяемого прямо соотносится со значением, которым оно обладает как единица словарного состава: «автомобильная шина»— один из видов «шин» и т. п. Нарушение прямой семантической соотнесенности существительного в составе такого словосочетания с этим же словом как единицей словаря приводит к полной неразложимости словосочетания: *детский сад* и т. п.

двух классах предметов или явлений, соотносящихся между собой как вид с родом. Характерное для данного определяемого предметное отношение, выраженное известным относительным прилагательным, представлено в словосочетании как типическое постоянное свойство определяемого. При этом семантика словосочетания как целого обогащается рядом дополнительных признаков, наслаивающихся на основной смысловой стержень — выраженное в относительном прилагательном предметное отношение. Действительно, смысловое содержание словосочетания, например *ручные часы*, не ограничивается лишь указанием на типичное для таких часов местоположение, а включает и другие признаки, перечислять которые здесь нет надобности. И это именно потому, что данное словосочетание называет определенную типическую разновидность класса предметов, для которой, естественно, характерен не один признак, а целый ряд их.

Грамматический способ выражения признака относительными прилагательными стоит в непосредственной связи с особенностями их семантики. В отличие от суффиксов *-ав-*, *-ат-*, *-чат-*, *-ив-* и других, которые, как правило, вносят в выражаемое производным прилагательным отношение ту или иную дифференциацию, суффиксы *-ов-*(*-ев*)- и *-н-*, при помощи которых образуется основная масса собственно относительных прилагательных, выражают сами по себе лишь недифференцированное предметное отношение. Именно благодаря этому относительное прилагательное может использоваться для выражения разнообразных действительных предметных отношений и на их основе как бы «комплексных» характеристик выделяемых разновидностей более общих классов предметов. Значение относительного прилагательного глубоко качественно, но оно одновременно существенно отличается от значения прилагательных, которые принадлежат к разряду качественных. Если в значении качественного прилагательного отражается одно общее свойство предметов разных классов, то в качественном аспекте семантики относительного прилагательного отражено представление о качестве данного класса предметов, тех отличительных чертах, по которым он выделяется из более общего класса предметов как разновидность последнего.

Необходимо коснуться еще одной стороны значения относительного прилагательного. В относительном прилагательном за вычетом категориального значения этой части речи остается предметное значение его основы. Одна и та же основа входит в состав относительного прилагательного и соответствующего существительного, получая в этих случаях различное грамматическое оформление, например *стен-* в *стенной* и в *стена*. На грамматических значениях падежа, числа и рода имени существительного базируется ряд различных потенциальных вариантов номинативного отношения слова к реальному предмету. Что касается относительного прилагательного, то весьма существенной чертой его семантики является максимальное обобщение «вещественного» значения его основы: *стенной* относит мысль к *стена* вообще. Это положение представляет интерес в связи с двумя вопросами, которые следует вкратце затронуть.

Во-первых, оно касается противопоставления «относительное—притяжательное». Нужно подчеркнуть правильность той точки зрения, согласно которой собственно притяжательными считаются прилагательные, обозначающие отношение к единичному лицу, как правило, отношение владения: *братнин*, *сестрин*, *бабушкин*, *катин*, *отцов* и т. п. Необходимо, однако, отметить и некоторые особенности прилагательных с суффиксами *-ск-* и *-j-* (*господский*, *хозяйский*, *волчий* и т. п.), которые побуждают часть исследователей объединять «личные» и «родовые» притяжательные в одну группу и часто рассматривать эту группу как подвид относительных прилагательных. Нельзя отрицать того, что в грамматическом значении суффиксов *-ск-* и *-j-* заключена известная конкретизация общего предметного

отношения в сторону значения принадлежности и владения, что отличает прилагательные типа *хозяйский*, *волчий* от других относительных прилагательных. Если к тому же в составе словосочетания значение целого не будет расходиться с суммой значений компонентов, а речевая ситуация определит единичную предметную отнесенность, то такие прилагательные в большой мере сблизятся с собственно притяжательными (ср. *хозяйский топор*, *хозяйское ведро*). Здесь, однако, следует иметь в виду, что значение принадлежности является достаточно абстрактным и — что очень важно — само по себе не имеет специфических экспрессивно-эмоциональных оттенков; кроме того, в большинстве случаев в рассматриваемых прилагательных оно становится основой различных качественных характеристик предметов: *лисий мех*, *медвежья берлога*, *господская гостиная*, *хозяйское отношение к добру* и т. п. Эти стороны семантики прилагательных на *-ск-*, *-j-* сближают их с относительными. Решающим моментом, который позволяет объединить прилагательные на *-ск-*, *-j-* с обычными относительными, является, на наш взгляд, «родовой» характер значения их предметных основ.

Во-вторых, предельно обобщенный характер предметного значения производящей основы относительного прилагательного и общее грамматическое значение имени прилагательного как средства выражения признака, данного в определяемом предмете, противополагает относительное прилагательное приименному родительному падежу и прочим формам атрибута — существительного. Для суждения о различии грамматических значений атрибутов в сопоставимых словосочетаниях типа *крепостной вал — вал крепости* не утратило своей ценности высказывание А. А. Потебни о том, что «разница между определительным прилагательным и определительным существительным состоит в том, что в последнем признак не прямо приписывается известной субстанции, а через посредство другой субстанции»[9]. Отсутствие единичной предметной отнесенности в семантике производящей основы относительного прилагательного обусловливает особую степень семантической цельности словосочетаний типа *крепостной вал* по сравнению со словосочетаниями типа *вал крепости*.

В связи с проблемой, которой посвящена настоящая статья, исключительный интерес представляет вопрос о развитии качественных и качественно-оценочных значений в относительных прилагательных, а также некоторые смежные с этим вопросы (своеобразие полисемии прилагательных, совмещающих в своей смысловой структуре качественные и относительные значения, индивидуально-творческое использование, в частности, смысловых возможностей относительных прилагательных, исторические тенденции развития семантики и функций отыменного прилагательного в русском языке и некоторые другие). Однако эти вопросы требуют особого рассмотрения.

---

[9] См. А. А. Потебня, Из записок по русской грамматике, I—II, 2-е изд., Харьков, 1888, стр. 99. Мысль о выражении в атрибутивном словосочетании с несогласующимся существительным отношения двух предметов проводят А. М. Пешковский, А. А. Шахматов, А. Н. Гвоздев.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1960

Н. Д. АРУТЮНОВА

ОБРАТНОЕ СЛОВООБРАЗОВАНИЕ И ВОПРОСЫ НЕСОБСТВЕННОЙ ДЕРИВАЦИИ

(На материале испанского языка)

При описании словообразования нередко отмечается такая его разновидность, как обратная деривация (derivación inversa o retrógrada). Этот прием, согласно тем определениям, которые ему даются, состоит в «извлечении» производящей основы из производного слова. Иначе говоря, процесс словообразования как бы инвертируется, протекает в обратном направлении: от второго члена модели к первому. Ср. *legislador* > *legislar*, при нормальной последовательности — *hablar* > *hablador*.

Лингвистическая проблема обратного словообразования имеет разные аспекты. При изучении функционирования системы языка во времени, а также в плане исторической лексикологии регрессивная деривация интересна с точки зрения реальной последовательности возникновения в языке слов. Иначе обстоит дело при анализе тех морфологических и семантитических связей, которые складываются между словами в пределах синхронного среза языка. Изучая статические словообразовательные отношения, мы не должны расценивать слова, возникшие в результате обратной деривации, как произведенные от тех слов, из состава которых они были выделены. Так, *legislar* не может рассматриваться как вторичное по отношению к *legislador*, *humilde* — к *humildad*, *perniquebrar* — к *perniquebrado*, *burro* — к *borrico*. Во многих лингвистических работах, однако, излагается именно такой взгляд. Подобная точка зрения, очевидно, основывается на неразличении фактов системы языка и явлений, характеризующих ее функционирование во времени. В современном языке аффиксальное слово (при наличии простого) воспринимается как вторичное, а не первичное образование, независимо от того, было ли оно исходным пунктом или результатом деривации[1]. Оно структурно отождествляется со вторым, а не первым членом модели. Этим определяется и семантическая иерархия, существующая между единицами лексического состава языка. Слова, не содержащие аффиксов, обычно мотивируют значение аффиксальных производных от той же основы. Мы понимаем существительное *humildad* «смирение, покорность», установив его вторичность к морфологически непроизводному и семантически более простому *humilde* «смиренный, покорный», хотя последнее было выделено из состава существительного путем обратной деривации. Из сказанного вытекает, что нет оснований для выделения регрессивной деривации в особый словообразовательный тип наряду с аффиксацией, словосложением и пр., как это имеет место в описательных грамматиках испанского языка, а также в специальных работах по словообразованию[2].

---

[1] Подробнее см. А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, М., 1956, §§ 71—74.

[2] См.: «Gramática de la lengua española», Madrid, Real Academia española, 1931; J. Alemany Bolufer, Tratado de la formación de palabras, Madrid, 1920, стр. 151.

Изучая протекание словообразовательного процесса во времени, необходимо констатировать, что существующие в языке модели могут служить базой для словообразования в двух направлениях: от первого члена модели ко второму и, наоборот, от второго члена к первому. Процесс деривации, взятый в его временной протяженности, оказывается обратимым. То обстоятельство, что реально гораздо более часты случаи, когда словообразование развивается от морфологически более простого слова к более сложному, не меняет существа дела. Оно свидетельствует лишь о том, что в языке почти не бывает составных образований, не соотносимых с простыми словами, что вполне естественно. Структура словообразовательной модели в синхронном плане может быть передана формулой А ↔ В, в которой обратимость словообразовательного процесса выражена двусторонней стрелкой, а семантическая и морфологическая зависимость одного слова от другого представлена фиксированным порядком расположения компонентов (слово, отождествляемое со вторым членом, всегда является вторичным, производным). Возможность прямого и инвертированного функционирования модели не равнозначна ее распаду на две более простые конструкции: А → В и В → А. Однако в некоторых случаях инверсия членов модели вызывает расщепление первоначального единства, его разложение на две независимые друг от друга схемы деривации. Это доказывает, что обратимость словообразовательного процесса, не будучи существенной чертой модели с точки зрения статических словарных отношений, может стать весьма важным фактором развития системы языка. Попытаемся подкрепить это положение конкретным материалом.

Испанский язык унаследовал от латыни модель, по которой образуются глаголы от именных основ без помощи специальных суффиксов. Ср. *el almacén* > *almecenar*, *la araña* > *arañar*. Изменение последовательности словообразовательного процесса по модели «имя → глагол» привело к созданию имен существительных путем выделения глагольной основы. Ср. *suspirar* > *el suspiro*, *sospechar* > *la sospecha*, *mermar* > *la merma*. В этом случае в языке имелось достаточно словарного материала, отождествляемого со вторым членом модели (т. е. глаголом), поскольку несобственная деривация производит слова с морфологически простыми основами. Итак, конструкция «имя → глагол» инвертировалась и стала весьма продуктивно действовать в направлении от глагола к имени. (Об отглагольных именах этого типа см. J. Malkiel, Fuentes indígenas y exóticas de los sustantivos y adjetivos verbales en *-e*, «Revue de linguistique romane», t. XXIII, № 89—90, 1959.)

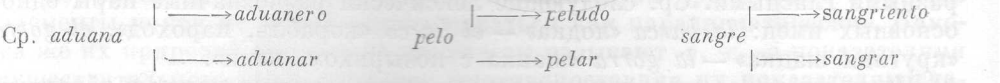
Однако постепенно наметились существенные морфологические и фонетические расхождения между прямым и обратным действием словообразовательной модели. Как известно, испанские имена с исходом на *-o* и *-e* — мужского рода, а существительные, оканчивающиеся на *-a*,— женского рода. В лексическом запасе испанского языка имеется, впрочем, немало отступлений от этой нормы. Так, звук *-e* оформляет большое количество имен женского рода (ср. *la sangre*, *la calle*, *la clase*, *la corte*). Эти существительные могут служить основой для образования глаголов (ср. *la sangre* → *sangrar*). Напротив, если мы рассмотрим структуру производного имени при инвертированном действии модели, то заметим, что звук *-e* закрепляется только за существительными мужского рода (ср. *avanzar* > > *el avance*, *arrancar* > *el arranque*, *tocar* > *el toque*).

Расхождение прямой и инвертированной деривации коснулось также фонетического облика имени, в частности места ударения. В испанском языке возможно создание отыменных глаголов независимо от того, на какой слог падает ударение в производящем слове (ср. *la lámina* > *laminar*, *la cópula* > *copular*(*se*), *la página* > *paginar*). При инверсии словообразования отглагольное имя не имеет колебаний в оформляющем его ударении: оно всегда падает на предпоследний слог. Сдвиг ударения наблюдается

только в тех случаях, когда глагол и производное от него имя — оба заимствованы из латыни. Ср. такие испанские пары, как *calcular* > *el cálculo*, *computar* > *el cómputo*. В заимствовании латинских слов наблюдается определенная закономерность: имена сохраняют латинское ударение, связанное с долготой и краткостью гласных, — глаголы всегда подчиняются правилам испанской акцентуации, единой для всех спряжений. Отсюда и возможность различного ударения у имен и глаголов, взятых испанским языком из латыни.

Отмеченные фонетические и морфологические расхождения между прямым и обратным действием анализируемой модели имеют следующую общую причину. Модель «имя → глагол» (как и всякая словообразовательная конструкция) фиксирует прежде всего формальную характеристику производного слова, приводя ее в соответствие с продуктивной морфонологической системой, управляющей современным языком. Это обусловливает принадлежность отыменного глагола к первому спряжению. Однако многие формальные черты производящего имени — его ударение, конечный звук, родовая принадлежность — остаются безразличными для функционирования данной модели и не входят в ее структуру. Эти признаки имени могут не находиться в соответствии с действующей языковой системой. Форма имени нередко имеет нормативный, закрепленный традицией характер. При инверсии словообразовательного процесса модель «глагол → имя», естественно, начинает включать как необходимые признаки всю морфонологическую структуру производного имени (его звуковой исход, родовую принадлежность, ударение), в свою очередь подводя их под действующие в языке отношения и не допуская никаких отклонений от продуктивной системы.

Попытаемся проследить далее дифференциацию прямого и обратного действия словообразовательной модели. При создании отыменных глаголов конечная гласная существительного (если она имеется) отпадает. Это соответствует общей норме испанского словообразования: производящие основы имен не включают конечного гласного, если на него не падает ударение.



При образовании отглагольных имен (т. е. когда вступает в действие регрессивная деривация) основа глагола должна была получать в исходе определенный гласный, который бы придал ей фонетическую завершенность, поскольку лишь немногие согласные (*n*, *d*, *s*, *l*, *r*, *z*) и далеко не во всех комбинациях с предшествующими звуками встречаются в конце испанского слова. Последнее может оканчиваться на *-o*, *-e*, *-a* (так называемые сильные гласные). Слабые гласные *-i*, *-u* встречаются в этом положении лишь спорадически в заимствованных словах и латинизмах, обычно под ударением (ср. *grisú*, *berbiquí*, *jabalí*, *espíritu*, *alfaquí*). При образовании отглагольных имен наметились некоторые фоно-морфологические тенденции, определяющие выбор конечного звука. Так, возможность согласного исхода практически была отброшена. Образования типа *perdonar* > *el perdón*, *disfrazar* > *el disfraz* единичны. Это уже само по себе заметно отличает прямую деривацию от обратной, поскольку отыменные глаголы свободно образуются от существительных, оканчивающихся на согласный звук. Ср. *acción* > *accionar*, *azúcar* > *acucarar*. Основы глаголов, содержащие суффикс *-e-*, притягивают к себе гласный *-o*. Ср. *pasear* > *el paseo*, *manotear* > *el manoteo*, *patear* > *el pateo* (образования типа *pelear* > *la pelea* чрезвычайно редки). В этом последнем случае выбор конечного звука в современном языке обязателен.

Вполне понятно, что наличие некоторых норм выбора конечного звука обратно пропорционально его способности быть показателем смысловых различий. Однако эти нормы, как мы видели, не настолько императивны, чтобы не оставить места для параллельного функционирования всех трех гласных.

В испанском языке есть немало производных, которые оформлены разными гласными и в соответствии с этим семантически обособлены друг от друга. Ср. *embarcar* «погружать на корабль» — *el embarque* «погрузка товаров» — *el embarco* «посадка пассажиров»[3], *pesar* «весить» — *el peso* «вес» — *la pesa* «гиря». Иногда наличие синонимичных словообразовательных формул используется при создании производных от многозначных глаголов. Ср. *cargar* «грузить», «обременять, возлагать ответственность, поручать» — *la carga* «груз» — *el cargo* «пост, должность», *gozar* «наслаждаться, пользоваться» — *el gozo* «наслаждение, удовольствие» — *el goce* «пользование». Окончание производного имени выступает в качестве дискриминативного признака и тогда, когда производящий глагол сам является вторичным по отношению к другому существительному. Ср. *la lanza* «копье» — *lanzar* «метать копье, бросать» — *el lance* «бросок», *el paso* «шаг» — *pasar* «проходить, передавать» — *el pase* «передача, пропуск».

Приведенные примеры показывают, что хотя в словообразовании этого типа и возможно использование разного гласного исхода для выражения смысловых различий, ни один из трех элементов не обладает специфической, одному ему свойственной деривативной функцией. Гласные *-o*, *-e*, *-a* могут указывать на любые семантические расхождения в пределах общего значения действия и результата действия по соответствующим глаголам. При этом смысловой объем каждого существительного фиксируется языковой нормой, а не определяется его словообразовательной структурой.

Использование конечного звука в целях семантической дискриминации отглагольных имен находится в соответствии с общей закономерностью испанского словообразования. Действительно, в лексическом запасе испанского языка имеется большое количество существительных, отличающихся друг от друга смысловыми нюансами и оформленных в исходе разными гласными. Ср. следующие лексически разнозначные пары одноосновных имен: *la barca* «лодка» — *el barco* «корабль, пароход», *el gorro* «круглая шапка» — *la gorra* «шапка с козырьком, кепи».

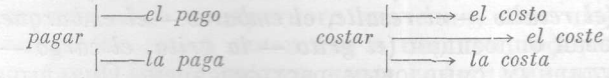
Итак, мы подошли еще к одному различию между прямым и обратным действием первоначально единой модели. Конструкция «имя → глагол» при своей инверсии расщепляется, вводя в язык три синонимичные между собой формулы. Это могло произойти, в частности, потому, что конечный звук производящего существительного в модели «имя → глагол» безразличен для ее структуры и не ведет к ее распаду на варианты (ср. *acción* > *accionar*, *archivo* > *archivar*, *aduana* > *aduanar*, *albergue* > *albergar*). При обратном словообразовании конечный гласный начинает выполнять смыслоразличительную функцию. Этот признак становится поэтому существенным, расщепляя модель на три варианта.

В то же время при создании отыменных глаголов в испанском языке отсутствует выбор грамматического оформителя основы. Происходит лишь образование глаголов первого спряжения. На это обстоятельство следует обратить особое внимание, поскольку в словарном составе испанского языка имеются случаи, когда смысловая дискриминация глаголов выражается именно при помощи различий в спряжении (ср. *fundir* «плавить» — *fundar* «основывать», *consumir* «потреблять, поглощать» — *consumar* «осуществлять»). Однако подобный способ семантического противопоставления носит случайный характер, не распространяется на одноосновные

[3] Любопытно, что антонимичный глагол *desembarcar* «выгружать, высаживать(ся) с корабля» дает лишь одно производное *el desembarco* «выгрузка, высадка».

глаголы и не активизируется в словообразовании. Это объясняется тем, что в современном испанском языке вербальные парадигмы не связаны ни со смысловыми, ни с формальными особенностями групп глаголов. Они не выражают никакой лингвистической оппозиции и стали чисто нормативной, традиционной чертой испанской морфологии.

Изложенные факты дают повод для некоторых семантических наблюдений. При образовании отыменных глаголов путем несобственного словопроизводства их внутренняя семантическая дифференциация не выражается языковыми средствами, поскольку имеется лишь одна действующая модель. Напротив, при создании отглагольных существительных нередко происходит сужение их семантического объема по сравнению с производящим глаголом. Общее значение имени действия и результата (или объекта) действия распределяется между несколькими производными. Ср.



Следовательно, отпадение конечного гласного, а также наличие лишь одной продуктивной парадигмы спряжения увеличивает полисемию отыменных глаголов, а иногда даже ведет к созданию омонимов. Например, от существительного *el lacre* «сургуч» возникает глагол *lacrar* «запечатывать сургучом». Омонимичный глагол образуется и от другого имени: *la lacra* «язва» — *lacrar* «портить, вредить здоровью». Так протягиваются нити, соединяющие формальную (грамматическую и фонетическую) систему языка и семантическую структуру слова.

Вернемся к анализируемой словообразовательной конструкции. Разница между прямым и инвертированным действием модели не ограничивается ее расщеплением на три варианта. Она гораздо глубже и затрагивает само качество, само существо словообразовательного процесса. Выше говорилось, что при производстве отыменных глаголов основным словообразующим средством является парадигма. Иначе обстоит дело при создании отглагольных имен. Здесь, кроме флексии множественного числа *-s*, словообразующую функцию выполняют гласные *-o*, *-e*, *-a*, которые присоединяются к основе глагола, чтобы создать производное имя. Эти элементы никак не могут рассматриваться как парадигматические. Какова же их природа? Некоторые лингвисты называют *-o*, *-e*, *-a* показателями существительного (noun-markers), противопоставляя их показателям глагольности *-ar*, *-er*, *-ir* (verb-markers)[4]. Между этими категориями имеется, однако, принципиальное различие, на которое нельзя не обратить внимания. Конечная гласная существительного не является флексией. В то же время для глагола окончание инфинитива — лишь частный случай в системе парадигматических форм, которые могут служить знаками вербальности. Кроме того, конечные гласные *-o*, *-e*, *-a* не являются исключительным достоянием имен существительных. Они не реже встречаются в исходе любого испанского слова, а также являются составной частью глагольного спряжения.

Следовательно, так называемые сильные гласные являются признаком фонетической завершенности испанского слова. Их присутствие императивно в тех случаях, когда предшествующие им согласные или группы согласных не могут стоять в конце слова. Роль этих звуков прежде всего фонетическая. Нельзя не видеть, однако, что в существительных и прилагательных конечные звуки выполняют также и морфологическую функцию, указывая на родовую принадлежность имени. Например, они образуют коррелирующие между собой по значению названия лиц мужского и женского пола (ср. *el niño — la niña*, *el hijo — la hija*, *el hermano — la hermana*, *el tío — la tía*).

[4] См. S. Murphy, A description of noun suffixes in colloquial Spanish, сб. «Descriptive studies in Spanish grammar», Urbana, 1954, стр. 19—24.

Итак, внутри существительного роль конечного гласного двояка: он придает имени фонетическую самостоятельность и одновременно указывает на его родовую характеристику. Обе функции ясно обнаруживаются при производстве девербальных имен. В связи с этим возникает весьма важный для понимания данного типа словообразования вопрос: сопряжена ли смысловая дифференциация производных имен с их родовой принадлежностью, как это, очевидно, происходит, например, в парах *el hijo — la hija*, *el hermano — la hermana*? По-видимому, ответ на этот вопрос должен быть отрицательным. Отглагольные имена типа *el destierro — el destierre*, *el gozo — el goce*, *el trato — la trata* имеют значение действия и результата действия. Для существительных подобной семантики родовая принадлежность является чисто грамматической категорией и не перекликается ни с какими лексическими нюансами. Кроме того, параллельные производные от основы одного глагола не обязательно различаются по роду (*el resalto — el resalte*, *el embarco — el embarque*, *el desteto — el destete*). Родовая оппозиция (*el grito — la grita*, *el cargo — la carga*) не связана с регулярным смысловым расхождением. Она выражает любое семантическое различие, возможное у nomina actionis.

Мы можем заключить, следовательно, что родовые значения, сопряженные с конечными гласными имен, играют второстепенную роль в структуре данного типа деривации. Элементы *-o*, *-e*, *-a* вступают в словообразование преимущественно как показатели звуковой самостоятельности слова[5]. Будучи разными фонемами, они получают способность выражать семантические колебания среди производных слов. Это отличает словопроизводство данного типа от модели *el hermano — la hermana*, где словообразующую роль выполняет показатель родовой принадлежности существительного. Только у производных типа *palmatear — palmateo*, *vocear — voceo*, *tantear — tanteo* функция конечного звука оказывается более усложненной. В исходе этих слов *-o* не столько придает им звуковую самостоятельность, сколько указывает на морфемный характер предшествующего ему *-e-*, суффикса, выражающего фреквентативность. Отсутствие дополнительного гласного поставило бы *-e-* в конце имени, сделало бы его безударным и этим нейтрализовало бы его роль как вербального суффикса, превратив в реквизит производного существительного. Чистая основа глагола *pase-ar* (*pase-*) совпала бы, например, с производным от глагола *pasar* (*el pase*).

Инверсия модели затронула само существо словообразовательного процесса: при создании отыменных глаголов словообразующим средством является вербальная парадигма, при создании отглагольных имен деривативное значение приобретают фонетические элементы, придающие самостоятельность испанскому слову.

Мы весьма подробно остановились на формальных чертах, дифференцирующих две модели несобственной деривации. Теперь следует рассмотреть их смысловое содержание, поскольку именно в этой области обнаруживаются наиболее веские доводы, свидетельствующие о расщеплении первоначально единой конструкции. Образование именных глаголов, с одной стороны, и отглагольных имен — с другой, обладает каждое своими индивидуальными закономерностями. Смысловые соотношения между членами модели «имя → глагол» весьма разнообразны и с трудом поддаются учету и классификации. Большей частью существительное, служащее производящей основой, имеет конкретно-предметное значение, а образуемый глагол выражает действие, так или иначе связанное с этим предметом. Наиболее распространенными являются местные и орудий-

[5] Упомянутое положение подтверждается и случаями, в которых образование отглагольного имени не сопровождается присоединением гласного звука. Это может произойти лишь тогда, когда основа глагола соответствует звуковой структуре испанского слова. Ср. *deslizar* > *el desliz*, *pregonar* > *el pregón*, *perdonar* > *el perdón*, *sostener* > *el sostén*, *disfrazar* > *el disfraz*.

ные отношения. Ср. *el aceite* «оливковое масло» — *aceitar* «поливать маслом», *la aduana* «таможня» — *aduanar* «производить таможенный осмотр», *el arma* «оружие»— *armar* «вооружать», *el remo* «весло» — *remar* «грести». Производящее имя иногда является именем деятеля. Ср. *el guía* «гид, поводырь» — *guiar* «вести, руководить», *el mendigo* «нищий» — *mendigar* «нищенствовать».

При образовании отглагольных имен последние редко получают конкретно-предметные значения, выражая обычно действие и результат (или объект) действия по производящему глаголу. Ср. *cazar* «охотиться»— *la caza* «охота, дичь», *derrochar* «расточать, проматывать»— *el derroche* «расточительность», *cerrar* «закрывать» — *el cierre* «закрытие», *alzar* «повышать» — *el alza* «повышение».

О наличии резкой семантической дифференциации двух моделей свидетельствует следующий факт: имеются случаи, когда глагол, образованный от существительного конкретного значения, дает языку новое производное, отличное по своей семантике и гласному оформлению от первичного имени. Ср. *la baraja* «колода карт» → *barajar* «тасовать карты» → → *el baraje* «перетасовка карт», *la rueda* «колесо» → *rodar* «кружить, вращать» → *el ruedo* «вращение, оборот». Мы видим, что исходное существительное обозначает предмет, производный от него глагол выражает действие, связанное с данным предметом, а девербальное имя является nomen actionis. Семантические отношения между глаголом и обоими существительными совершенно различны.

Изложенные соображения позволяют сделать следующий вывод. В испанском языке инверсия словообразовательного процесса по модели «имя → глагол» привела к ее разложению на две обособившиеся, семантически индивидуальные конструкции. Из этого, однако, не следует, что в пределах новых моделей перестала быть возможной обратная деривация и каждая из них стала действовать только в одном направлении. Напротив, вновь возникшие конструкции не отличаются в этом плане от любой другой модели словообразования. В них также происходит инверсия, доказательством чему служит, например, существительное *la sonda* «бур, зонд», выделенное из глагола *sondar* «бурить, зондировать». Полученное имя означает орудие действия по глаголу *sondar*. Такого рода семантическое соотношение характеризует в испанском языке модель «имя → → глагол», под которую и подводится пара *la sonda* → *sondar*. Приведем пример обратной деривации по модели «глагол → имя». Существительное *el ultraje* «оскорбление» является галлицизмом (ср. ст.-франц. *oltrage* и совр. франц. *outrage*). В испанском языке от него был создан глагол *ultrajar* «оскорблять». Смысловые отношения между глаголом *ultrajar* и существительным *ultraje* должны быть подведены под модель «глагол → имя», поскольку *ultraje* является по своему значению nomen actionis.

Любопытно заметить, что создание глаголов способом несобственной деривации возможно не только от основ существительных, но также прилагательных и наречий. Ср. *alegre* > *alegrar*, *contento* > *contentar*, *atràs* > *atrasar*, *sobre* > *sobrar*. Наблюдаются случаи и обратного действия этой модели. Ср. *amargar* > *amargo*, *cansar* > *canso*, *colmar* > *colmo*, *descalzar* > *descalzo*. Однако на этот раз инверсия словообразовательного процесса не имела своим результатом выделение новой схемы несобственной деривации. Прямое и регрессивное действия модели не отличаются друг от друга ни в морфологическом, ни (что особенно важно) в семантическом отношении. Так, *agrio* «кислый» дает *agriar* «делать кислым», но *amargo* «горький» извлечено из глагола *amargar* «делать горьким»; *lleno* «полный» производит *llenar* «наполнять», но *colmo* «переполненный» создано путем обратной деривации от *colmar* «переполнять». Образование прилагательных путем выделения глагольной основы остается в пределах модели «прилагательное → глагол» и может расцениваться как регрессивное действие данной конструкции: *colmo* ← *colmar*, *amargo* ← *amargar*.

*

Несобственная деривация создает слова без участия специальных словообразующих морфем. Основы новых слов не содержат поэтому аффиксов. Отсутствие морфологически выраженной производности не ведет, однако, к нейтрализации категории «первичности-производности»[6]. У пар слов, соотношение которых определяется несобственной деривацией, в принципе одно из них выступает как производящее, а другое — как вторичное образование. Проблема производности решается в этом случае с учетом общих семантических тенденций, управляющих словообразованием данного языка[7]. Так, обычно все имена действия являются вторичными по отношению к глаголам, выражающим соответствующее действие, имена качества воспринимаются как производные от прилагательных, означающих данное качество, и т. д. Разумеется, не всегда связи между словами столь очевидны. Нередко последующее семантическое развитие нарушает сложившиеся отношения, заменяя их новыми, как бы инвертируя.

Проблема «первичности-производности» осложняется еще и тем, что существительное в результате изменений в своей смысловой структуре, нередко под влиянием соотносимого с ним глагола, может совмещать значения, одни из которых являются первичными, а другие следовало бы рассматривать как производные. Иначе говоря, противоречивость отношений между подобными парами слов обусловливается тем, что по своей структуре они соответствуют одновременно двум моделям несобственной деривации, каждая из которых характеризуется особого рода смысловой зависимостью производного от производящей основы. Так, глагол *azotar* «стегать, пороть» является производным от *el azote* (араб. *azaut*) «плеть, кнут, розга». Семантическое отношение *el azote* > *azotar* вполне соответствует содержанию модели «имя → глагол», в которой существительное часто означает орудие действия, выражаемого глаголом. Ср. *el látigo* «кнут, бич» → *latigar* «бичевать, стегать кнутом». Однако *el azote* имеет и другое значение — «порка, избиение». Это более общее значение присуще nomina actionis и могло бы рассматриваться как производное от глагола *azotar*. Следовательно, *el azote* выступает и как производящая база и как существительное, произведенное от глагола *azotar*.

Нередко историческая последовательность возникновения в языке слов приходит в противоречие со смысловыми отношениями, складывающимися в синхронной системе языка. При отсутствии морфологически выраженной производности одного слова и первичности другого такого рода инверсия приводит к переосмыслению структуры слова, которое как бы переходит из одной словообразовательной орбиты в другую. Но даже в пределах несобственной деривации возможны случаи, когда морфологическая структура слов не позволяет переоценить их словообразовательные отношения. В процессе заимствования из латыни испанский язык вводил в свой состав имена действия, нередко оставляя за бортом соответствующие им глаголы, особенно если последние имели неправильную парадигму. В дальнейшем, уже на почве испанской речи, от заимствованных существительных образовались глаголы первого спряжения.

---

[6] Не следует думать, что в словообразовании вообще невозможна нейтрализация категории «первичности-производности». Так, например, порядок расположения членов модели безразличен в словообразовании, основанном на дифференциации конечного гласного (ср. *la canasta — el canasto*, *la gorra — el gorro*). Ни одно из этих слов не может рассматриваться как производное. Оба существительных являются равноправными членами семантически взаимодействующих пар, хотя реально одно из них возникло раньше и послужило базой для создания своего сочлена.

[7] См. А. И. Смирницкий, Лексикология английского языка, § 84. Ср. также П. А. Соболева, Критерии внутренней (или семантической) производности при словообразовательных отношениях по конверсии, «Уч. зап. [МГПИ им. В. И. Ленина]», т. CXXVI. Фак-т иностр. языков, вып. 2, 1958; е е ж е, Об основном и производном слове при словообразовательных отношениях по конверсии, ВЯ, 1959, № 2.

Закономерностью испанского языка является создание имен действия от основ глаголов. Пары типа *acción* > *accionar* нарушают логическую последовательность испанского словообразования, поскольку у них имя действия является производящей базой для соответствующего глагола. Структура именной основы не позволяет считать глагол первичным, а имя производным образованием. Основы существительных *acción*, *presencia* и др. содержат суффиксы имен действия *-(c)ión* и *-encia*, четко выделимые в слове.

С семантической точки зрения отыменные глаголы, такие, как *accionar*, *perfeccionar*, *seleccionar*, *funcionar*, замещают в испанском языке не проникшие в него *agĕre*, *perficĕre*, *seligĕre*, *fungi*. Напротив, по своей морфологии испанские глаголы имеют ярко выраженный производный характер.

Семантическую близость первичного и отыменного глаголов легко проследить в тех случаях, когда в языке одновременно употребляется как корневой, так и производный глагол от одной основы (ср. *influir* > *influencia* > *influenciar*). *Influir* и *influenciar* — оба означают «влиять, оказывать влияние» и находятся, следовательно, в одинаковом смысловом отношении к существительному *la influencia* «влияние», хотя словообразовательные связи с именем у них совершенно различны. Разумеется, есть случаи, когда первичный и производный глаголы обладают разными значениями (ср. *imprimir* «печатать», *impresión* «отпечаток, впечатление», *impresionar* «производить впечатление»). Однако это не исключает возможности семантического совпадения первичного и отыменного глаголов.

Противоречивость создавшихся отношений особенно хорошо заметна при сопоставлении таких пар, как *infringir* > *infracción* и *fracción* > > *fraccionar*; *elegir* > *elección* и *colección* > *coleccionar*.

Три пары полностью передают латинскую корреляцию «глагол → имя действия». Напротив, существительные *fracción*, *collección*, содержащие те же основы, что *infracción*, *elección*, были заимствованы без смежных с ними глаголов. Последние образовались уже в испанском языке от основ существительных и получили вторичный, производный характер. Семантические связи у всех шести пар полностью совпадают, а их словообразовательные отношения оказываются диаметрально противоположными. Причиной такого положения явилась тенденция языка к морфологическому выравниванию глагольной парадигмы, нарушившая привычные закономерности словообразования. Следует обратить внимание на то, что в языке наблюдается стремление восстановить равновесие между словообразовательными и смысловыми отношениями, подчинив приведенные выше пары общей норме испанской деривации. Этому способствует дальнейшее развитие словообразовательного ряда, направленное на преодоление возникшей коллизии. Оно сопровождается перераспределением значений между словами, входящими в общую серию. За именем, служащим исходным пунктом словообразовательного ряда, закрепляется более конкретное значение (бывшее значение результата или объекта действия), а имя действия создается заново от отыменного глагола. Так, существительное *fracción* удерживает значение «доля, фракция, дробь» и практически утрачивает способность выражать процесс. Это последнее значение переходит к отглагольному имени *fraccionamiento*, включающему суффикс *-miento*. Любопытно заметить, что значение действия полностью сохраняется у существительных *infracción*, *elección* и т. п.

Приведенные факты показывают, что область несобственной деривации дает весьма обильный и любопытный материал для наблюдений над взаимодействием разных частей системы языка — его морфологии, фонетики, семантики и словообразования.

№ 2 1960

Ф. Д. АШНИН

ЧЕТЫРЕ ТУРЕЦКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМА

1. Şu ev senin bu ev benim

В турецком языке довольно часто встречаются выражения типа *şu ev senin bu ev benim*, которые совершенно не представлены в словарях. Первым среди русских тюркологов на них обратил внимание Н. К. Дмитриев, который разъяснял одно из таких выражений как «ходячую поговорку, смысл которой тот, что „мне с тобой не по пути“»[1]. Такое толкование выражений рассматриваемого типа основывается на буквальном значении их составных частей: «вон тот дом — твой, а этот дом — мой» или «вон тот дом — тебе, а этот дом — мне». Однако в данном случае дословный перевод себя не оправдывает, ибо из контекста зачастую остается неясным, зачем собеседники делят дома (или деревни и города, как в приведенном ниже примере) между собой; эта неясность чувствуется также в комментируемом Н. К. Дмитриевым переводе предложения: «И вот, долго бродя, как говорится: „Эта деревня — тебе, а этот город — мне“, приходит он в какой-то город»[2]. Не подходит здесь и толкование через переносное значение — «мне с тобой не по пути»; чтобы в этом убедиться, достаточно принять во внимание случаи употребления этих выражений, когда субъектом действия выступает одно лицо, собеседника нет и «разные пути», следовательно, исключаются совершенно. Например: «Köroğlu Kıratı kaybetti: *şu dağ senin bu dağ benim* diye kırk gün kırk gece arayıp durdu» «Кёроглу потерял Кырата и сорок дней и сорок ночей упорно искал [его] повсюду в горах» (дословно: «...искал, говоря „вон та гора — твоя, эта гора — моя“»). Нельзя также признать удачной попытку передать рассматриваемое выражение по-русски посредством словосочетания «долго бродит»[3], ибо в этом случае пространственная характеристика действия подменяется временной.

Приводимый ниже материал свидетельствует о том, что подобные выражения приобрели в турецком языке характер фразеологизмов и имеют значение: «ходить // бродить // слоняться // шататься // шляться там-то и там-то», «посещать такие-то и такие-то места», причем в существительных, представленных в этих выражениях, всякий раз указывается, о каких именно местах идет речь[4]. С формальной стороны фразеологизмы рассматриваемого типа представляют собой сложносочиненное предложение, которое, однако, редко занимает самостоятельную позицию и чаще всего,

---

[1] «Турецкие народные сказки». Перевод с турецкого Н. А. Цветинович-Грюнберг. Редакция, статья и комментарии Н. К. Дмитриева, Л., 1939, стр. 578, примеч. 2 к сказке № 21 «Сын пастуха».

[2] Указ. соч., стр. 187.

[3] См. «Турецкие народные сказки». Перевод с турецкого Н. Цветинович, М., 1959 ,стр. 69.

[4] За выражением «o duvar senin bu duvar benim» (дословно: «та стена — твоя, эта стена — моя») закрепилось значение высокой степени опьянения, когда человек идет, шатаясь из стороны в сторону [см. «Türkçe sözlük», 3-ncü baskı, hazırlıyan M. A. A ğ a k a y, denetleyip tamamlıyanlar N. Artam, H. Eren, S. Sinanoğlu, yardım eden F. Devellioğlu, Ankara, 1959, стр. 589].

будучи введено в предложение посредством деепричастий *diye*, *diyip*, *derken*, само образует нечто вроде развернутого обстоятельства образа действия.

Примеры: «Bir herifi ararken *şu ev senin bu ev benim* diye bütün evleri dolaştım» (Из устной речи) «В поисках одного субъекта я обошел дом за домом все дома»; «*Şu gazino senin bu lokanta benim* derken akşamı ettiler» (Из устной речи) «Слоняясь по казино и столовым, они провели весь день до вечера»; «...Eve barka geldiği yok... *o komşu senin bu komşu benim*. Kağıt oynuyor» (Ф. П. Гайдаров, Учебник турецкого языка, ч. 2, Баку, 1944, стр. 366) «...домой, в семью не приходит. Шляется по соседям. В карты играет»; «... Günlerce dolaştı. O koltuk vuruyor, öteki çimdikliyordu. *Şu bağ senin, o bahçe benim*...» (Orhan Kemal, Bir kadın, в его кн. «Ekmek kavgası», İstanbul, 1949, стр. 54) «...Долго она бродила. Один толкнет локтем, другой ущипнет. [Так и ходила] по [чужим] садам и виноградникам...»; «Haydi oradan başka kasabaya! | Hocamız yine yaya. | *O köy senin bu köy benim*, durmadan, | Koşturup dururlar arkalarından» (Orhan Veli Kanık, Nasrettin Hoca hikâyeleri, İkinci baskı, İstanbul, б. г., стр. 23) «Оттуда айда в другое местечко. Наш ходжа по-прежнему пешком. От одной деревни к другой. И так, не давая передохнуть и все только поторапливая, едут следом за ним...». Роль вводящего деепричастия может быть показана следующим примером: «yaya-yapıldak düşermiş peşine; dağdan dağa, dağdan dereye *derken* geyik yorulurmuş da, o yorulmazmış» (E. C. Güney, Bir varmış bir yokmuş, İstanbul, 1956, стр. 31)«... он пустился преследовать по пятам; [они носились] по горам и долам, лань уставала, а он не знал устали».

Подобные выражения встречаются также в азербайджанском, например: «*Бу гапы сәнин о гапы мәним* дејиб кәзир» «Он только и делает, что ходит по домам».

2. Şurası senin burası benim

Выражение *şurası senin burası benim* давно обратило на себя внимание исследователей. В. В. Радлов переводил его так: «что там находится — твое, что здесь находится — мое»[5]. Этот перевод правилен лишь формально, но не по существу, и нет ничего удивительного в том, что Н. К. Дмитриев отклонил такое толкование, предложив взамен свое: «мне до тебя дела нет» > «куда ни шло», «была не была»[6].

Иначе истолковал этот фразеологизм Л. Бонелли: *orası senin burası benim dolaşmak* он перевел как *gironzare di qua e di là*[7]; к этому толкованию присоединился Г. Ч. Хони (ср. его перевод — *to saunter about*)[8].

Толкование, предложенное Л. Бонелли и Г. Ч. Хони, прошло у нас незамеченным, и когда Н. К. Дмитриев вновь обратился к этому вопросу, то он в сущности лишь подтвердил свою прежнюю точку зрения, заявив, что *şurası senin burası benim* «употребляется тогда, когда кто-нибудь в полном отчаянии хочет сказать, что с прошлым все кончено, что нам с тобой не по пути и т. д. Иногда в этом сквозит оттенок отчаянной решимости или риска: „ну, куда там ни шло! Была — не была“ и т. д.»[9]. Мнение Н. К. Дмитриева полностью разделил А. Н. Коно-

---

[5] В. В. Радлов, Опыт словаря тюркских наречий, т. IV, СПб., 1911, стб. 1099.

[6] «Турецкие народные сказки», Л., 1939, стр. 572, примеч. 4 к сказке № 9 «Волшебная роза»; см. аналогичные случаи также на стр. 121_{14}, 126_{24-25}, 159_{28-29}, 330_{31}, 394_{39} и 411_{28-29} (нижняя цифра указывает строку).

[7] Luigi Bonelli, Lessico turco-italiano, Roma, 1939, стр. 281.

[8] H. C. Hony, A Turkish-English dictionary, Oxford, 1947, стр. 263.

[9] Н. К. Дмитриев, Наречия места в турецком языке, сб. «Памяти академика Л. В. Щербы (1880—1944)», [Л.], 1951, стр. 162.

нов[10]; оно нашло также отражение в новом издании сказок[11]. Поэтому представляется целесообразным выяснить действительное значение подобных выражений.

Выражение *şurası senin burası benim* или *orası senin burası benim*, которое может также встречаться в виде *şura senin bura benim* или *ora senin bura benim*, представляет собой фразеологизм, аналогичный выражениям типа *şu ev senin bu ev benim*, и как таковой отличается от них только своей отвлеченностью от конкретного указания на место, т. е. означает не что иное, как «ходить // бродить // слоняться // шататься там и сям».

Это значит, что примеры, приведенные Н. К. Дмитриевым[12], следовало бы перевести так: «Sabah oldukta atına binip yola çıkar, *şurası senin, burası benim* diye durmayıp atını sürer» «Когда настало утро, он садится на коня, трогается в путь и, проезжая там и сям, непрестанно гонит коня»; «Kız yola giderek *şurası senin, burası benim* diye yollarda düşe kalka gidip iki senelik kadar yol gider» «Девушка, выйдя в путь, тащится там и сям и проходит почти двухлетний путь», «Ata binip saraydan epeyice ayrıldıktan sonra *şurası burası* derken birkaç günlük yol giderler» «После того как они, сев на коней, отъехали от дворца довольно далеко, они, проезжая там и сям, едут еще несколько дней».

К этим примерам можно добавить и другие: «. . . o gece evinde yatarak sabahleyin yola düşüp *şurası senin burası benim* diye oğlanı aramağa başlar» (Ignácz Kúncs, Oszmán-török népköltési gyüjtemény, II, Budapest, 1889, стр. 55)[13] «. . . проведя ту ночь дома, он наутро пускается в путь и начинает повсюду (дословно: «там и сям») разыскивать сына»; «Bütün güz, bütün kış aylarını dağlarda perperişan İnce Memedin peşinde *ora senin, bura benim* dolaştıktan sonra, yorgun, bitkin kasabaya döndüler» (Yaşar Kemal, İnce Memed, Sofya, 1958, стр. 320) «Обыскав в течение осенних и зимних месяцев все щели (дословно: „там и сям“) в горах в погоне за несчастным Тощим Мемедом, они вернулись в местечко усталые и подавленные»; «Bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp deyip düştüm yollara... *Şura senin, bura benim* derken köyün birinde Allah bir kız çıkardı uğruma» (E. C. Güney, указ. соч.) «Решив, что не знать не стыдно, а стыдно не учиться, я тронулся в путь. Бродил там и сям и в одной из деревень я по воле Аллаха встретил одну девушку»[14].

3. Oralı olmamak

Выражение *oralı olmamak* дословно обозначает «не быть, не становиться тамошним» или «быть, становиться нетамошним». В турецко-русских словарях оно не представлено, а толкование «не подозревать, не думать», которое дается в одной нашей в целом хорошо прокомментированной хрестоматии[15], не может быть признано удачным. Между

[10] А. Н. Кононов, Грамматика современного турецкого литературного языка, М.— Л., 1956, стр. 101.

[11] «Турецкие народные сказки», М., 1959, стр. 52_{16-19}, 59_{28-30} и др.

[12] Н. К. Дмитриев, Наречия места в турецком языке, стр. 162.

[13] Транскрипцию И. Куноша (ниже это сделано также в отношении транскрипций М. Рясянена и В. В. Радлова) передаю в соответствии с правилами современной турецкой орфографии.

[14] Против толкования, предложенного Н. К. Дмитриевым, говорит и самый контекст сказок, в которых встречается рассматриваемое выражение: вслед за таким энергическим возгласом, как «была — не была!», «куда (там) ни шло!», герой сказки чаще всего не совершает никаких решительных действий, а просто-напросто «идет», «тащится кое-как по дороге», «тащится полегоньку» и т. д. (см. «Турецкие народные сказки», Л., 1939, стр. 394_{39}, 104_{5}, 159_{28-29} и др.).

[15] Л. Н. Старостов, Е. В. Сумин, Литературная хрестоматия на турецком языке, под ред. М. С. Михайлова, М., 1954, стр. 413.

тем наши переводчики, сталкиваясь с подобными случаями, чаще всего исходят из буквального понимания этого выражения, в подтверждение чего сошлюсь на самые свежие примеры из перевода на русский язык популярного в Турции романа «Тощий Мемед». Первый пример: «Şafağın yerinde iğne iğne ışıklar belirirken, köye girdiler. Birkaç köpek gürültüyle onları karşıladı. Memed, *oralı* bile *olmadı*. Bütün hızıyla dimdik yürüdü. Durmuş Alinin evine geldi» (Yaşar Kemal, указ. соч., стр. 260) «Они вошли в деревню, когда на востоке забрезжил рассвет. Несколько собак, не признав Мемеда, с лаем бросились на них. Мемед поспешил к дому Дурмуша Али» (Яшар Кемаль, Тощий Мемед, М., 1959, стр. 267). Здесь фраза «Несколько собак, не признав Мемеда, с лаем бросились на них» явилась следствием того, что переводчики восприняли выражение *oralı olmadi* как свободное сочетание и постарались выразить по-русски его отдельные компоненты. В другом случае: «Ağa, ağır ağır, *oralı olmıyarak* başını kaldırdı» (стр. 214) «Абди-ага медленно поднял голову» (стр. 224) рассматриваемое выражение совершенно не передано [16].

Дословный перевод выражения *oralı olmamak* не годится, так как перед нами типичный неразложимый фразеологизм, который можно переводить только целиком. Фразеологизм этот означает: «не соглашаться с тем, что́ вам говорят», «не слушать, что́ вам говорят», «не принимать во внимание, что́ вам говорят», «делать вид, что сказанное к вам не относится» [17]. Стало быть, приведенные выше примеры следовало бы перевести иначе, а именно: «Когда на востоке забрезжил рассвет, они вошли в деревню. Несколько собак с лаем бросились на них, но Мемед даже не обратил на это внимания и продолжал идти уверенно, держась совершенно прямо, пока не пришел к дому Дурмуша Али» и «Ага, делая вид, что сказанное к нему не относится, медленно поднял голову».

Можно привести и другие примеры с этим фразеологизмом: «Tavanların sesler çıkararak, çatırdadığını, çökmek üzere olduğunu görerek hancıya bunları tamir etmesini söyler. Hancı, *oralı olmıyarak*: „Onlar sağlamdır..." dedi» («Nasreddin Hoca fıkraları», toplayan Ahmet Halit Yaşaroğlu, İstanbul, 1950, стр. 69) «Заметив, что потолки скрипят и вот-вот обвалятся, он сказал содержателю двора, что их надо починить. Содержатель двора, не внимая тому, что ему говорят, сказал: „Они крепкие..."»; «Mesele kalmadı; | Demek anlaştık, dedim; | Tuttum yükü, yükledim. | Ya borcun? dedim; *oralı olmadı*» (Orhan Veli Kanık, указ. соч., стр. 61) «Вопрос исчерпан, стало быть договорились, — сказал я, схватил вязанку дров, взвалил ему на плечи. — Ну, давай обещанное! — сказал я. Он сделал вид, что сказанное к нему не относится»; «Ama kimse *oralı olmayınca* | Pek hiddetlenir Hoca» (Orhan Veli Kanık, указ. соч., стр. 47) «Так как никто не обращает внимания, ходжа очень сердится»; «İşin içinde bir anormallik var ama, ben hiç *oralı olmadan*, polis yanıma döner dönmez, hazırladığım parayı uzattım» (Fahri Erdinç, Hakaret, в кн.: Л. Н. Старостов, Е. В. Сумин, указ. соч., стр. 350) «В этом было что-то неладное. И все же, когда полицейский вернулся, я, сделав вид, что ничего не слышал, протянул ему приготовленные деньги».

---

[16] См. еще другие примеры в оригинале: стр. 39_3 (в перев. 57_{17}), стр. 84_{35-36} (101_{34}), стр. 173_{14} (185_{32}), стр. 304_8 (306_{22-23}). Встречающееся на стр. 182_{39} интересующее нас выражение переведено (194_{38}) правильно.

[17] Именно такой перевод дается в следующих словарях: Fritz Heuser, İlhami Şevket, Türkçe-Almanca lûgat, İstanbul, 1931, стр. 313; L. Bonelli, указ. соч., стр. 281; «Türkçe sözlük», Türk Dil Kurumu Lûgat Kolu çalışmalariyle bazırlanmıştır, İstanbul, 1945, стр. 451; H. C. Hony, указ. соч., стр. 263; «Resimli yeni lûgat ve ansiklopedi (Ansiklopedik sözlük)», fasc. 43, İstanbul, 1950, стр. 2063.

Сюда же относятся и такие случаи, как, например: «Ahmet *oralı değil* göründü» (Fahri Erdinç, Alinin biri, Sofya, 1958, стр. 210) «Казалось, что Ахмед не слышал» (дословно: «Ахмед казался нетамошним»). Ср. *oralarda olmamak* «не замечать, не догадываться, оставаться безразличными»: «Bizimki hâlâ oralarda değil»[18] «Моя половина все еще не догадывается».

4. Şunun şurası

В турецком языке наряду с обычными формами *burası* «это место», *orası* «то место» и *şurası* «вот это место», «вон то место» изредка встречаются также плеонастические формы *bunun burası*, *onun orası* и *şunun şurası*, характерные для просторечия. Наиболее интересной из этих плеонастических форм является, безусловно, последняя, так как ее значение устанавливается с большим трудом.

Попытки раскрыть значение выражения *şunun şurası* содержатся, во-первых, в турецком толковом словаре и, во-вторых, в турецко-английском словаре Г. Ч. Хони (в обоих словарях оно рассматривается в словарной статье на местоимение *şu* «вот этот», «вон тот»). В первом случае рассматриваемый фразеологизм толкуется посредством словосочетания *şu önümüz* «вот это, что перед нами» с указанием на то, что он имеет уничижительный оттенок[19]. Во втором словаре указывается, что этот фразеологизм «употребляется, чтобы подчеркнуть короткий промежуток времени»[20]. Однако в обоих словарях при этом даже не упоминается ни о плеоназме, ни о причинах или истоках столь необычных значений этой формы. Без этого же невозможно по-настоящему понять своеобразие формы, в которой, как в зеркале, отразились значения производящей основы *şura* «вот это место», «вон то место».

Из общеизвестного значения указания на близко расположенное место у имени *şura* развилось более узкое значение ограничительного характера, которое в наиболее отчетливых случаях раскрывается по-русски посредством эквивалентов «только», «всего-навсего». Например: «...*şurda* bi(r) zulumatımız var: bir ejderha dadandı pınarımıza. Su vermiyor. Susuzluktan bağrımız yandı» (Martti Räsänen, Türkische Sprachproben aus Mittel-Anatolien, II, «Studia orientalia» vol. VI, 2, 1936, стр. 50)«...у нас только одно мучение: дракон повадился ходить к нашему источнику. Не дает воды. От этого безводья у нас сожгло внутренности».

Эту семантику полностью унаследовала наша плеонастическая форма. Примеры; «*Şunun şurası* iki adamlık yer» (Из устной речи) «У нас места только на два человека»; «*Şunun şurasında* gün görmüş üç beş kişiyiz (Ziya Yamaç, Kasap Ekrem, в кн. «Türk hikâyeleri», Sofya, 1956, стр. 195) «Нас всего лишь несколько человек с жизненным опытом»; «Bayramı Koca Osman kadar Kerimoğlu da dört gözle bekliyordu. *Şunun şurasında* ne kaldı» (Yaşar Kemal, указ. соч., стр. 340) «Как и Коджа Осман, Керимоглу с нетерпением ждал праздника. Ничего другого ему не оставалось».

Иногда имя *şura* указывает на близость действия к моменту речи, или, как выражается Г. Ч. Хони, на «короткий промежуток времени», т. е. имеет значение «только», «всего-навсего», «скоро». Примеры: «*Şurda* iki ayımız daha kaldı» (Nazım Hikmet, Kafatası, [Istanbul], 1932, стр. 56) «Нам остается еще только два месяца»; «*Şurda* kırk gün bir cezam kaldı» (Orhan Kemal, Ekmek, sabun ve aşk, в кн. «Ekmek kavgası», стр. 28)

---

[18] См. «Resimli yeni lûgat ve ansiklopedi», стр. 2063.
[19] См. «Türkçe sözlük», 3-ncü baskı, стр. 725.
[20] Н. С. Нопу, указ. соч., стр. 320.

«Мне осталось отбыть всего-навсего сорок дней наказания»; «*Surda* yaz geliyor» (Mahmut Makal, Bizim köy, İkinci basılış, İstanbul, 1950, стр. 99) «Скоро наступает лето».

Это значение полностью удержалось и в рассматриваемой форме. Примеры: «*Şunun şurasında* geleli ne kadar oldu „It's only a very short time since he came here"» (H. C. Hony, указ. соч., стр. 320); «*Şunun şurasında* kaç yıllık ömrümüz kaldı» (Из устной речи) «Нам недолго осталось жить»; «*Şunun şurasında* kaç günlük ömrün var, a sersem!» (Aziz Nesin, Kendi kendimle, в его кн. «Medeniyetin yedek parçası», стр. 57—58) «Ведь тебе, дурак, немного дней осталось жить!..»; «... eh, zaten *şunun şurasında* fabrikanın bütün bütün bitmesine ne kalmıştı ki...» (Kenan Hulûsi, Dörthanların kulaksızı, в кн. «Türk hikâyeleri», стр. 103) «... да ведь, собственно говоря, уже совсем немного осталось до полного окончания [строительства] фабрики...».

При употреблении имени *şura* говорящий не только указывает на соответствующее место, но часто высказывает также свое субъективное — чаще отрицательное — отношение к этому месту. Например: «*Surda* senin çektiğini biz bilirik (Mahmut Makal, указ. соч., стр. 131) «Мы знаем, что ты перенес тут» (= в деревне, где собеседник проработал два года в крайне тяжелых условиях.— *Ф. А.*).

Это значение субъективной оценки сохранилось и в фразеологизме *şunun şurası*. Примеры: «Üç gündür anamız ağladı *şunun şurasında*» (Reşat Nuri [Güntekin], Asker dönüşü, в кн.: İbrahim Necmi, Türkçe gramer, İkinci kısım, İstanbul, 1929, стр. 235) «Вот уже три дня, как мы мучаемся тут» (=на станции, где безнадежно застрял их эшелон.—*Ф. А*); «Biz *şunun şurasında* zor kıt geçinelim diyok; o da gidip bizi ilezir idiyor ilâlemin içinde» (Mahmut Makal, указ. соч., стр. 84) «Мы думаем, как бы нам тут (= в деревне, где они живут в очень тяжелых условиях.— *Ф. А.*) выжить, а он еще ходит и позорит нас перед всем миром». Точно так же в предложении «Bakar mısın efendim, *şunun şurasına* bir adam oturmuş, kendi kendine ne güzel zevk ediyor» (В. Радлов, Образцы народной литературы тюркских племен, ч. VIII, СПб., 1899, стр. 328) рассматриваемая форма указывает не столько на место, где происходит действие, сколько на квалификацию этого действия со стороны говорящего. В пользу такого понимания фразы говорит и обстановка речи: застав Карагёза в тот самый момент, когда тот читает газету, сидя в небрежной позе на скамейке, Хаджейват с этими словами обращается к зрителям, как бы призывая их в свидетели: «Посмотрите-ка, сидит себе (*şunun şurasına oturmuş*) человек и сам с собой забавляется!».

Таким образом, все, что составляет специфику плеонастической формы *şunun şurası*, так или иначе восходит к тому или иному периферийному значению производящей основы *şura*.

№ 2 1960

Г. М. КЕРТ

НЕКОТОРЫЕ СААМСКИЕ ТОПОНИМИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ КАРЕЛЬСКОЙ АССР

Вопрос о том, откуда произошли саамы, в настоящее время нельзя считать окончательно решенным[1]. Хотя саамы в языковом отношении принадлежат к финно-угорской семье языков, антропологически они очень сильно отличаются от народов, входящих в эту семью. Согласно сохранившимся весьма скудным историческим сведениям, ранее саамы занимали территорию значительно южнее их теперешнего местопребывания.

Об этом свидетельствует, например, относящееся к XIV в. завещание Лазаря Муромского — основателя Муромского монастыря (25 верст к югу от Бесова-носа, на берегу Онежского озера): «А живущія тогда именовались около озера Онега „лопяне“ и „самоядь“ — страшливые сыроядцы близ места сего живяху...много скорби и біенія и раны претерпех от сих зверообразных мужей»[2].

Из первых сведений о саамах Кольского полуострова «самым древним свидетельством является „рапорт“ норвежского морехода и морского зверопромышленника Оттара, относящийся к концу IX в.», где рассказывается о том, как, направляясь из Тромсе в Биармию, через несколько дней плавания на восток Оттар и его люди «повернули к югу и по прошествии нескольких дней, все время имея берег на правом борту, вошли в устье большой реки, отделявшей страну биармийцев от страны „терфиннов“. „Терфинны“, или „трефинны“,— лесные финны — название лопарей. Это название давно известно скандинавам, но в нашем обиходе оно отразилось лишь в древнем названии Тре или Терь, от которого доныне уцелело название „Терский берег“. Судя по точному указанию Оттара что берег у него все время был на правом борту, можно безошибочно заключить, что Оттар вошел в горло Белого моря, обогнул весь Терский берег и зашел в устье реки Варзуги, доселе считающейся границей Терского берега»[3]. О пребывании саамов южнее, в частности на территории Карельской АССР, говорят также этнонимические названия на ее территории. Так, некоторые группы карел называют себя, а иногда — своих северных соседей «lappi». Д. В. Бубрих, подробно исследовавший этнонимику Карелии, писал: «...население Южной Карелии назвало территорию „Лопских погостов“ lappi, а затем прикрепило это название к населению этой территории, не считаясь с изменениями в его этническом составе. А этнический его состав обновился, ибо с некоторых пор тут появилось совсем

---

[1] В науке имеется несколько точек зрения на происхождение саамов и их языка. Однако все ученые приходят к единому мнению, что саамы восприняли финно-угорскую речь во время своего соприкосновения с финно-уграми. Подробнее см. нашу статью «Значение саамского языка для финно-угорского языкознания» в кн.«Прибалтийско-финское языкознание», Петрозаводск, 1958.

[2] Цит. по кн.: В. Ягодкин, Из прошлого Олонецкого края, ч. 1, Петрозаводск, 1918, стр. 10.

[3] В. Алымов, Лопари Кольского полуострова, «Докл. и сообщ. [Мурманского об-ва краеведения (Об-ва изучения Мурманского края)]», вып. 1, 1927, стр. 10—11.

не лопское, а прибалтийско-финское население. С появлением последнего кочевья саамов стали начинаться севернее...»[4].

При недостаточности исторических данных топонимические названия, этимологизирующиеся посредством одного языка и не находящие соответствий в другом, могут явиться надежным свидетельством былого расселения народа, чьи названия закрепились за этими местами. Однако при всей ценности топонимического материала (конкретная соотнесенность названия с предметом, местностью; наличие соответствий топонимам в конкретной лексике языка; повторяемость топонимов и пр.) оперирование им зачастую бывает затруднено, поскольку в ряде случаев топонимические названия, если они сохранились, сильно искажаются по сравнению с первоначальным их звучанием, так как пришельцы, слыша определенный фонетический комплекс, зачастую не знают его истинного значения. В тех же случаях, когда перевод топонимического названия известен, возникает калька на языке пришельцев, которая и вытесняет старое название. В некоторых случаях прежние топонимические названия контаминируются с близкими по звучанию словами нового населения. Все эти причины создают трудности при исследовании топонимов.

Проживая ранее значительно южнее своего настоящего местопребывания на территории Карелии, саамы оставили следы в топонимических названиях. В некоторых случаях исторические памятники прямо указывают на связь того или иного географического названия, этимологизирующегося при помощи саамского языка, с пребыванием в этом месте саамов. Так, в одном из ранних русских исторических памятников XVI в. «Отдельная запись Семена Юренева Соловецкому монастырю на земли в Кемской и Подужемской волостях» говорится: «Да на Кемской ж земли жили лопари крещеные и некрещеные лукозерские по лешим озером, на Топоозере и в Кистенги да на Крито озере да в Ведиле озере и на Вокше озере и на Киз реки и в Шолопоньи и в Кургиевои и на Рог озере и на Ульмо озере и на Муром озере и на Пильсо озере и на Вонго озере и на Керет озере и на Воронье озере и на Кялго озере и на Кузем озере // и по иным лешим озерам, 18 дворцов да 20 вежь, а людей в них 42 человека, а луков 20 с полулуком. И те лопские дворцы и вежи и луки все запустели от немецкие войны, а лопари побиты и в полон поиманы, а иные розно розбрелись»[5]. Здесь *Топоозеро* (в другом месте — *Топозеро*; по-карельски *Tuoppajärvi*), вероятно, восходит к саам. (кильд. диалект) *tohp* (мн. число *topp*) «ножны» (ср.: фин. *tuoppa* «ножны» — саам. *toxp*; фин. *kuoppa* «яма» — саам. *kob'p'*; фин. *Kuollanniemi* «Кольский полуостров» — саам. *kolneg'k'*). *Керетозеро*, по-видимому, восходит к саам. (кильд. диалект) *k'er'es'*, *k'er'et'* «кережка (саамские сани в виде лодки)».

В Карелии встречаются также названия, идентичные с топонимическими названиями Кольского полуострова и Финляндии. Правда, не все эти названия этимологизируются при помощи лексики саамского языка, но уже данный факт позволяет сделать предположение, что население, оставившее эти названия на территории Карелии, Финляндии и Кольского полуострова, было либо единым по своему языку, либо близко родственным. Часть таких названий является по своему происхождению карельской, что может быть объяснено наличием контактов между карелами и саамами в очень отдаленную эпоху («железный век»). Т. Итконен, например, приводит значительное количество заимствований из карельского языка в саамском языке, относящихся к самым различным сторонам жизни народа, а также топонимические названия Кольского полуострова, заимствованные из карельского языка; например, *Akkala*, *Hirva-*

[4] Д. В. Бубрих, Из этнонимики Карелии, «Уч. зап. [ЛГУ]», № 105. Серия востоковедч. наук, вып. 2, 1948, стр. 127.

[5] «Материалы по истории Карелии XII—XVI вв.», Петрозаводск, 1941, стр. 325.

sjoki, *Hirvitunturi*, *Imantero* (русск. *Имандра*), *Maanselkä* (русск. *Масельга*), *Niva*, *Ristikenttä*, *Turja* (русск. *Тер*) и др.[6].

Известная часть таких общих географических названий могла быть и иного происхождения. Так, например, по мнению Я. Калимы, названия *Шелтозеро* (озера с таким названием имеются в Карелии и на Кольском п-ове) и *Шокша* оставлены исчезнувшим финно-угорским племенем мерь (из них название *Шокша*, как считает ученый, было принесено русскими)[7]. Безусловно, бóльшая часть топонимических названий Карелии является по происхождению прибалтийско-финской[8].

Значительную часть топонимических названий Карелии составляют названия, произошедшие от русских имен собственных[9]; из них некоторые выступают в саамской огласовке, например: *Sirkiä...* < karj. rn. *Sirkei*[10]; ср. саам. *S'ir'k'a* (уменьшит. *S'ir'k'ja*)< русск. *Сергей*; *T'apantelannurmed* < karj. rn. *st'opa(na)*, *t'apa(na)*, *t'epo(i)*, *teppo(i)*, *t'eppu*[11]; ср. саам. *T'ahpan* (уменьшит. *T'apa*) < русск. *Степан*.

В настоящей статье мы даем некоторые топонимические названия, находящие соответствия в лексике саамского языка, но не одинаково точно этимологизирующиеся при помощи этой лексики.

Учитывая данные исследований Ю. Тойвонена, согласно которым только одна треть лексического состава саамского языка имеет субстратный характер (т. е. не имеет соответствий в лексике других финно-угорских языков), две же остальные имеют соответствия в других финно-угорских языках и в первую очередь в прибалтийско-финских, следует признать самыми достоверными этимологии, базирующиеся на этой субстратной лексике[12].

1. Топонимические названия Карелии, имеющие соответствия в лексике диалектов саамского языка.

Авнозеро — Калевальск. р-н (КО), *Авнипорог* — Кемьск. р-н (СНМ); ср. *avn* (К) «уключина с веревкой», *avnlamc*, *avnnur'r'* (К) «веревка у уключины».

Айнозеро (Анкозеро) — Пудожск. р-н (КО); ср. *ain* (И) «морской заяц».

Ваджига — Ленингр. обл.[13]; ср. *vaadž* (К) «важенка, олень-самка»; *вааджь* (К, Б, Т) «важенка, олень-самка» (ГСКП).

Вуонтеленъярви — Суоярвск. р-н (КО); ср. *vun'n'al* (К) «вонделка (олениха молодая)».

Ерковщина — Заонежск. р-н (СНМ); ср. *jer'k'* (К) «олень-бык», *jerk* (К) «погода».

---

[6] T. I. Itkonen, Karjalaiset ja Kuolan-lappi, «Kalevalaseuran vuosikirja», № 22 (1942), Helsinki, 1943, стр. 46.

[7] J. Kalima, Äänisen tienoon paikannimiä, «Virittäjä», vih. 3—4, 1941, стр. 326—327.

[8] См. об этом: J. Kalima, Itä-Karjalan paikannimiä, «Virittäjä», vih. 2, 1942, стр. 163; V. Ruoppila, Ylisen Syvärin suomalaisperäisiä paikannimiä, «Virittäjä», vih. 1, 1943, стр. 78.

[9] См. V. Nissilä, Venäläisperäisiä henkilönnimiä Itä-Karjalan paikannimistössä, «Virittäjä», v. 1, 1943, стр. 46; его же, Lisiä venäläisperäisiin henkilönnimiin Itä-Karjalan paikannimistössä, Helsinki, 1945.

[10] V. Nissilä, Venäläisperäisiä..., стр. 73, 74.

[11] Его же, Lisiä.., стр. 36.

[12] В качестве материалов для работы нами использованы: С. В. Григорьев и Г. Л. Грицевская, Каталог озер Карело-Финской ССР и ее гидрографического района (рукопись; далее обозначается условно — КО); «Список населенных мест (По материалам переписи населения 1933 г.)» в кн. «Автономная Карельская советская социалистическая республика», Петрозаводск, 1935 (сокращенно — СНМ); «Географический словарь Кольского полуострова», т. 1, Л., 1939 (сокращенно — ГСКП). Для диалектов и говоров употребляются следующие условные сокращения: кильдинский диалект — К, бабинский говор — Б, екостровский — Е, нотозеоский диалект — Н, иоканьгский — И, терский говор — Т.

[13] Название заимствовано из статьи: Н. И. Богданов, К истории вепсов (По материалам топонимики), «Изв. Карело-Финск. филиала АН СССР», № 2, Петрозаводск, 1951, стр. 31.

Кереть — Лоухск. р-н (СНМ); ср. *kieres*, *k'er'et'*, *k'eres'* (К) «кережка».

Киндомыс — Кондопожск. р-н (СНМ), *Киндожское* — Пудожск. р-н (КО); ср. *kint* (К) «киндище; место, где жили», *kint* (И) «трава»; ср. также *кинд* (К), *киндыш* (Т) «киндище» (ГСКП).

Курряварака — Тунгудск. р-н (СНМ); ср. *kurja* (И) «заяц», *курр* (Е) «борозда в горах» (ГСКП).

Лояницы — Олонецк. р-н (СНМ), *Лоянское озеро* — Олонецк. р-н (КО); *лой* (К) «сильный, крепкий» (ГСКП).

Маньга — Пряжинск. р-н (СНМ), *Маньостров* — Сорокск. р-н (СНМ); ср. *man'n'* (К) «невестка», *ман* (Т) «проточное озерко, плес» (ГСКП).

Навдозеро — Пудожск. р-н (КО); ср. *navd'* (К) «волк, зверь».

Нальозеро — Лоухск. р-н (КО); ср. *nal'l'* (К) «вид, образ».

Нюнасгора[14] — Олонецк. р-н (СНМ); ср. *пи'п'* (К) «нос;» *нюн* (Е, К), *нюнне* (Т), *нюннь* (Е, К), *нюоннь* (Н) «нос, горный отрог, выступ» (ГСКП).

Нюхчозеро — Беломорск. р-н (КО); ср. *n'uhč* (К) «лебедь».

Нельмозеро — Пудожск. р-н (КО), *Нялмозеро* (Няльмозеро) — Ведлозерск. р-н (КО), *Нильмогуба* — Кестеньгск. р-н (СНМ), *Нялмнаволок* — Пряжинск. р-н (СНМ), *Нялмозеро* — Пряжинск. р-н (СНМ); ср. *n'al'm* (К, И, Т) «пасть, глотка».

Пизьмагуба — Ухтинск. р-н (СНМ), *Пизмярви* — Калевальск. р-н; ср. *p'ied'z'* (К) «сосна».

Пилозеро — Беломорск. р-н (КО), *Пилозеро* — Кондопожск. р-н (КО); ср. *pill* (К) «мачта».

Равиярви — Петровск. р-н (КО), *Равангора* — Пряжинск. р-н (СНМ); ср. *ravv* (К) «кулик».

Ройкнаволок — Петровск. р-н (СНМ) ср. *rajk*, *rojk* (К) «дыра, отверстие»; *rojkata* (фин.) «хлопнуть (рукой)».

Суна — Олонецк. р-н (СНМ), *Сунский совхоз* — Олонецк. р-н (СНМ), *Суноозеро* — Медвежегорск. р-н (КО), *Сундозеро* (Сунозеро) — Петровск. р-н (КО); ср. *sunn* (К) «нитка, жила»; *sund'* (К) «темя».

Тихтозеро — Ухтинск. р-н (СНМ), *Тихтозеро* — Калевальск. р-н (КО); ср. *tiht* (К) «знак, метка».

Толлорека — Ухтинск. р-н (СНМ), *Толвуй* — Заонежск. р-н (СНМ); ср. *toll* (К) «огонь»; *vuɛj* (К) «ручей».

Чалкосельга — Пряжинск. р-н (СНМ), *Челкозеро* — Ругозерск. р-н (СНМ); ср. *čolk* (К) «слюна», *čillk čad'z'* «чистая вода».

Чалозеро — Сорокск. р-н (СНМ); ср. *čal'l'ed* (И) «писать», *č'ola* (К) «позвоночник».

Чалмозеро — Медвежегорск. р-н (КО); ср. *čal'l'm* (К) «глаз».

Чаноозеро — Кондопожск. р-н (КО); ср. *čann* (К) «чёрт».

Чирнозеро — Заонежск. р-н (СНМ); ср. *čirn* (К) «крупный песок, галька».

Шенд-ручей — Ленингр. обл. [15]; ср. *šɛndɛ* (К) «стать, расти».

Шижня — Сорокск. р-н (СНМ); ср. *šiž'n'* (И) «мозг»; *šɛššɛn'* (К) «шкура, с которой снята шерсть».

Юдозеро (Удозеро) — Петровск. р-н (КО); ср. *judd* (К) «блюдце».

2. Топонимические названия Карелии, имеющие соответствия в топонимике Кольского полуострова и среди саамских топонимических названий Финляндии.

Алозеро, *Ало* — Карельск. АССР; *Аллуайв* — Мурманск. обл.; ср. *allvuɛjv* (К) «высокая голова» (о горе), *алл* (Т, К), *элл* (К) «высокий» (ГСКП); ср. также карельск. *ala* «нижний».

Алинен, *Лиусярви* — Карельск. АССР; *Aalisjärvi*, *A.-joki* — Финляндия.

---

[14] В карельском произношении — *n'uon'as* (по сообщению А. С. Жербина).
[15] См. Н. И. Богданов, указ. соч., стр. 31.

ǟli (<*älle*) (lpI.) «кол у сети в воде (ставень)» (Itk. I) [16]; *al'l'* (К) «неводной ставень»; ср. также карел. *alinen* «нижний».

Ангозеро — Карельск. АССР, *Ангозеро* — Мурманск. обл.; ср. *анг* (Т), *ann* (Т) «склон возвышенности» (ГСКП); *ангесь* (К), *аггесь* (М) «сооружение для ловли диких оленей» (ГСКП).

Аськиярви — Карельск. АССР, *Aska*, *Askanjoki*, *A.-selkä* — Финляндия; ср. *aske* (lpN) «подол, лоно» (Itk. I).

Ачаламби — Карельск. АССР, *Ачериок* — Мурманск. обл.; *Aatsakursu*, *A(a)tsinki*, *A.-järvi*, *Atsinlampi* — Финляндия; ср. *ачче* (lpN) «отец» (Itk. I); ср. *ачча* (К) «отец».

Варацкое, *Варозеро* — Карельск. АССР; *Vaara*, *Vaaran kangas* — Финляндия (Itk. II); ср. *var'r'* (К) «лес», *varra* (К) «путь».

Ватаярви, *Ватнаволок* — Карельск. АССР; *Вадозеро* — Мурманск. обл.; ср. *ватт* (Т) «холм» (ГСКП).

Вирма — Карельск. АССР, *Вирма* — Мурманск. обл.; ср. *virma* (К) «рыболовная сетка».

Ениярви, *Еноярви* — Карельск. АССР; *Ена*, *Еноозеро* — Мурманск. обл.; ср. *jenne* (К) «много», *jennij* (N) «большой».

Илемсельга — Карельск. АССР, пос. *Ильма* — Мурманск. обл.

Иматозеро, *Иматярви* — Карельск. АССР; *Иматра* — Мурманск. обл.

Ихи, *Ихиярви* — Карельск. АССР, волость *Ii*, *Iijoki*, *Iijärvi* — Финляндия; ср. *igja* (lpN), *ijja* «ночь» (Itk. I).

Карнис, *Карнисозеро* — Карельск. АССР; *Kaaranes,K .-lahti* — Финляндия, *garanas* (lpN) «ворон» (Itk. I).

Ковдозеро — Карельск. АССР, *Ковдозеро* — Мурманск. обл.; дер. *Kouta*, *K.-joki* — Финляндия < *guovddo* «центр» (Itk. I).

Колозеро — Карельск. АССР, *Колозеро* — Мурманск. обл.

Кондозеро — Карельск. АССР, *Нижняя Конда* — Мурманск. обл., *Kontajärvi*, *Kontivaara*, *Kontajoki* — Финляндия; ср. *kondokk* (lpK) «земля для оленей», «ловля оленей» (Itk. I).

Кувжезеро — Карельск. АССР, *Кувчавр* — Мурманск. обл.; ср. *кувч* (К, Е, Н) «кумжа» (рыба) (ГСКП).

Кудозеро — Карельск. АССР, *Кудозеро* — Мурманск. обл. Возможно, от карел. *kudo* «метание икры», «сооружение в озере для пуска мережи».

Кялькеярви, *Кяльгозеро* — Карельск. АССР; *Kälkä*, *Kälkäjärvi*, *Kälkäjoki* — Финляндия; ср. *keälkan* (lpV) «бор» (Itk. II).

Кяткиозеро, *Кяткаярви* — Карельск. АССР; *Kätka*, *K.-joki* — Финляндия; ср. *goetke* (lpN), *kätki* (lpI) «росомаха» или, как объясняет К. Виклунд, *goetge* (lp) «камень» (Itk. I); ср. *kied'k* (К) (дат.-направит. падеж *k'atka*) «камень», *k'et'k* (К) «росомаха».

Лива, *Ливо* — Карельск. АССР; *Ливозеро* — Мурманск. обл.; *Liviöjärvi*, *Livojoki*— Финляндия; ср. *livva* (lpN) «отдых оленей» (Itk. I); ср. также карел. *liiva* «тина в воде».

Ловезеро, *Лувозеро*— Карельск. АССР, *Ловозеро* — Мурманск. обл.; по-саамски звучит *luujavr'*.

Лузинга — Карельск. АССР, *Лузенга* — Мурманск. обл.: ср. *luss* (К) (мн. число *luuz*) «семга».

Лумбозеро — Карельск. АССР, *Лумбовская* — Мурманск. обл.; ср. *луамб* (Е) «озерко», *луббол* (Н) «проточное озерко», *лумбал* (Е) «проточное озерко» (ГСКП). А. Попов название *Луматярви* или *Лумбозеро* связывает со словом *лумба*, означающим в местном русском говоре Олонецкого района «воду поверх льда, второй слой льда, смерзшийся слой снега» [17].

[16] Материал для сравнения по топонимике Финляндии заимствован нами из следующих статей: T. Itkonen, Lappalaisperäisiä paikannimiä suomenkielen alueella, «Virittäjä», № 1—2, 1920 (условн. сокращение — Itk. I); его же, Lisiä Keski-ja Etelä-Suomen lappalaisperäiseen paikannimistöön, «Virittäjä», № 1, 1926 (условн. сокращение — Itk. II).

[17] А. И. Попов, Материалы по топонимике Карелии, «Советское финно-угроведение», V, Петрозаводск, 1949, стр. 62—63.

Мунозеро — Карельск. АССР, *Мунозеро* — Мурманск. обл.; ср. *mun'n'* (К) «мороз».

Мурдоярви, *Мурдо* — Карельск. АССР; *Мурдаиок* — Мурманск. обл.; ср. *murtɛ* (К) «ломать». Ср. также карельск. *murd* «излом».

Нивасозеро — Карельск. АССР, *Нива* — Мурманск. обл.; *Niva*, *N.-joki* — Финляндия; по-видимому, из фин. *niva* «быстрина»; слово встречается в северных диалектах Финляндии и, очевидно, представляет собой заимствование из саамского *njavve* с тем же значением (Itk. I).

Нирка — Карельск. АССР, *Nirro*, *N.-järvi* — Финляндия; ср. *njirro*, *nirro* (lpN), *ńirro* (lpI) «важенка» (Itk. I); ср. также *nirr* (К) «щека».

Норваярви, *Норвиярви* — Карельск. АССР; *Norvajoki*, *N.-järvi* —Финляндия, из *Norvi-* (lpR), *N.-jaur*; ср. *noarvve* (lp.N) «лист; поперечный разрез» (Itk. I).

Нурдозеро — Карельск. АССР, *Nuort(t)ijärvi*, *N.-joki* — Финляндия; из *Nuorttejavre* (lpN) «северное озеро» (Itk. I); ср. *нурт* (Б), *нуртэ* (К), *нурьтий* (Б) «восток» (ГСКП).

Онузярви, *Онисма* — Карельск. АССР; гора *Онос* — Мурманск. обл.

Охта, *Охтанярви* — Карельск. АССР; *Охта-Конда* — Мурманск. обл.; ср. *охт* (Е) «туча» (ГСКП).

Пайве, *Пайвозеро*, *Пай* — Карельск. АССР; *Пайуайв* — Мурманск. обл.; ср. *vuɛjv* (К) «голова»; *пай-варрь* (К) «запад» (ГСКП). В. Руоппила считает название *Пай* происходящим от финск. *paju* «ива»[18].

Панозеро, *Панаярви* — Карельск. АССР; *Пана* — Мурманск. обл.; ср. *pan'n'* (К) «зуб».

Пиньгозеро — Карельск. АССР, *Пиноозеро* — Мурманск. обл.; ср. *pink* (К) «ветер».

Поньгома (*Пиньгозеро*, *Пангозеро*), *Поннока* — Карельск. АССР; *Поной*, *Понэявр* — Мурманск. обл.

Порозеро — Карельск. АССР, *Порявр* — Мурманск. обл.; ср. *porrɛ* (К) «есть, кушать».

Пувозеро — Карельск. АССР, *Пувозеро* — Мурманск. обл.

Пулозеро — Карельск. АССР, *Пулозеро* — Мурманск. обл.; ср. *pull* (К) «поплавок».

Рапоярви, *Рапозеро* — Карельск. АССР; *Рапявр* — Мурманск. обл.

Ровдозеро — Карельск. АССР, *Ровтявр* — Мурманск. обл.

Сайозеро, *Саезеро*, *Сайнаволок* — Карельск. АССР; *Сайгозеро* — Мурманск. обл.; ср. *sajj* (К) «место».

Севдозеро — Карельск. АССР, *Сейдозеро* — Мурманск. обл.; ср. во всех диалектах *сейд*, *сеит* «священный камень; каменное божество — предмет древнего культа» (ГСКП).

Сулеярви, *Суло*, *Сулой* — Карельск. АССР; *Сулейпахк* — Мурманск. обл.; ср. *suell* (мн. число *sullaj*) (К) «остров».

Туломозеро, *Туломозерский* завод — Карельск. АССР; *Тулома* — Мурманск. обл.

Харлово, *Харловская* — Карельск. АССР; *Харловка* — Мурманск. обл. В. Ниссиля связывает с русск. *Харло*, *Харлан* < ? *Харлампий* через посредство карельск. *Harle*, *Harlo(i)*[19].

Чаронаволоцкое — Карельск. АССР, *Чарозеро* — Мурманск. обл.; ср. *čiarr* (К) «тундра».

Челмозеро — Карельск. АССР, *Челмозеро* — Мурманск. обл.; ср. *чалм* (К, Е, Б) «пролив, салма» (ГСКП). Ср. также *Челмужское* и *Челма*, которое Руоппила, как и Виклунд, считает саамским по происхождению[20].

Чудозеро, *Чудоярви*, *Чудьсельга* — Карельск. АССР; *Чудозеро* — Мурманск. обл.; ср. *čudlaj* (К, И) «чужой» (о врагах).

Чундозеро — Карельск. АССР, *Чуноозеро* — Мурманск. обл.

---

[18] V. Ruoppila, Ylisen Syvärin..., стр. 90.
[19] V. Nissilä, Venäläisperäisiä..., стр. 54.
[20] V. Ruoppila, Ylisen Syvärin..., стр. 88.

Чураламби, Чура, Чюра — Карельск. АССР; *Чурозеро* — Мурманск. обл. Ср. также карел. *čura* «сторона, бок, угол».

Шапозеро, Шапповаара, Шапнаволок, Шоба (*Шабозеро*) — Карельск. АССР; *Шапша* — Мурманск. обл.; ср. *šabb* (К) «сиг».

Шонго, Шонгоярви — Карельск. АССР; *Шоньгуй* — Мурманск. обл.

Шолтозеро — Карельск. АССР, *Шолтозеро* — Мурманск. обл.

Янь-остров — Карельск. АССР; *Янозеро* — Мурманск. обл.; ср. *jen'n'*, *janna* (К) «мать». В. Руоппила связывает название *Янручей* с *Janaoja* или *Janajoki*, Я. Калима — с русск. *Янега*[21].

3. Топонимические названия Карелии, имеющие соответствия в лексике прибалтийско-финских языков[22].

Большой Кугнаволок — Пудожск. р-н (СНМ); ср. *kug'k'* (К) «длинный большой», *kuk'is'* (И) «длинный»; *кукес* (К, Е, Н) «длинный, долгий» (ГСКП). Ср. также карел. *kuha* «судак» (карельское *h* на русской почве может передаваться через *g*).

Кукасъярви — Кестеньгск. р-н (СНМ); ср. *kukkas* (К) «длинный», *kukis'* (И) «длинный»; *кукес* (К, Е, Н) «длинный, долгий» (ГСКП). Ср. также карел. и вепск. *kukas* «горка». Т. Итконен считает *kukas-* производным от саамск. *kuhkkes* «длинный»[23].

Лухтансельга — Пряжинск. р-н (СНМ); ср. *luxt* (К) «залив», фин. *lahti*[24] «залив». Ср. также карел. *luhta* «лужа».

Орехозеро — Медвежегорск. р-н (КО); ср. *orex'* (К) «олень (самец)», ср. также карел. *orih* «мерин». В. Ниссила считает этот топоним производным от русск. *орех*[25].

Оскозеро — Пряжинск. р-н (СНМ); ср. *oskE* (К) «верить», а также карельск. *uskoa* «верить»[26].

Пельозеро — Сегежск. р-н (КО); ср. *p'elj* (К) «ухо», *p'el'l'* (К) «сторона». Ср. также карел. *pieli* «сторона, косяк».

Сула (*Сулаярви*) — Ругозерск. р-н (КО), *Сулаярви* — Петровск. р-н (КО); *ср. suEll* (мн. число *sullaj*) (К) «остров», *сулле* (К) «острова» (ГСКП). Ср. также карел. *sula* «талый».

Перечень приведенных нами топонимических названий, разумеется, не является исчерпывающим: здесь приводятся названия лишь наиболее крупных географических пунктов. Однако и этот перечень дает представление о том, что область расселения саамов находилась некогда значительно южнее. Несомненно, что детальное исследование топонимических названий поможет также в значительной степени разрешению вопроса о происхождении саамов и о их первоначальном расселении. В этой связи представляется принципиально верным фронтальное исследование топонимики северной и средней полосы Европейской части СССР[27].

Эти исследования необходимо углубить в плане нахождения возможных лексических эквивалентов по финно-угорским языкам, а также в целях дифференциации этимологизированных названий по каждому языку.

---

[21] Ruoppila, Ylisen Syvärin ., стр. 90—91.

[22] Пользуемся случаем принести благодарность М. М. Хямяляйнену за информацию по прибалтийско-финским языкам.

[23] T. I. Itkonen, Suomen lappalaiset vuoteen 1945, Porvoo — Helsinki, 1948, стр. 100.

[24] Саамскому *u* соответствует в карельском и финском языках *a*; ср. *luxt* ~ фин. *lahti* «залив», *murij* ~ *marja* «ягода», *vus's'* ~ *vasikka* «теленок», *kun'n'tE* ~ *kantaa* «нести», *kul'l'* ~ *kala* «рыба», *kuxt* ~ *kaksi* (*kahte-*) «два» и т. д.

[25] V. Nissilä, Lisiä..., стр. 31.

[26] Саамскому *o* может соответствовать карельское, финское *u*; ср. саам. *oskE* «верить» — карел. *uskoa*, саам. *toll* «огонь» — карел. *tuli*, саам. *sor'r'm* «смерть» — карел. *surma*; саам. *kol'l'* «золото» — карел. *kulta* и т. д.

[27] См. Б. А. Серебренников, Волго-окская топонимика на территории Европейской части СССР, ВЯ, 1955, № 6.

№ 2 1960

Я. Г. СУЛЕЙМАНОВ

О ЯВЛЕНИИ ОБРАТНОГО СИНГАРМОНИЗМА В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ

Явление обратного сингармонизма, при котором гласные последующего слога оказывают влияние на гласные предыдущего, встречается довольно редко. Поэтому новые факты, его иллюстрирующие, представляют собой несомненный теоретический интерес. Явление обратного сингармонизма обнаруживается, в частности, в аварском языке, где оно до сего времени никем из исследователей отмечено не было.

Изменение основы слова при процессах словоизменения и словообразования в аварском привлекало внимание большинства исследователей этого языка, однако истолковывалось оно разными учеными по-разному. П. К. Услар считал, что изменения корневых гласных в словах аварского языка не зависят от того, «падает ли или нет на них ударение»[1].

Ряд современных исследователей — И. И. Церцвадзе, Ш. И. Микаилов, М. С. Саидов[2] — придерживаются иной точки зрения, полагая, что изменения качества гласных зависят от места ударения в слове.

Для выяснения вопроса, существует ли взаимосвязь между ударением и регрессивной ассимиляцией гласных, рассмотрим ряд характерных для аварского литературного языка примеров, где сопоставляются существительные в формах единственного числа и множественного числа неограниченного количества[3]: *хеч* «копье, штык» — *хӯч-ду-л*; *щекI* «сустав» — *щӯкI-ду-л*; *къехь* «овчина» — *къӯхь-ду-л*; *бекI* «бабка, пуговица» — *бӯкI-ду-л*; *бел* «лопата» — *бӯл-ду-л*; *гел* «половник» — *гӯл-ду-л*; *лъен* «вилы» — *лъӯн-ду-л*; *лъел* «чехол» — *лъӯл-ду-л*; *квелъ* «вожжи» — *кӯлъ-ду-л*; *квен* «балка, шпала» — *кӯн-ду-л*; *хъвек* «беркут» — *хъӯк-ду-л*; *цер* «лиса» — *цӯр-ду-л*; *лъелъ* «лен» — *лъӯлъ-ду-л*; *къед* «стена» — *къӑд-а-л* (ср. *къад-а́-л* — род. падеж ед. числа); *чед* «хлеб» — *чӑд-а-л* (ср. *чад-и́-л* — род. падеж ед. числа); *тIалъе́л* «крышка» — *тIалъа́л-а-б-и*; *къватIе́л* «трещина» — *къватIа́л-а-б-и*; *рече́л* «пояс, ремень» — *рача́л-а-б-и*; *кверкъе́л* «дверная ручка» — *кверкъа́л-а-б-и*; *цIадагIел* «кочерга» — *цIадагIал-а-б-и*; *къваре́гIел* «нужда, необходимость» — *къвара́гIал-а-б-и*; *ххари́цел* «коса» — *ххари́цал-а-б-и*; *рокIе́л* «место жительства» — *рокIа́л-а-б-и*; *доргъо́ло* «дыра» — *доргъа́л-а-б-и*; *хасел* «зима» — *хаса́л-а-б-и*.

---

[1] П. К. Услар, Этнография Кавказа. Языкознание, III, Тифлис, 1889, стр. 7.

[2] И. И. Церцвадзе, Анухский диалект аварского языка, сб. «Иберийско-кавказское языковедение», II, Тбилиси, 1948, стр. 205; Ш. Микаилов, Основные фонетико-морфологические особенности чохского говора аварского языка, сб. «Языки Дагестана», вып. I, Махачкала, 1948, стр. 55; М. Саидов, Авар мацIалъул грамматика. TIоцебесеб бутIа, Махачкала, 1950 (Грамматика для 5—6 класса. Аварский язык).

[3] Аварский язык различает две категории мн. числа: мн. число ограниченного (малого или считанного) количества и мн. число неограниченного (неопределенно большого) количества. Эта особенность аварского языка еще не зафиксирована в специальной литературе.

Можно было бы продолжить список подобных примеров, но и вышеприведенный материал в достаточной мере подтверждает сформулированное П. К. Усларом 80 лет назад положение о том, что качественное изменение гласных аварского языка не зависит от места ударения в слове.

Перейдем теперь к непосредственному рассмотрению действия закона обратного сингармонизма в аварском языке[4]. В целом ряде случаев действию обратного сингармонизма подвергается гласный *и* предыдущего слога. Рассмотрим характерные примеры, в которых формы им. падежа ед. числа сопоставлены с формами им. падежа мн. числа неограниченного количества и род. падежа ед. числа соответствующих слов[5]: *къилӣ* «седло» — *къал-а́-л*, *къол-о́-л*; *жинӣ* «долото» — *жан-а́-л*, *жон-о́-л*; *хьибӣл* «бок» — *хь-ал-б-а́л*, *хь-ол-б-о́л*; *къибӣл* «корень» — *къ-ал-б-а́л*, *къ-ол-б-о́л*; *михӣр* «каток (для трамбовки)» — *мӯхр-у-л*, *мохр-о́-л*; *ри'ӣ* «лето» — *ро'о́-л* (род. падеж ед. числа); *ихх* «весна» — *охх-о́-л* (род. падеж ед. числа); *микьӣр* «персик» — *мокър-о́-л* (род. падеж ед. числа); *гIин* «ухо» — *гIӯн-ду-л*; *щинкIӣл* «копыто» — *щанкIл-а́-л* // *щункIл-ӯ-л*; *цIибӣл* «виноград» — *цI-ол-б-о́л* (род. падеж ед. числа); *нилI* «мы с вами» — *нелI-е-р*; *ниж* «мы без вас» — *неж-е́-р* и т. д.

Из приведенного материала можно видеть, что под влиянием гласных *а*, *е*, *о*, *у* последующих слогов гласный *и* предыдущих слогов переходит соответственно в *а*, *е*, *о*, *у*, причем переходы *и* > *а* и *и* > *о* осуществляются регулярно, а переходы *и* > *е*, *и* > *у* происходят нерегулярно. Но наряду с примерами, где действие обратного сингармонизма осуществляется полностью, наблюдаются, в частности в словообразовании, случаи частичного проявления закона обратного сингармонизма: *михъ* «ус» — *мéхъал*; *эргá* (< кумык. *ирга́*) «очередь». В то же время можно отметить случаи, когда закон обратного сингармонизма не проявляется; см., например, формы множественного числа ограниченного количества многих имен существительных: *цIил* «хрящ» — *цIӣл-а-л*; *гIин* «ухо» — *гIӣн-а-л*; *кIилӣкI* «серьга» — *кIилӣкI-а-л*; *михӣр* «каток (для трамбовки)» — *михӣр-а-л* и т. п.

Рассмотрим случаи, где воздействию обратного сингармонизма подвергается гласный *у* (в приводимых рядах примеров вторая форма — род. падеж за исключением последнего случая): *нуж* «вы» — *нож-о́-р*; *муч* «просо» — *моч-о́-л*; *гIус* «коренной зуб» — *гIос-о́-л*; *нус* «нож» — *нос-о́-л*; *тIутI* «муха» — *тIотI-о́-л*; *гъуд* «ложка» — *гъод-о́-л*; *гIучI* «палочка, вилка» — *гIочI-о́-л*; *рукъ* «дом» — *рокъ-о́-б* (классный местный падеж) и т. п.

Из рассмотренных примеров видно, что под влиянием гласного *о* последующего слога гласный *у* предыдущего слога регулярно переходит в *о*. Среди исключений необходимо в первую очередь отметить те же формы множественного числа ограниченного количества, например: *гIус* «зуб (коренной)» — *гIӯс-а-л*, но *гIусá́л*; *нус* «нож» — *нӯс-а-л*; *гъуд* «ложка» — *гъӯд-а-л*, но *гъуд-á́-л*; а также и формы мн. числа неограниченного количества некоторых существительных: *гIучI-á́-л* «палочки», *тIутI-á́-л* «мухи» и т. п.

Действию обратного сингармонизма подвергается также гласный *е* предыдущего слога. Например, см. формы мн. числа неограниченного количества следующих существительных: *эгъé* «пятка, каблук» — *ӭгъ-ӧу-л*; *хIетIé* «нога» — *хIатI-á́-л*; *вехъ* «пастух» — *гIухъ-б-ӣ* (*ве* > *гIу*), *гIухъ-б-ӯ-з-у-л* (род. падеж мн. числа неограниченного количества); *цер* «лиса» —

---

[4] Термин «обратный сингармонизм» впервые был предложен А. А. Реформатским.

[5] Примеры даются в следующей последовательности: имя существительное в им. падеже ед. числа, перевод на русский язык, форма им. падежа мн. числа неограниченного количества и форма род. падежа ед. числа. Этот порядок соблюдается и впредь.

цӳр-ду-л; *тIехъ* «кожа, шкура; книга» — *тIахъ-а́-л*; *гъеж* «рука» — *гъӳж-ду-л* // *гъа́ж-а-б-и*; *чед* «хлеб» — *ча́д-а-л*; *къед* «стена» — *къа́д-а-л*; *эмéн* «отец» — *умӳм-у-л*, *умӳм-у-з-у-л* (род. падеж мн. числа неограниченного количества); *эбéл* «мать» — *ул-б-ӳл*[6]; *керéн* «грудь» — *кӳрм-у-л*; *мегéж* «борода» — *мӳгж-у-л*; *щекъéр* «горло» — *щӳкър-у-л*; *мегIéр* «гора; нос» — *мӳгIр-у-л*; *гьвеӟр* «легкое» — *гьуър-ӳ-л*; *хъвек* «беркут» — *хъӳк-ду-л*; *рачéл* «пояс» — *рача́л-а-б-и*; *тIалъéл* «крышка» — *тIалъа́л-а-б-и*; *къватIéл* «трещина» — *къватIа́л-а-б-и*.

Таким образом, можно видеть, что под влиянием гласных *у*, *о*, *а*, *и* последующего слога гласный *е* предыдущего слога переходит соответственно в *у*, *о*, *а*, *и*.

Надо отметить, что *е* регулярно переходит в *у*, *о*, *а* в зависимости от того, какой из них следует в последующем слоге, и нерегулярно — в *и*. Звук *е* не подвергается действию обратного сингармонизма в тех же самых именах существительных множественного числа ограниченного количества (в скобках приводятся соответствующие слова во мн. числе неограниченного количества), например: *эгъé* «пятка, каблук» — *эгъé-й-а-л* (ср. *ӳгъ-ду-л*); *цер* «лиса» — *цéр-а-л* (ср. *цӳр-ду-л*); *тIехъ* «кожа, шкура; книга» — *тIéхъ-а-л* (ср. *тIахъ-а́-л* // *тIӳхъ-ӳ-л*); *чед* «хлеб» — *чéд-а-л* (ср. *ча́д-а-л*); *къед* «стена» — *къéд-а-л* (ср. *къа́д-а-л*); *мегIéр* «гора; нос» — *мегIéр-а-л* (ср. *мӳгIр-у-л*) и т. п.; а также в некоторых существительных, не имеющих формы мн. числа неограниченного количества: *квер* «рука» — *квéр-а-л*; *бер* «глаз» — *бéрал*; *кьер* «ряд» — *кьéр-а-л* и т. п.

Рассмотрим случаи воздействия закона обратного сингармонизма на гласный *о*: *кокó* «грудь» — *кӳк-ду-л*; *гIор* «река» — *гIур-ӳ-л* (род. падеж ед. числа); *сон* «год» — *са́н-а-л*; *хсб* «могила» — *ха́б-а-л* // *ха́б-за-л*; *сордó* «ночь» — *сард-а́-л*; *торгIó* «мячик» — *таргI-а́-л*; *нодó* «лоб» — *над-а́-л* // *над-а́-б-и*; *гIоммó* «клубок» — *гIамм-а́-л*; *хонó* «яйцо» — *хан-а́-л*; *гожó* «клык» — *гаж-а́-л*; *цIцIокó* «шкура» — *цIцIак-а́-л*; *гьокó* «арба» — *гьак-а́-л*; *гьобó* «жернов, мельница» — *гьаб-а́-л*; *горó* «комок» — *гар-а́-л*; *гьсбóл* «гость» — *гь-ал-б-а́л*; *чIортó* «тряпочка» — *чIарт-а́-л*.

Из рассмотренных примеров видно, что под влиянием гласных *у* и *а* последующих слогов гласный *о* предыдущего слога переходит соответственно в *у*, *а*; при этом переход *о* → *а* осуществляется регулярно, переход *о* → *у* — нерегулярно.

Исключения из этого правила составляют, во-первых, форма род. падежа ед. числа почти всех существительных, приведенных выше в качестве примеров (*хонó* «яйцо» — *ханúл*; *торгIó* «мячик» — *таргIúл* и т. п.); во-вторых, форма существительных мн. числа ограниченного количества: *гIор* «река» — *гIóр-а-л*; *хIор* «озеро» — *хIóр-а-л*; *торгIó* «мячик» — *торгIó-й-а-л*; *борóхъ* «змея» — *борóхъ-а-л* и т. д.

Рассмотрим также случаи качественного изменения *а* по закону обратного сингармонизма: *лIар* «рог» — *лIӳр-ду-л*; *гамá* «корабль» — *гумӳ-л*; *гIалá* «кобыла» — *гIул-ӳ-л* // *гIул-б-ú*; *гважú* «сука» — *гуж-б-ú* // *гуж-б-ӳ-л*; *гвандá* «яма» — *гӳнд-у-л* // *гунд-б-ú* // *гундú*; *хъалá* «крепость» — *хъул-б-ú* // *хъул-ú*; *ханжáр* «кинжал» — *хӳнжр-у-л*; *катáн* «марля» — *кӳтн-у-л*; *катIáри* «прическа, чуб» — *кӳтIр-у-л*; *мажáр* «ружье» — *мӳжр-у-л*; *малú* «лестница» — *мал-а́-л* // *мул-ӳ-л*; *расá* «лодка» — *рус-б-ú*; *ракъá* «кость» — *рукъ-б-ú*; *гIачIáр* «телка» — *гIӳчIр-у-л*; *жал* «они сами» — *жо-д-ó-р* // *жед-é-р*; *хъабáрча* «шуба» — *хъӳрч-у-л*; *тамáнча* «пистолет» — *тӳнч-у-л*; *лачéн* «сокол» — *лӳчн-у-л*; *хъазáхъ* «пленник, раб» — *хъӳз-хъу-л* и т. п. Из рассмотренных примеров видно, что под влиянием гласных *о* и *у* последующих слогов гласный *а* предыдущих слогов регулярно переходит в *о* и *у* в зависимости от того, какой из них следует в последующем слоге.

Все регулярные и нерегулярные звукопереходы, приведенные выше,

[6] В этом примере можно наблюдать случай ассимиляции целого слога.

можно дать в виде следующей таблицы, где пунктиром обозначены нерегулярные переходы:



Суммируя результаты приведенных выше наблюдений, можно прийти к некоторым обобщениям:

1. Действие обратного сингармонизма проявляется в следующей последовательности: во-первых, гласные второго слога ассимилируют гласные первого слога (*тIехь — тIахьа́л // тIу́хьдул — тIохьо́л*); во-вторых, гласные третьего слога ассимилируют гласные второго слога (*рачо́л — рача́лаби*); в-третьих, гласные четвертого слога ассимилируют гласные третьего (*ххари́цел — ххари́цалаби*).

2. Обратный сингармонизм действует обычно в пределах двух соседних слогов, но встречаются единичные случаи действия этого закона и на протяжении трех слогов (*диргъе́л — доргъо́ло* и т. п.).

3. Качественному изменению подвергается гласный предыдущего слога под влиянием гласного последующего слога независимо от того, находится он в ударном или безударном положении.

4. Закон обратного сингармонизма распространяется в основном на определенную группу слов, а именно на существительные третьего (или «архаического») склонения, в том числе и на иноязычные слова, которые склоняются по «архаическому» типу (*ханжа́р — хонжро́л — жу́нжрул; печь — почо́л; беле́т — бе́лтал* и т. п.); это последнее свидетельствует о том, что закон обратного сингармонизма является все еще действующим живым законом.

5. Закон обратного сингармонизма действует в упомянутой группе существительных аварского литературного языка безразлично к тому, является ли ассимилируемый гласный первичным или он появился в результате различных фонетических модуляций; этот вопрос снимается уже ввиду того обстоятельства, что выбор гласного предыдущего слога осуществляется в зависимости от качества гласного звука последующего слога (*тIехь — тIохьо́л — тIахьа́л // тIу́хьдул* и т. п.).

6. Известные совпадения звукового состава форм им. падежа имен существительных в близкородственных аварскому языках (особенно — в андо-цезских и лакско-даргинских) и форм косвенных падежей соответствующих аварских имен существительных отнюдь не опровергают, а, наоборот, подтверждают вероятность первичности в аварском именно тех основ, которые представлены в настоящее время в формах косвенных падежей и от которых, видимо, под воздействием обратного сингармонизма образовались современные формы им. падежа. Безусловно, этот вопрос нуждается в дальнейшем исследовании.

7. Наблюдения над действием обратного сингармонизма как в северноаварских, так и в южноаварских говорах показывают безосновательность мнения о том, что гласные аварского языка будто бы не дифференцированы.

8. Закон обратного сингармонизма продолжает играть большую роль не только в области аварского суффиксального словообразования [*би* «кровь», *ба-гI-а́р* «красен, красно, красна», *ба-гI-а́р-а-в* «красный»; *диргъу́* «открытость», *доргъо́ло* (< *диргъу́* + *ло*) «дыра» и т. п.], но и в области словосложения [см.: *хIетIе* «нога», *хIетI-о-л* (род. падеж) + *чIчIел* «стояние, стоянка»>*хIотIочIчIел* «стремя» и т. п.].

№ 2 1960

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

С. С. БЕЛОКРИНИЦКАЯ И ДР.*

РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ОМОНИМИИ И СПОСОБЫ ИХ РАЗЛИЧЕНИЯ ПРИ МАШИННОМ ПЕРЕВОДЕ

(На материале английского, немецкого, русского, китайского и японского языков)

Количество и качество лексико-грамматической омонимии при машинном переводе тесно и непосредственно связано с принятым в данной системе машинного перевода типом словаря. В рассматриваемых нами алгоритмах словари строятся следующим образом. Английский словарь включает существительные единственного числа в общем падеже, прилагательные и наречия в положительной степени (супплетивные степени сравнения фиксируются как самостоятельные слова), глаголы в основной форме, как и в словарях обычного типа. В китайский словарь включаются слова в их основной словарной форме. Немецкий, русский и японский словари представляют собой словари основ.

В специальных схемах различения омонимии, занимающих особое место в системе словарного анализа алгоритма машинного перевода, не рассматриваются ни случаи лексической омонимии, ни случаи грамматической омонимии, которые решаются в схемах грамматического анализа. Система правил различения омонимов, описанию которых и посвящена данная статья, рассчитана на анализ лексико-грамматической омонимии.

При описании типов лексико-грамматической омонимии мы будем классифицировать все омонимы следующим образом: 1) омонимы, распознаваемые вне контекста на основе одних окончаний, т. е. омоосновы, и 2) омонимы, для разграничения которых необходим анализ контекста, т. е. омоформы. Омонимы первого типа мы назовем с л о в а р н ы м и, омонимы второго типа — к о н т е к с т н ы м и.

Словарные омонимы

Внутри словарных омонимов мы различаем: а) омонимы, принадлежащие к разным частям речи, б) омонимы внутри одной части речи.

а) Среди омонимов разных частей речи большое место в русском и немецком языках занимают основы существительных и глаголов, как, например, в русском языке: *кос-*(*кос-*), *косить — коса*, *замен-*(*замен-*), *заменить — замена*; в немецком языке: *Frag-*(*frag-*), *die Frage — fragen*, *band-* (*Band*), *binden — der Band*. Различать омонимы данного класса помогает проверка на определенный тип окончаний, характерный для одной части речи и не характерный для другой.

Подобным же образом различается словарная омонимия «прилагательное — существительное» в русском языке (*цел — целый/цель*; *част — частный/часть* и т. д.) и омонимия «прилагательное—глагол» в немецком языке (*gleich — gleichen*).

* В написании статьи принимал участие коллектив авторов: С. С. Белокриницкая, А. А. Звонов, М. Б. Ефимов, Т. М. Николаева, Г. А. Тарасова.

При машинном переводе с японского языка на русский различаются следующие классы словарной омонимии: 1) «существительное — прилагательное»; 2) «существительное — глагол»; 3) «существительное — прилагательное — глагол»; 4) «прилагательное—наречие». Выделяемые нами классы омонимии не находят своего отражения в традиционной японской грамматике, которая предполагает наличие в японском языке двух основных частей речи: «тайгэн» и «ёгэн» — «имён» и «предикатов».

Особое место занимает разграничение омонимов, у которых совпадают основа первого слова и все второе слово целиком.

б) Внутри о д н о й части речи омонимия основ различается также путем анализа конкретных окончаний, возможных для одного грамматического типа и невозможных для другого. Это относится, в частности, к омонимии существительных, принадлежащих к разным склонениям и совпадающих в словаре в одной словарной основе в русском языке (*ос-/оса—ось*) или к видовой омонимии внутри одного глагола (*прида-/придам — придаю*).

Конкретная работа по разграничению всех описанных выше типов омонимии проводится на основе особых словарных помет, которыми заранее снабжается каждая основа с потенциальной омонимией. В общей системе алгоритмов машинного перевода разграничение словарных омонимов производится непосредственно после нахождения данной основы в словаре, т. е. после обработки введенного текста схемой «Отбрасывания окончаний».

Контекстная омонимия

Под контекстной омонимией мы понимаем прежде всего конверсионную омонимию. Выяснение и разграничение контекстной омонимии проводится в основном путем анализа структуры всего предложения или посредством анализа отдельных словосочетаний. Необходимо учитывать, что цель этого анализа — не получение перевода омонимичных форм, а выработка для анализируемого слова признака отнесенности к той или иной части речи. Так, в английском языке выделяются пять основных классов конверсионных омонимов: «глагол — существительное» (класс I), «существительное — прилагательное» (класс II), «глагол — прилагательное» (класс III), «прилагательное — наречие» (класс IV) и «предлог — наречие» (класс V). Бедность морфологического оформления слова в английском языке лишь в незначительной степени ориентирует нас на морфологический анализ при различении омонимов; поэтому первостепенное значение приобретает здесь синтаксический анализ при некотором использовании конкретно-лексического анализа контекста. Группа правил по различению омонимов построена на совокупности использования принципов морфологического и синтаксического анализа[1] с одновременным применением в ряде случаев контекстного лексического анализа, что дало довольно эффективные результаты при проверке схемы на большом количестве нового текстового материала.

Синтаксический анализ при различении омонимов опирается на выделение грамматических сочетаний, характерных для слов одного грамматического класса и нетипичных или невозможных для слов другого грамматического класса. Синтаксический анализ может быть очень простым. Например, чтобы отнести слово в разряд существительных при рассмотрении омонимов класса «глагол — существительное», достаточно установить, что ему предшествует +[2] или определенный артикль *the*, или не-

[1] Ср. также Т. Н. М о л о ш н а я, Вопросы различения омонимов при машинном переводе с английского языка на русский, сб. «Проблемы кибернетики», вып. I, М., 1958.

[2] Здесь и далее знак + означает, что в данном случае возможно применение одного из правил пропуска, допускающих при проверке пропуск слов и сочетаний определенных грамматических типов (например, наречие, частица, вводное слово, однородный член и т. п.).

определенный артикль *a*, или предлог, или числительное, или прилагательное.

Если же в процессе анализа выясняется, что ни одно из вышеперечисленных слов не стоит перед данным, производится дополнительная проверка на слова, стоящие непосредственно после нашего слова: если позади нашего слова окажется формула, за которой не следует ни существительное, ни союз, соединяющий однородные члены предложения (так называемый союз «однородный»), то наше слово также получит признак существительного. Например: «...and hence again by integration a third approximation Fig. 1, *curve C*) is derived» [«...и отсюда снова при помощи интегрирования выводится третье приближение (рис. 1, кривая *C*)»].

В ряде случаев для установления части речи слова-омонима возникает необходимость тщательно обследовать не только слова, непосредственно примыкающие к данному, но и проанализировать грамматически более широкий контекст.

Сложные омонимы класса «существительное — глагол — прилагательное» (например, *check*, *end*, *group*, *limit* и др.) рассматриваются последовательно в два этапа на основе вышеизложенных принципов анализа. Такие омонимы имеют в словаре особую помету и направляются сначала в раздел, где помещаются омонимы класса «глагол — существительное». Если в процессе анализа выяснится, что данное слово не является ни глаголом, ни существительным, оно отсылается в раздел омонимов класса «глагол — прилагательное», где и получает соответствующую грамматическую информацию.

До сих пор мы говорили только о конверсионных омонимах, имеющих парадигму. Наша специальная группа омонимов, помимо уже рассмотренных случаев, содержит также 4 правила дифференциации омонимов класса «предлог — наречие».

Трудность разрешения проблемы конверсии при машинном переводе с китайского языка на русский усугубляется почти полным отсутствием в китайском языке морфологического оформления слова. Основными факторами для решения конверсии, таким образом, могут служить строгий порядок слов, синтаксическая сочетаемость определенных классов слов и служебные слова. На каждый класс конверсии составляется специальная группа правил, после обработки по которой слово получает признак отнесенности к определенной части речи.

Для разграничения омонимии «существительное — глагол» мы, помимо анализа возможного суффиксального оформления данного класса слов, учитываем способность китайского существительного и глагола сочетаться с формантами прошедшего времени и совершенного вида (*цэн*, *цэнцзин*, *и*, *ицзин*), формантом *со*, модальными глаголами, связочными глаголами, отрицаниями, наречиями, суффиксами единичности, прилагательными, предлогами, послелогами, служебными словами и т. д.

Проследим это на ряде примеров:

Цзинь таолунь гэн гуанфа ды цинкуан	«Теперь рассмотрим более общий случай»
Динли юйшы чжэнмин	«Тогда теорема доказана»
Цы фанчэн ю вэй и цзе	«Данное уравнение имеет единственное решение»
Иньвэй чжэнмин ши шифэнь цзяньдань	«Так как доказательство является тривиальным»

Конверсия класса «существительное — прилагательное» подразделяется нами на два подкласса: «существительное — прилагательное относительное» и «существительное — прилагательное качественное». Необходимость такого подразделения обусловливается невозможностью одновременного анализа разнородных по лексической и грамматической природе типов слов. Словам этого типа, находящимся в препозиции к существительному, вырабатывается признак «прилагательное относительное», в противном случае — «существительное».

Слова, относящиеся к классу конверсии «существительное — прилагательное качественное» (*тунгоу* — «изоморфизм — изоморфный»; *даньчуньтунгоу* — «гомоморфизм» — «гомоморфный» и т. д.), анализируются с учетом того, что, как показали наблюдения над сочетаемостью таких пар с другими частями речи, слова такого типа, выступая в функции сказуемого, стоят на конце предложения и имеют перед собой два или более существительных, соединенных союзами *юй*, *гэнь*, *хэ* или *тун*. Следует отметить, что в целях упрощения грамматического анализа для данного класса слов вырабатывается признак «прилагательное относительное» в тех случаях, когда они попадают в позицию перед существительным.

Решение конверсии класса «прилагательное — наречие» не представляет особых затруднений, так как для этого необходимо только установить, находится ли слово этого типа в препозиции к глаголу (или оно оформлено на формант *ди*). Слова этого типа в препозиции к глаголу (или оформленные на *ди*) являются наречиями.

В китайском языке все модальные глаголы, по сути дела, в определенных ситуациях выступают как модальные наречия (как и в предшествующих случаях, мы исходим при этом из потребностей перевода на русский язык). Основной критерий для выработки этому классу слов признака «глагол модальный» — наличие в предложении подлежащего, выраженного существительным одушевленным.

На каждый из указанных классов конверсии составлены схемы анализа. В тех случаях, когда наряду с конверсионной омонимией имеется многозначность, слову сообщается признак «многозначное», и оно анализируется по схемам полисемии.

Своеобразное разграничение омонимии данного типа в японском языке связано с методами членения японского предложения на слова при машинном переводе. Учитывая, что японское письмо представляет собой чередование иероглифов и азбучных знаков «каны», мы предварительно выделяем слова от точки до ближайшего иероглифа, от одного иероглифического сочетания до другого или соответственно до любого знака препинания или формулы. Таким образом, в одном случае предварительно в качестве одного условного слова выделяется *сэкибун хотэйсики* («интегральное уравнение»), а в другом *ёмиката* («чтение») — как два.

В немецком языке для разграничения омонимических рядов, в которые входят существительные, используется специфическая особенность немецкого правописания, выражающаяся в том, что в немецком языке существительное всегда пишется с большой буквы. Таким образом, мы можем сказать, что различение омонимов в немецком языке основано на графико-синтаксическом принципе. Анализ слов, входящих в классы омонимов «существительное — глагол» (*Beweis — beweisen*, *Gebrauch — gebrauchen* и др.) и «существительное — прилагательное» (*Komplex* «комплекс» или «комплексный», *Parallele* «параллель» или «параллельный» и др.), начинается с проверки на написание с большой буквы. Отрицательный результат проверки дает однозначное решение: данное слово является не существительным, а глаголом или, соответственно, прилагательным. При положительном результате производится проверка предшествующего слова на «точку», которая также в ряде случаев дает решение: если предшествующее слово не является точкой, то анализируемое слово — существительное.

Синтаксический анализ при различении омонимии «существительное — глагол» основан на выявлении различия в типах предложений, выражающегося в позиции глагола-сказуемого или глагольной части составного сказуемого, а также на относительно фиксированном порядке слов немецкого предложения вообще, особенно характерном для научного текста. Другой характерной особенностью различения омонимии «глагол — существительное» является то, что обработке соответствующей схемой

должны подвергнуться все без исключения глаголы, так как в немецком языке не только теоретически, но и на практике возможна субстантивация любого глагола в инфинитивной форме.

Различение омонимии неизменяемых слов («предлог — частица») основано на том, что этим двум категориям слов свойственна принадлежность к различным синтаксическим группам. Предлог служит для выражения синтаксических связей между словами в группе существительного, частицы же, как правило, входят в группу глагола. Поэтому для выявления предлога производится проверка следующего слова на существительное (или на формулу или цифру, которые могут выполнять синтаксические функции существительного). Так, легко определить, что в нижеследующем примере в первом случае *zu* является предлогом, а во втором — частицей: «Um *zu* diesen Zahlenwerten *zu* gelangen, sind erhebliche konstruktive Arbeiten notwendig gewesen» («Для того чтобы получить эти численные величины, понадобились значительные конструктивные работы»). Конверсионная омонимия в русском языке случайна и встречается очень редко.

Наиболее сложная и актуальная задача — разграничение омонимии существительных разных склонений. Рассмотрим, например, парадигмы склонения в единственном числе существительного 1-го склонения *математик* и существительного 2-го склонения *математика*:

Им.	п. *математик*	*математика*
Род.	п. *математика*	*математики*
Дат.	п. *математику*	*математике*
Вин.	п. *математика*	*математику*
Твор.	п. *математиком*	*математикой*
Предл.	п. *математике*	*математике*

Как видно из этого ряда, неомонимичными являются лишь формы творительного падежа обоих склонений[3]. При разграничении омонимии такого типа постепенно исключаются сочетания, характерные для одного слова и невозможные для другого.

Особое место среди контекстной омонимии занимает омонимия «прилагательное — наречие — категория состояния», характерная для слов типа *хорошо*, *плохо* и т. п. Если в предыдущих случаях речь шла о совпадении словоформ двух р а з н ы х слов, то здесь, напротив, одно первоначально аморфное слово в зависимости от синтаксической функции может менять свою морфологическую принадлежность. Так, одно и то же слово *хорошо* может быть наречием (*хорошо сделано*), категорией состояния (*мне хорошо*) и именной частью сказуемого. Здесь имеет место случай превалирования синтаксических факторов над морфологическими, т. е. синтаксическая функция слова в конкретном предложении определяет его принадлежность к частям речи, а не наоборот. Широко распространенное во всех языках явление лексико-грамматической омонимии представляет одну из наиболее слабо изученных проблем лексикологии и грамматики.

В целом, на наш взгляд, классификация омонимии по типам и разграничение омонимов различных классов имеют значение не только для прикладного, но также и для общего языкознания, хотя авторы данной статьи своей основной задачей считали решение проблемы омонимии применительно к машинному переводу. В большинстве случаев методы разграничения омонимии, описанные в настоящей статье, дали положительный результат.

---

[3] Им. падеж слова *математик* соотносится с род. падежом множественного числа слова *математика*, а род. падеж слова *математика* совпадает с им. падежом множественного числа слова *математик*.

№ 2 1960

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ПИСЬМА В. ЯГИЧА К А. А. ПОТЕБНЕ

Предлагаемые вниманию читателей несколько писем В. Ягича к А. А. Потебне [1] проливают свет на некоторые интересные страницы из истории русского языкознания. Чрезвычайная широта славистических интересов В. Ягича, его длительная и неутомимая научная деятельность (перу Ягича принадлежит более 700 работ), более глубокое и более сложное по сравнению с предшествующим периодом развития славистики понимание задач славянской филологии уже в начале творческого пути Ягича определили его ведущее место в славистике, принадлежавшее ему на протяжении почти всей его шестидесятилетней научной деятельности.

В течение многих лет деятельность В. Ягича была неразрывно связана с Россией. Как известно, впервые он приезжает в нашу страну в 1872 г. и до 1874 г. занимает кафедру сравнительного языковедения и санскрита в Новороссийском университете в Одессе. В 1880 г., после смерти И. И. Срезневского, В. Ягич по представлению Я. К. Грота избирается действительным членом Российской Академии наук и переезжает в Петербург (из Берлина). В Петербургском университете он занимает кафедру русского и церковнославянского языков. Во время своей жизни в Петербурге (переезд в Вену состоялся в 1886 г.) В. Ягич деятельно собирает вокруг себя русские научные силы и является инициатором ряда изданий Академии, в том числе изданий отдельных памятников (из наиболее крупных работ назовем следующие: 2 тома «Источников для истории славянской филологии»— 1885, 1896; Новгородская «Служебная минея 1095—1097 гг.» — 1888; «Пушкин в южнославянских литературах»— 1900). В. Ягич был инициатором и «Исследований по русскому языку», замысел которых относится к 1884 г. Связи В. Ягича с Российской Академией крепнут особенно с 1900-х годов, когда начинается интенсивная деятельность А. А. Шахматова в ОРЯС. Тесный и длительный научный контакт В. Ягича и А. А. Шахматова занимает особое место в истории русской науки [2]. Известно, что Ягич уже в 80-х гг. поддерживает научные начинания молодого Шахматова, который с семнадцати лет сотрудничает в «Архиве» Ягича. Позднее Ягич и Шахматов совместно ведут большую издательскую и организационную деятельность, в частности — подготавливают издание «Энциклопедии славянской филологии».

Еще в 70-х гг. Ягич в соответствии со своим пониманием задач славянской филологии задумывает и осуществляет издание журнала широкого филологического профиля — «Archiv für slavische Philologie», объединившего лучшие силы русской и западнославянской филологической науки того времени [3].

Из числа русских ученых к сотрудничеству в «Архиве» Ягич в первую очередь привлекает А. А. Потебню, работы которого в то время еще не были широко известны. В своих «Воспоминаниях» Ягич пишет: «Необходимость иметь сотрудника для „Архива" побудила меня обратиться в России к человеку, который постоянно занимался русским, особенно малорусским языком с чисто научными устремлениями, строго следуя филологическому методу. Это был Потебня. Я заинтересовался его филологическими, точнее лингвистическими работами, когда был еще в Загребе и Одессе» [4]. Отмечая «прекрасную

---

[1] Письма эти, хранящиеся в фонде А. А. Потебни Харьковского отделения Центрального гос. исторического архива, переданы в редакцию преподавателем Харьковского пед. института П. Л е щ е н к о (в настоящее время работает преподавателем Ровенского пед. института).

[2] Интересный материал дает переписка Ягича и Шахматова, хранящаяся в архивах нашей страны (частично она опубликована в сб. «А. А. Шахматов. 1864—1920», М.—Л., 1947), а также в архиве В. Ягича в Югославянской академии наук и искусств в Загребе. Проф. И. Хамм любезно передал нам микрофильмы писем Шахматова к Ягичу, относящихся к раннему периоду знакомства ученых. Некоторые из них редакция журнала «Вопросы языкознания» предполагает опубликовать.

[3] «Архив» начал выходить в Берлине в 1876 г. Первыми ближайшими сотрудниками В. Ягича по «Архиву» были А. Лескин (в то время профессор в Лейпциге) и В. Неринг (профессор в Бреславе). В. Ягич руководил «Архивом» вплоть до 1918 г., когда ему еще удалось выпустить 18 листов первой половины 37 т., после чего продолжать издание оказалось невозможным [см. М. С п е р а н с к и й, Жизненный труд и историко-литературная деятельность И. В. Ягича, отд. оттиск из ИОРЯС, т. XXVIII (1923), 1924, стр. 340].

[4] В. J а г и ћ, Спомени мојега живота, део I, Београд, 1930, стр. 294.

научную объективность Потебни»[5], В. Ягич одним из первых заметил и оценил философское направление мысли этого ученого, хотя творчеству самого Ягича такая направленность не была свойственна. В «Истории славянской филологии» Ягич пишет: «Он стоит, на мой взгляд, в ряду современных с ним русско-славянских филологов очень высоко: трудно указать другого, который мог бы стать в уровень ему по глубокомысленному пониманию явлений языка и по философской проницательности» (стр. 551). И далее в другом месте: «Философскими рассуждениями о языке по отношению к психическим процессам славянская филология вовсе не богата. Из упомянутых у нас славянских филологов, может быть, глубже всех вникал в вопросы этого рода А. Потебня; у Миклошича сюда относится лишь введение в монографию о безличных глаголах» (стр. 905).

Рецензия В. Ягича на диссертацию А. А. Потебни «Из записок по русской грамматике», помещенная им во втором томе «Архива» в 1877 г. (т. е. вскоре после опубликования диссертации), была по существу первой основательной оценкой труда Потебни, определяющей его место в языковедении того времени[6]. «Достоинства этого труда,— пишет он,— дают ему право на весьма почетное место в ряду довольно немногочисленных изысканий в области сравнительно-исторической литературы; сочинение проф. Потебни является достойным соперником синтаксиса Миклошича»[7].

Особо отмечал В. Ягич заслуги А. А. Потебни в области русской диалектологии и истории русского языка. Еще при жизни Потебни, в 1889 г., Ягич заметил то новое в его методе, что позволяло Потебне добиваться выдающихся результатов при исследовании. «Чего не доставало Далю, по его собственному признанию,— пишет он,— тем в высокой степени владел глубокомысленный исследователь русского языка и выдающийся диалектолог, профессор А. А. Потебня. Его статьи „Два исследования о звуках русского языка“ (1866) и „Заметки о малорусском наречии“ (1871) представляют собою поворот к чисто научному направлению в исследованиях диалектологических»[8]. В некрологе Ягич называет Потебню основателем научной диалектологии в России и пишет, что «его глубокомысленные синтаксические исследования, которые простирались на все славянские языки, не будучи, к сожалению, доведены до конца, превосходят полнотой и тонкостью наблюдений все, что может указать в этой области славянское языкознание»[9].

В. Ягич многое сделал для того, чтобы привести в известность труды Потебни и чтобы они получили заслуженное признание; считая это важным, он сам пишет об этом (дважды — в «Истории славянской филологии» и позднее в «Воспоминаниях»): «Пишущий эти строки вменяет себе в некоторую заслугу, что он в 1874 г. осенью, уезжая через Петербург за границу, обратил внимание надлежащих кругов (через Бестужева-Рюмина) на значение исследований А. Потебни, бывших покрытыми мраком неизвестности вследствие того, что они печатались в провинциальных изданиях. Как поздно в России и за границею стали ценить лингвистическую и философско-филологическую деятельность Потебни, доказывает странный факт, что даже Миклошичу большая часть трудов Потебни осталась неизвестной»[10]. Ягич многое делает для того, чтобы труды Потебни стали известными и признанными за границей, куда они долгое время почти совсем не попадали. «В особенности по русской литературе невежество поразительное,— пишет он из Вены в 1886 г. А. А. Шахматову.— На днях экзаменовался по „малорусскому“ или, как здесь официально говорят, „рутенскому“ языку студент-галичанин, который не сумел мне сказать ни слова о Потебне, ни о произведениях по истории малорусской литературы. Это невежество характеризует здешних „хохломанов“, как бы называли их в России»[11].

Тесный и плодотворный научный контакт В. Ягича и А. А. Потебни продолжался около 15 лет, начиная с 1874 г. Потебня активно участвовал в «Архиве», Ягич переводил его работы, постоянно заказывал ему статьи и рецензии, сам поместил в «Архиве» рецензию на исследование Потебни «Из записок по русской грамматике». Лично Ягич и Потебня так и не встретились.

Переписка В. Ягича, освещающая целую эпоху в развитии славяноведения, издана, к сожалению, еще далеко не полностью. Частично она вошла в сборник «А. А. Шахматов». Обширное издание писем Ягича вышло недавно в Югославии[12].

---

[5] И. В. Ягич, История славянской филологии, СПб., 1910, стр. 761.

[6] Особое значение работы Потебни, новизна его метода были замечены у нас позже; современники же видели в труде Потебни просто хорошее исследование по истории языка, отличающееся самостоятельностью мысли и богатством материала. Ср. отзывы И. И. Срезневского и М. С. Дринова [И. И. Срезневский, Десятое присуждение Ломоносовской премии (труды А. А. Потебни), СПб., 1876; Н. Ф. Сумцов, Выступление А. А. Потебни на ученое поприще и участие в этом деле М. С. Дринова, Харьков, 1904].

[7] AfslPh, Bd. II, Hf. 1, 1877, стр. 166.

[8] В. Ягич, Критические заметки по истории русского языка, СПб., 1889, стр. 6—7.

[9] AfslPh, Bd. XIV, Hf. 3, 1892, стр. 480.

[10] И. В. Ягич, История славянской филологии, стр. 551.

[11] Сб. «А. А. Шахматов», стр. 57.

[12] «Korespondencija Vatroslava Jagića», knj. 1, Zagreb, 1953.

В настоящее время в Ленинграде готовится двухтомное издание «Писем Ягича к русским ученым», хранящихся в фондах Архива АН СССР в Ленинграде и в Москве, в Пушкинском доме АН СССР, а также в Центральном гос. историческом архиве в Ленинграде, в Гос. историческом архиве Ленинградской области, в Гос. публичной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, в Гос. библиотеке СССР им. В. И. Ленина, в архивах Киева и Одессы. Том первый включает письма В. Ягича к Я. К. Гроту, Ф. Е. Коршу, Ф. Ф. Фортунатову, А. А. Шахматову, А. Н. Пыпину, А. Н. Веселовскому, К. С. Веселовскому, И. А. Бодуэну де Куртене, Э. Л. Вольтеру, О. Ф. Миллеру, М. И. Сухомлинову, В. И. Ламанскому, А. А. Кунину, Н. А. Попову и др. (период с 1872 г. по 1886 г.). Полученные редакцией из Харькова письма свидетельствуют о том, что рукописное наследство Ягича полностью далеко еще не изучено.

Из писем Ягича к Потебне опубликовано пока только одно — от 27 марта 1887 г. (сб. «А. А. Шахматов», стр. 85—86). Помещаемые ниже письма публикуются без каких-либо изменений и сокращений и снабжаются подстрочными примечаниями.

О. А. Лаптева

Г. ординарному профессору А. Потебне

Милостивый Государь,

Одно Ваше примечание, напечатанное в последней книжке «Журнала Министерства Нар. Просвещения», заставляет меня предложить Вам вот некоторые из моих книжек и статеек, отдельные оттиски которых случайно еще у меня нашлись. Прошу Вас принять их как доказательство того уважения, которое я уже давно питаю к Вам как отличному представителю славянской филологии, умеющему заниматься славянской наукой настоящим научным образом [1].

В. Ягич

(Bendleistraße, 17 b)
24 апр. 1877. Berlin

Милостивый Государь Александр Афанасиевич!

Обращаюсь к Вам с просьбою следующего содержания: не хотите ли Вы написать для моего «Архива» рецензию на сочинение только что изданное, А. А. Кочубинского [2]. Вы поверите мне, когда я откровенно скажу, что никого в России, кроме Вас, не считаю компетентным правильно судить об этих тонких, но очень важных вопросах. Мне же было бы очень приятно и лестно считать и Вас участником в моем из чистой любви к славянской науке основанном журнале, направление научное которого, я надеюсь, Вас хоть немножечко удовлетворяет. Вы могли бы, если Вас немецкий язык затрудняет, написать по-русски, я же переведу Ваши слова верно.

Посылаю Вам отдельный оттиск из 2 вып. «Архива», продолжение моих исследований о Зографском евангелии [3]. Интересно было бы узнать, насколько мы теперь сходимся или расходимся в наших взглядах: Вы и я кое в чем изменили свои прежние

[1] В своей рецензии на работы М. Колосова «Очерк истории звуков и форм русского языка с XI по XVI столетие» и Л. Гейтлера (L. Geitler) «Starobulgarská fonologie se stálym zretelem k jazyku Litevskému» А. А. Потебня возражает против толкования ряда особенностей Ассеманиева евангелия как весьма архаических и видит возможность считать их результатом более поздних изменений (А. Потебня, Заметки по исторической грамматике русского языка, ЖМНП, 1873, октябрь). Можно думать, что появление этой рецензии и побудило В. Ягича выслать А. А. Потебне некоторые свои работы. Напомним, что Ягичу принадлежит введение к изданному Ф. Рачким в 1865 г. Ассеманиеву евангелию. Письмо, которое можно датировать концом 1873 г.— началом 1874 г. и отнести к периоду пребывания В. Ягича в Одессе, положило начало последующей оживленной переписке. Сам Ягич позднее считает началом своей переписки с Потебней 1874 г. («Спомени мојега живота», I, 294).

[2] Речь идет об исследовании на степень доктора славянской филологии профессора Новороссийского ун-та А. А. Кочубинского «К вопросу о взаимных отношениях славянских наречий. Основная вокализация плавных сочетаний: конс. + *л*, *р* + + ъ — ь + конс.» [т. I, Одесса, 1877; т. II (ч. 1) вышел в Одессе в 1878 г.]. Хотя отдельной рецензии на эту книгу А. А. Потебня не написал, в его исследовании «Ueber einige Erscheinungsarten des slavischen Palatalismus» в главе, посвященной славянским сочетаниям *tj*, *dj*, содержится разбор соответствующей главы книги Кочубинского (AfslPh, Bd. III. Hf. 4, 1879, стр. 601—613). О работе Кочубинского Ягич был очень невысокого мнения. Критические замечания см. в его статье «Zur Frage über den Uebergang des sibenbildenden *l* in *u*» (AfslPh, Bd. IV. Hf. 3, 1880).

[3] V. Jagić, Studien über das altslovenisch-glagolitische Zographos-Evangelium, AfslPh, Bd. II, Hf. 2, 1877, стр. 201—269. Первая часть этого исследования помещена там же (Bd. I, Hf. 1, 1876, стр. 1—55). В этой работе рассматривается преимущественно вопрос о звуковом значении ъ и ь в Зографском евангелии.

ние мнения, что, я полагаю, только может служить доказательством, как мы стараемся добиться истины.

Во второй книжке, только что изданной, «Архива» Вы найдете мой отзыв о сочинении Житецкого [4]. Вы несомненно убедитесь в том, что я был слишком снисходителен и щедр на похвалы; но я соображаю так, что сначала надо ободрить его, а потом, если этот образ действия не повлияет на него, будем отзываться строже. Впрочем и так из моей рецензии видно, что я большую часть того, что он излагает, отвергаю как недоказанное.

В числе тех, которых Вы знаете, я напомню Вам нашего санскритиста Вебера — он еще до сих пор не забыл Вас, он отзывается с восторгом о Вашем участии в его лекциях. Он просит меня кланяться Вам [5]. Желаю что скорее получить от Вас несколько слов ответа.

Ваш искренне преданный *В. Ягич*

24/12 фев. 1878.

Многоуважаемый Александр Афанасиевич!

Пора уже поблагодарить Вас за дружескую готовность поддерживать это мое «панславистическое» предприятие участием Вашим, которым я очень дорожу. Ваш манускрипт я уже начал переводить, правда, не буквально, так как кое-что, как мне кажется, можно для «Архива» сократить, однако ж я постараюсь, чтобы все главные мысли Вашего исследования были переданы верно. В свое время я позволю себе, возвращая Вашу рукопись, предложить Вам для проверки и мой «извод» [6].

В той части, которую я до сих пор внимательно прочел и на немецкий язык переделал, осталось мне кое-что не совсем ясно, иное же менее убедительно. Н. пр., где речь идет о пол. форме *bodze*, правильно ли я Вас понял, что южвр. *дѣбло* Вы объясняете ц.-сл. ѕ, т. е. нёбнее, чем *dz*, менее же шипящее, чем *dź*? Стало быть, ѕ в слове польѕа можно обозначить графически ś, однако ж и это ś вряд ли = *dź*.

Неясно выходит возражение против Гейтлера относительно *с* и *х*. Может быть, лучше было бы этот § пропустить [7].

Как произносилось церковнославянское ѧ и ѫ? Можно ли давать несколько значения графике є ѥ? По крайней мере вторая буква, очевидно, сделана из є и ѣ. В Зограф. еванг. я отметил форму пѫтнискъ = πουτιος; писец, как кажется, имел в виду ѫ поместить для передачи греческого ου, однако ж прибавил еще и н. Нельзя ли болгарское, уже в 17 столетии принятое писание *а* = ѫ (такова орфография текста, напечатанного мною в IX кн. «Старины» [8], отдельный оттиск Вы на днях получите) объяснить тоже из *оп*, как переход из *о* в *а* после исчезновения носного элемента? У словинцев и кайкавских хорватов *е* (= ѧ) до сих пор произносится так, что рот раскрывают гораздо шире, чем у *е* (= ѣ), так что в *pet* (пѧть) слышно очень широкое *е* (e^a). Нельзя ли таким же образом объяснять и чешское *ia* (нынешнее *а*) и русское *я* как происходящее то и другое из e^a (pro *en*, e^n), $^e a$, $^i a$, *а*? Как видите, мне не кажется пока Ваше предположение совсем правдоподобным. Я однако ж, разумеется, оставляю Ваше изложение как оно есть [9].

---

[4] См. рецензию В. Ягича на книгу П. И. Житецкого «Очерк звуковой истории малорусского наречия», Киев, 1876 (AfslPh, Bd. II, Hf. 2, стр. 348—363). В своей «Истории славянской филологии» (СПб., 1910) Ягич писал о Житецком: «После Потебни самым трезвым исследователем малорусским считается П. И. Житецкий» (стр. 895).

[5] В 1862 г. А. А. Потебня был послан для приготовления к профессорскому званию в Берлинский университет, где преимущественно «школьным образом», как он сам пишет в своей автобиографии, занимался санскритом у А. Вебера.

[6] Речь идет об исследовании А. А. Потебни «Ueber einige Erscheinungsarten des slavischen Palatalismus», написанном в Харькове в январе 1878 г. и опубликованном в изложении Ягича в «Архиве» в 1879 г. (Bd. III, Hf. 2, 4, 1879). На русском языке эта работа вышла в РФВ в 1879 г. и отдельным изданием (оттиском из РФВ) в Варшаве в 1880 г. («К истории звуков русского языка. II. Этимологические и другие заметки»). Возможно, написание этой работы было в какой-то мере связано с настоятельными и неоднократными просьбами В. Ягича дать разбор сочинения Кочубинского (см. письмо от 24 апреля 1877 г. и неопубликованное письмо от 10 октября 1877 г.).

[7] Возражение Гейтлеру сохранено в примечании на стр. 365. В русском варианте статьи оно излагается более подробно.

[8] «Opisi i izvodi iz nekoliko južnoslovinskih rukopisa» печатались в книгах V (1873), VI (1874) и IX(1877) серии «Starine» (Загреб).

[9] Почти одновременно с работой А. А. Потебни В. Ягичем была написана статья «Wie lautete ѫ bei den alten Bulgaren?» (AfslPh, Bd. III, Hf. 2, 1879). Вопрос о звуковом значении славянских носовых был пунктом непосредственного соприкосновения ближайших исследовательских интересов Ягича и Потебни. В том же томе «Архива» помещена статья Потебни «Zur Frage nach dem ursprünglichen Lautwerth der slavischen Nasalvocale», снабженная примечанием Ягича, в котором он прямо говорит о том, что работа Потебни стоит в связи с его работой о значении ѫ в староболгарском языке.

Что касается до литовского *ir*, я напечатал об этом маленькую статью в 1 вып. III тома «Архива», который выйдет на днях [10]. Мне кажется, что изменение литовского *е* в *і* на конце концов не что другое, чем наш церковнославянский ъ возле *е*, как в *рьци*, *тьци* и т. д. Что Вы приводите транскрипцию литовского *і* через *ы*, это мне кажется та же статья, как в малорусском, когда пишут неопределенный сп.— *ты*, желая предохранить читающего от великорусского произношения сочетания *ти*. И этот § я думаю пропустить [11].

Наконец, что до неопредел. штн (= ктн, чтн), я согласен с Вами в том, что причиною всей измены должна быть гортанная *к*, *г*, *х*, которая не могла исчезнуть, не повлиявши прежде на следующую зубную [12] *t*, повлиять же могла не как *к*, *г*, *х*, а как нёбная — но которая нёбная? Отчего не всегда *ч*, *ж*, *ш*? Я думаю, что *ч*, *ж*, *ш*, повлиявши на *t* и изменивши его в *с*, *ć*, *č*, могли в чешском св. языке из *čc*, *žc*, *šc* произвести *c* (ср. чесо, чьсо, чсо, цо), в русском же и слов. *чч*, *жч*, *шч* дали *чч* = *ч*, в сербском на конце *čć*, *žć*, *šć* произвели форму *ć*—*ћ*. Если в сербском языке бывшее *srdačce* (как пишут рагузейские поэты 15—17 стол.) изменилось в *srdašce*, позвольте мне приблизительно это выразить так: *srdatštse* облегчилось в *srdaštse*, то из сочетания *čć* (= *štś*) могло облегчение произношения сделать еще шаг вперед, отбросивши не только *t*, но и *tš*, или же подобно чешско-польскому *čs* = *c*, т. е. *tšs* = *ts* выбросит средние звуки *štś*, после чего остается *tś* = *ć*. Как мизерно, впрочем, все это!!

Вот до куда я успел Ваш труд перевести; о том, что дальше следует, после. И в этом своем рассуждении Вы остались верны себе — кто и не согласится с Вами, должен будет признать за Вами необыкновенную наблюдательность и сообразительность. Из кратких замечаний Ваших относительно малорусских виршов о Богдане Хмельницком я сделал маленькую нотицию, указав на Вас — надеюсь, что Вы не противитесь такой эксплуатации Ваших частных писем [13].

Кланяюсь Вам искренно.
Ваш преданный *В. Ягич*

3 окт. 1878.

Многоуважаемый товарищ.

На днях послано Вам отсюда несколько отдельных оттисков той части Вашей статьи, которая напечатана во втором выпуске «Архива» III. Не знаю, насколько Вы будете довольны переводом, сделанным мною с некоторыми сокращениями,— во всяком случае прошу Вас указать мне на те промахи или ошибки, которые м. б. сделаны мною в сжатой передаче Ваших взглядов и объяснений. Вторая половина статьи Вашей теперь набирается и выйдет в 3 выпуске [14].

Я полагаю, что Ваша статья имеет то большое преимущество, что заставляет много думать и задумываться над самыми разнообразными явлениями слав. языков. Кто и не согласится с Вами во всех отдельных толкованиях, все же не может не почитать Вашей тонкой наблюдательности.

Такого же мнения не только я, который с интересом читал и переводил Ваши изложения, но и мой сотрудник Лескин. Как странным напротив мне показалось новое издание фонетики церковнослав. языка Миклошича [15], который, например, все еще учит, что *št* перестановкою произошло из *tš*, и все еще не уважает такое количество данных, доказывающих, что в шт не может быть речи о *t*, но во всяком случае *t'*. Я имел случай говорить об этом с Миклошичем в Вене и он, кажется, начинает сознавать, что не он прав, а Вы и другие, объясняющие это иначе. Вскоре я буду в состоянии возвратить Вам Вашу рукопись; полагаю, что Вы подлинное изложение напечатаете где-нибудь на Руси.

Не знаю, получили ли Вы мою небольшую статейку о значении х в фонетике древнеболгарских памятников. Вы, полагаю, заметили, что насчет первоначального значения звуков ѧ и ѫ я примыкаю к Вашему мнению, которое в изменении я намерен напечатать в 3 вып. Не увидим ли мы вскоре Вашу критику на Житецкого[16]? Издание Зографского евангелия вскоре выйдет и Вы получите от меня эк-

---

[10] См. V. Jagić, Ueber einen Berührungspunkt des altslovenischen mit dem litauischen Vocalismus, AfslPh, Bd. III, Hf. 1, 1879.

[11] В немецком издании опущено, в русском сохранено.

[12] В рукописи: губную.

[13] В. Ягич поместил в III томе «Архива» (Hf. 1) «Kritischer Nachtrag zu Archiv II. 302», где изложил некоторые соображения Потебни в связи с опубликованным П. Житецким во II томе «Архива» (Hf. 2) текстом украинской «Думы» о Богдане Хмельницком. Житецкий пишет *Хміль о віру*, Потебня предлагает чтение *хвило-виру*.

[14] Вышла в Hf. 4 III тома.

[15] См. Fr. Miklosich, Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen, 2-te Ausg., Bd. 1, Wien, 1879.

[16] Спустя год после рецензии В. Ягича свой подробный и весьма критический «Разбор сочинения П. Житецкого „Очерк звуковой истории малорусского наречия“» (СПб., 1878) опубликовал А. А. Потебня, где он соглашается с некоторыми предположениями Ягича (например, о дифтонгическом характере др.-русск. ы, стр. 42).

земпляр[17]. Не можете Вы мне указать, каким путем и под каким адресом послать бы мне письмо Дринову[18].

Кланяюсь и желаю Вам всего доброго.

Ваш искренно преданный *В. Ягич*

22 окт. 1880

(Спб., Васил. остров, Волховской переул., 1/2, кв. 26)

Многоуважаемый товарищ!

В то же время, когда проф. Дринов получил мое открытое, а не получил закрытого письма, было написано мною и отправлено к Вам также письмо, в котором я сообщал Вам о моем совершившемся переезде и просил Вас продолжать со мною наши прежние дружеские отношения,— к сожалению, 5-копеечная марка помешала моему письму придти на место назначения! Позвольте мне повторить вкратце смысл, не слова, моего тогдашнего письма.

Вы, должно быть, не знаете, сколько колебаний предшествовало моему решению согласиться на сделанное мне отсюда предложение. Уверяю Вас, что в числе других аргументов играл немаловажную роль и тот, что я желал Вас видеть в С. Петербурге. Очень жаль, что положение академика 2-го отделения не такое, как 1-го и 3-го, чтобы он мог существовать на одни эти средства. Как охотно бы я уступил университетскую деятельность Вам! Но что до сих пор нельзя было, это, может быть, удастся со временем; ведь не навсегда должна Академия наук остаться в теперешней разрозненности! До тех пор я желал бы Вашего деятельного участья по крайней мере в изданиях Академии наук. На этот счет я должен признаться Вам, я не вполне согласен с тем, как теперь дела идут у нас, я желал бы, чтобы Академия задала себе исполнение академических, т. е. соединением многих научных сил постигаемых задач. Эти задачи заключают в себе 1-е планы по изданию словарей, 2-е по собиранию материалов для подробного исследования славянских языков, наречий и говоров. По обоим пунктам Вы можете нам оказать большие услуги, если хотите принять и советом и делом участие в наших предприятиях. Вот, например, я как представитель славянских наречий задаюсь планом издания сравнительного словаря слав. наречий. Я рассчитываю на содействие и участье: Гебауера по чешскому, Брикнера по польскому, Лескина по лужицкому, Дринова по болгарскому, Ваше по русскому наречию или языку. Хотите ли Вы посвятить частицу своего времени этому предприятию? Пока у меня план в общих чертах такой: потребовать от Академии назначения известной ежегодной суммы для собирания материалов на карточках. Слова с подходящими примерами и переводом или объяснением следовало бы вносить или записывать на карточки, но по обдуманному плану, со соблюдением всей осторожности. Это могли бы, пожалуй, делать и более развитые студенты под руководством нашим, только нужно бы точно определять им, что и откуда почерпать. У меня еще не выяснилось, в каком объеме должно каждое отдельное слав. наречие войти в такой общий сравнительный словарь. Я не желаю на первых порах слишком обширного труда, только чтобы он скорее был сделан, напр. в течение 4—5 лет[19]. Весьма желательно бы узнать об этом Ваше мнение[20].

От Дринова я узнал, что Вы теперь заняты вопросом каким-то по народной поэ-

---

[17] Вышло в Берлине в 1879 г. под заглавием: «Quattuor evangeliorum] codex glagoliticus, olim Zographensis, nunc Petropolitanus».

[18] Марин Степанович Дринов с 1873 г. и до своей смерти в 1906 г. занимал в Харьковском ун-те кафедру славяноведения и был ближайшим сотрудником А. А. Потебни. Основные научные интересы Дринова относились к области болгаристики. Известен он и как автор некоторых лексикографических работ. См., например, его отзыв «О болгарском словаре А. А. Дювернуа» (СПб., 1892).

[19] Став в 1880 г. членом Российской Академии наук, В. Ягич задумывает осуществить в ее рамках ряд широких научных предприятий; в 1881 г. им был представлен проект сравнительного словаря славянских языков, который не был осуществлен.

[20] В ответ на это письмо Потебня, сообщая Ягичу о своей работе и планах, писал 1 ноября 1880 г.: «...мне жутко ввязываться в сложную и многолетнюю новую работу. Мне кажется, что для краткости сравнительного словаря необходимы более обширные словари отдельных наречий. Таких нет для малорусского наречия. Материалы не знаю какого достоинства, но довольно обширные, находились до последнего времени в Киеве у проф. Вл. Бон. Антоновича. Он же мне говорил в прошлом году, что под руководством его и некоторых других из этих материалов делались выборки для небольшого мр. словаря (листов 30—40). Что сталось с этим теперь, когда еще неизвестно, возвратился ли Антонович из-за границы на свое место, не знаю. ...Признаюсь, организовать работ я не умею и если бы взялся за собирание материала для словаря (т. е. систематически; спорадически это, конечно, сделает всякий занимающийся языком), то пришлось бы выписывать самому. В применении к малорусскому я мечтал этим заняться по выходе в отставку, которого покамест не желаю» (см. В. Јагић, Спомени мојега живота, део II, Београд, 1934, стр. 59). После смерти Потебни остались не опубликованные и до настоящего времени материалы для малорусского словаря, имеющие весьма важное значение для изучения восточнославянской лексики и во многом дополняющие «Материалы для древнерусского словаря» И. И. Срезневского.

зии: нельзя ли воспользоваться этим Вашим трудом[21], которого жду с нетерпением, для «Архива», издание которого я считаю полезным и необходимым и вперед остаюсь его издателем. Желание мое, чтобы здесь при Академии издавался журнал, оказывается, по крайней мере на первое время, неисполнимым!

В последнем письме, которому не было суждено попасть в Ваши руки, я предложил Вам написать рецензию на книгу Огоновского — не хотите ли Вы это взять на себя? Было бы очень хорошо![22].

Я желал бы потолковать с Вами также насчет лекций — какой у Вас план? в каком порядке Вы познакомливаете своих студентов с русским языком, в особенности с граммат. его стороною? Как Вы заставляете их заниматься? Но, боюсь, я мог бы Вам надоесть слишком обширным письмом, отлагаю лучше до следующего письма.

Примите уверение в моем искреннем к Вам уважении.

Ваш *В. Ягич*

1 марта 1884. СПб.

Милостивый Государь Александр' Афанасьевич!

Считаю своим долгом сообщить Вам следующее. По моему предложению на днях порешило 2-е отделение Импер. Академии наук издавать под моею редакциею бессрочными томами (приблизительно по одному в год) «Исследования по русскому языку», в которых были бы сосредоточены главнейшие труды современных специалистов по русскому языку, поскольку они пожелают участвовать в этом издании. Программа издания довольно широкая: разбор языка отдельных памятников древнерусской письменности; обозрение особенностей языка по столетиям или эпохам или говоров (старого времени по источникам) различных местностей по наблюдениям; исследование источников слов иностранных; объяснение грамматики с точки зрения сравнительной, происхождения этимологического и тонкостей произношения, и т. д. Статьи могут быть маленькие и обширные — до 5 и более листов, вознаграждение получается с листа не менее 30 рублей, и 50 отд. оттисков. Издание должно выходить в приличном виде, в формате и на бумаге Мариинского евангелия.

Не знаю, как Вам это нравится, но мне сдается, что если бы такого рода предприятие встретило довольно сочувственного отзыва в кружках специалистов, то современем можно бы кое-что сделать. Было бы очень приятно видеть и Вас в числе сотрудников. Часть Ваших исследований, за которыми все мы следим с большим интересом, могли бы во всяком случае попасть в эти наши «Исследования». Вот и главная цель этих моих строк.

Надеюсь, что Вы получили уже медаль Миклошича — они на днях рассылались из департамента Министерства петербургским подписчикам.

Примите уверение в моем отличном уважении.

Ваш *И. В. Ягич*

---

[21] Речь идет о сочинении Потебни «Объяснение малорусских и сродных народных песен» (I — Варшава, 1883, II— Варшава, 1887), которое он опубликовал несколько позже в РФВ. Оно примыкает к написанному летом 1879 г. и вышедшему в 1880 г. разбору «Народных песен Галицкой и Угорской Руси, собранных Я. Ф. Головацким», а также к ряду ранних работ Потебни. Об этом сочинении Потебня писал Ягичу в том же ответном письме: «Это одна из подготовленных работ для будущих критических изданий произведений народной поэзии. Я думал было печатать это сочинение по частям в „Филол. Записках“ или в „Русском Филол. Вестнике“, но, конечно, предпочту Академическое издание. Поручение Академии рассмотреть сборник Головацкого отвлекло меня от предложенной мною обработки уже, к сожалению, залежавшегося и отчасти выдохшегося моего сочинения о глаголе и заставило обратиться к малорусской народной поэзии, с которой я и начал 20 лет тому назад. Я об этом не жалею, потому что и по этому предмету, здесь в Харькове имеющему свою традицию (Костомаров, Метлинский и некот. другие), пора мне очищать свои счеты». В своих «Воспоминаниях» Ягич пишет: «Не могу себе простить, что я не выполнил его пожелания напечатать его обстоятельное исследование о некоторых видах народных песен в „Сборнике“ Отделения». Объяснялось это, по словам Ягича, холодным отношением к Потебне Веселовского, который не считал его исследование интересным, и нежеланием Грота допускать к печатанию в «Сборнике» людей, не принадлежащих к петербургскому кругу (В. Јагић, Спомени мојега живота, део II, стр. 60—61).

[22] Имеется в виду книга одного из наиболее крупных специалистов того времени по украинскому языку (наряду с Потебней и Житецким) О. Огоновского «Studien auf den Gebiete der ruthenischen Sprache» (Lemberg, 1880). Потебня отвечал Ягичу: «Сочинение Огоновского я бегло прочел. Вы справедливо заметили, что он утрирует особность мр. наречия. У многих это происходит от ложного мнения, что как бы в награду за особность языка сама собою дается письменность. Впрочем рецензию писать не буду, т. к. в последнее время этой частью грамматики не занимался и ничего нового не скажу» (см. В. Јагић, Спомени мојега живота, део II, стр. 59—60).

23 февр. 1889. Вена.

Многоуважаемый Александр Афанасьевич!

Извините, что я поздно исполняю долг; давно уже следовало мне поблагодарить Вас за очень любезную присылку Вашего новейшего труда, с первым изданием которого я хорошо знаком [23], и к моему удовольствию замечаю, что и другие сумели оценить его по достоинству. Не знаю, дошла ли до Вас статья д-ра Форсмана из Штрасбурга о употреблении неопределенного в Остром. евангелии [24]? В этой удачной монографии, появившейся довольно неожиданно (по крайней мере для меня) на западной окраине Германии, отдается полная справедливость Вашим глубокомысленным синтаксическим исследованиям! Постараюсь обратить внимание читателей «Архива» на новое издание, изучение которого я поневоле должен был отложить до того времени, когда придется сказать о нем несколько слов.

Переселением в Вену у меня прибавилось много официальных занятий: лекции, практические занятия, дела слав. филолог. семинария — все это отнимает у меня много времени. Для редакции «Архива» остается немного. Не хочется расстаться вполне и с нашей петербургской академией. Таким образом выходит pluribus retentus [25] minor ad singula sensus [26].

Наша здешняя молодежь переживает трудное время брожения умов. По национальностям происходит группировка и дробление, постоянные волнения, подстрекаемые органами «общественного мнения», не позволяют большинству сосредоточить свое внимание на специальных науках. В течение трех лет у меня оказался всего на все один многообещающий ученик, словенец Облак, замечательный грамматический талант. Увы — здоровье его уже теперь (настолько) плохое, физические силы надломлены, ожидает и меня такая утрата, какая постигла несколько лет тому назад Вас, когда скончался Ваш ученик Попов [27].

Надежды, которые я возлагал на учеников петербургских, знакомых и Вам Григорьева и Ляпунова, не оправдались до сих пор. Григорьеву, должно быть, повредили обстоятельства семейной жизни, Ляпунов какой-то неисправимый cunctator. Жаль, у него довольно солидные познания. Судя по последнему письму его, он заинтересовался тоже вопросами синтаксическими, что мне очень приятно [28].

У меня по моей, должно быть, вине прервались сношения с товарищами по специальности. Да их-то очень мало. Но с такими представителями нашей науки, как Вы, многоуважаемый Ал. Аф., было бы приятно побеседовать и чаще. Жаль, что не предвидится, когда мы встретимся для личного знакомства. Меня путь дорога не ведет по направлению к Харькову, Вы не обещаете прибыть к нам, т. е. если не в Вену, так хоть бы в Прагу. Мои занятия ведут меня время от времени в Москву и Петербург [29]. В ближайшем будущем собираюсь на юг, к сербам и болгарам.

Я теперь печатаю «Рассуждение южнославянской и русской старины о церков-

---

[23] Речь идет о втором издании книги «Из записок по русской грамматике» (I,II), Харьков, 1888. Первое издание вышло в Воронеже (I) и Харькове (II) в 1874 г.

[24] См. Th. Forsmann, Der Infinitiv im Ostromirischen Evangelium, Strassburg, 1888.

[25] В рукописи: rutentus.

[26] «Многим отягощенная мысль менее обращена к отдельному».

[27] А. А. Потебня писал В. Ягичу 1 ноября 1880 г.: «Результатами не похвалюсь. Попадаются люди, которым не даром читал, но редко. А. Попов, сочинение которого „сравнит. синтаксис именит. и винит." Вы заметили, умер 26 сент. от скоротечной чахотки, неуспевший додержать до конца корректуры своего сочинения. Такая молодость, как казалось, сила физическая, такие обширные планы и соразмерное с ними трудолюбие, и так сгореть! Он был стипендиат нашего ун-та и стал бы честью если не его, то другого русского. Почти в одно время с ним умер от той же болезни другой приват-доцент Андриевский (по латин. яз. и слов.), тоже человек очень молодой и не без дарований, а старое и никчемное два века живет. Вот где тонко, там и рвется» (см. В. Јагић, Спомени мојега живота, део II, стр. 60).

[28] Б. М. Ляпунов учился у В. Ягича в Петербургском университете. Вместе с рядом своих товарищей-старшекурсников (Д. И. Шаховской, Е. В. Петухов, Н. В. Шляков, П. К. Симони, А. А. Григорьев, А. Тихвинский, Н. А. Смирнов и др.) он входил в кружок славянорусской филологии, находившийся под покровительством и руководством Ягича. После окончания университета в 1885 г. Ляпунов по собственному желанию и рекомендации Ягича переехал в Харьков для слушания лекций Потебни и Дринова. Потебня писал в письме к В. И. Ламанскому 7 февраля 1891 г.:« ...Теперь у меня (на дому) 3 слушателя, в том числе один из ваших кандидатов, Ляпунов, который здесь держит на магистра славянской филологии. Из него будет прок» (см. сб. «Памяти Александра Афанасьевича Потебни», Харьков, 1892, стр. 51).

[29] В венский период своей деятельности В. Ягич неоднократно приезжал в Россию для личного участия в начинаниях Академии. В 1887 г. он участвовал в Археологическом конгрессе в Ярославле.

нослав. языке». Южнослав. часть вскоре кончится. Тогда приступлю к разного рода грамматическим статьям, появившимся в России начиная от Максима Грека. Не имеется ли в Харькове или по Вашим сведениям в какой-либо другой местности рукописи грамм. содержания из XVI—XVII столетия?

Покорнейше прошу Вас передать мой поклон Дринову, самому же принять уверение в моем отличном к Вам уважении.

Ваш *И. В. Ягич*

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА А. И. СОБОЛЕВСКОГО О СОСТАВЛЕНИИ СЛОВАРЕЙ ДРЕВНЕРУССКОГО И СТАРОРУССКОГО ЯЗЫКА *

Наиболее назревшею потребностью для русской науки является составление словарей русского языка, особенно словаря древнего и старого русского языка.

Как известно, «Материалы» Срезневского ограничиваются XIV веком и лишь случайно заходят в поздний период. О неполноте их говорил сам автор, и ее вполне сознавало наше Отделение, когда печатало этот труд. После выхода в свет последнего выпуска «Материалов» был поставлен вопрос об их продолжении во всех направлениях. Он не дошел до решения в Отделении и ограничился беседами между мною, покойным Шахматовым и некоторыми другими лицами. Теперь, когда мы имеем в своей среде П. А. Лаврова и Б. М. Ляпунова и когда среди членов-корреспондентов Отделения находятся такие почтенные ученые, как А. В. Михайлов, наступило время организовать словарные сборы, придав им возможно широкие размеры и возможно значительное разнообразие.

Я полагаю, что необходимо образовать при Отделении специальную «Комиссию по собиранию словарных материалов» с центром в Петербурге и с отделениями в Москве и других городах, где имеются достаточные ученые силы.

Главное условие — строгий порядок работы. Дальнейшее условие — постоянное осведомление членов комиссии о ходе работы, чтобы один и тот же памятник письменности не был предметом занятий двух ученых одновременно.

Хранение собраний словарных материалов должно быть сосредоточено в Петербурге, в Академии наук, и потому — в петербургский центр должны быть сдаваемы по мере накопления материалы отделений Комиссии. Обработка материалов должна происходить также в Петербурге, чтобы было и достаточное однообразие и постоянная возможность навести справку и познакомиться с данными. Конечно, Отделение должно позаботиться и о помещении материалов, и о работнике, подбирающем данные по алфавиту и по группам.

Группы должны быть следующие:

1. Материалы для словаря древнего ц.-славянского языка;

2. Материалы для словаря как ц.-слав., так и др.-русского языка, пополняющие «Материалы» Срезневского, т. е. словарные извлечения из памятников русского письма, составленных или переведенных не позднее XIV века, по спискам XI—XVII столетий;

3. Материалы для словаря старого языка Московской Руси по памятникам литературы, законодательства и делопроизводства, оригинальным и переводным XV—XVII вв.;

4. Материалы для словаря старого языка Польско-Литовской Руси по памятникам литературы, законодательства и делопроизводства, оригинальным и переводным XIV—XVII веков.

Комиссия и ее отделения работают не только над собиранием материалов (хотя собирание — главная их задача), но также и над обработкой этих материалов с точки зрения происхождения, звуковой формы, грамматических особенностей и — главным образом — значения. Поэтому они должны иметь право собираться в закрытые и открытые заседания, печатать повестки, проекты, протоколы и т. п., входить в сношения с учеными обществами и устанавливать с ними те или другие связи и соглашения.

Комиссия, возможно — часто, в «Известиях» или как окажется наиболее удобно, сообщает своим отделениям и всем ученым сведения о работах: где, кто, над каким памятником работает, какие труды подходящего содержания вышли в свет или готовятся к изданию, какие вопросы затрудняют или замедляют работу, какие выступают на очередь и т. п.

Само собой разумеется, Комиссия и ее отделения не только не должны препятствовать ученым работать над какими-либо памятниками и связанными с ними вопросами, но обязаны всеми своими средствами содействовать всякого рода исследованиям, сообщая для них все данные, которыми располагают.

Не касаюсь вопросов, связанных с денежными средствами; эти вопросы должны быть обсуждаемы особо.

2—15/V 1925 года *А. Соболевский*

---

* Докладная записка А. И. Соболевского передана в редакцию Г. Ф. Нефедовым (Ленинград).— *Ред.*

№ 2 1960

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

ПОЛЬСКАЯ ДИАЛЕКТОЛОГИЯ ПОСЛЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ [1]

1

Начало научному изучению диалектов польского языка было положено монографией А. Малиновского, посвященной опольским говорам Нижней Силезии [2]. Из школы Л. Малиновского вышла большая группа увлеченных диалектологией, хорошо подготовленных исследователей во главе с К. Ничем, который по праву считается творцом польской диалектологии. На основании своих собственных наблюдений, а также используя материалы других исследователей, К. Нич дал обобщающее описание всей польской языковой территории в ее диалектной раздробленности [3], и доныне являющееся основополагающим трудом по польской диалектологии. С именем К. Нича связан большой период в истории польской диалектологии. Он воспитал и вырастил целую плеяду диалектологов — достаточно назвать, например, М. Малэцкого, З. Штибера, П. Голомба. Созданный им совместно с М. Малэцким «Лингвистический атлас польского Прикарпатья» [4] прекрасно характеризует состояние и уровень данной науки в Польше перед второй мировой войной.

Большие потери в кадрах, понесенные польской диалектологией во время второй мировой войны, сделали неотложной задачей первых послевоенных лет подготовку новых научных работников, способных успешно справиться с теми задачами, которые стояли и до сих пор еще стоят перед польской диалектологией. После второй мировой войны польская диалектология опирается на достижения предыдущего периода, характерной чертой которого было рассмотрение диалектов как важного источника для познания истории языка. Этим объясняется преимущественный интерес исследователей к тем особенностям диалектов, которые позволяют объяснить эволюцию польского литературного языка [5], что, конечно, не исключает изучения всей диалектной системы в целом. Такой подход к народным говорам во многом был определен продолжительной дискуссией о происхождении польского литературного языка.

Как известно, существуют две точки зрения на данную проблему. Одни ученые усматривают начало польского литературного языка в комплексе малопольских диалектов, другие же принимают за основу говоры Великопольши. Отвлекаясь от фактов филологического порядка, от фактов историко-языковых и историко-культурных, имеющих для разрешения этой проблемы принципиальное значение, ограни-

---

[1] В статье нами приняты следующие сокращения: Biul — «Biuletyn fonograficzny», «Lingua posnaniensis», IV—zeszyt dodatkowy; BPTJ — «Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego», Kraków; JP — «Język polski», Kraków; KPom — «Konferencja pomorska (1954). Prace językoznawcze», Warszawa, 1956; LP — «Lingua posnaniensis»; On — «Onomastica», Wrocław; PorJ — «Poradnik językowy», Warszawa; PPol — «Prace polonistyczne», Łódź; PZ — «Przegląd zachodni», Poznań; RKJ — «Rozprawy Komisji językowej (Łódzkiego towarzystwa naukowego)»; RS — «Rocznik slawistyczny», Kraków; SAU — «Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej Akademii umiejętności», Kraków; Sp — «Sprawozdania z posiedzeń naukowych Instytutu językoznawstwa U. J. za r. 1952—1953», Kraków, 1953; SPAN — «Sprawozdania z prac naukowych Wydziału nauk społecznych PAN», Warszawa; Spraw — «Sprawozdania z posiedzeń Komisji językowej towarzystwa naukowego Warszawskiego», Warszawa; Studia — «Studia z filologii polskiej i słowiańskiej», Warszawa; ZNAM — «Zeszyty naukowe Uniwersytetu A. Mickiewicza», Filologia, I, Poznań, 1957; ZNF — «Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego», Filologia, Kraków; ZNŁ — «Zeszyty naukowe U. Ł. Nauki humanistyczno-społeczne»; I, Łódź, 1955; ZNOp — «Zeszyty naukowe. Językoznawstwo», I — Wyższa szkoła pedagogiczna w Opolu, 1957; ZNWr — «Zeszyty naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego», Seria A, № 5, 1957. В настоящем обзоре учитываются работы, вышедшие до 1958 г.

[2] L. Malinowski, Beiträge zur slavischen Dialektologie, Leipzig, 1873.

[3] K. Nitsch, Dialekty języka polskiego, Krakow, 1915. Третье издание вышло в Вроцлаве в 1957 г.

[4] «Atlas językowy polskiego Podkarpacia», Kraków, 1934.

[5] См. З. Штибер, Роль отдельных диалектов в формировании польского литературного языка, ВЯ, 1956, № 3.

чимся здесь рассмотрением проблемы использования материалов современных диалектов при изучении эволюции литературного языка. Проблема эта сводится (конечно, с серьезными ограничениями) к следующим основным вопросам: в какой степени отражают современные говоры исторические отношения эпохи раннего средневековья? В какой мере анализ и сравнение современных говоров позволяют установить хронологию отдельных изменений в структуре польского языка? Каково отношение диалектных данных к филологическим свидетельствам старопольских памятников?

В научной литературе легко выделяются два направления в решении этих вопросов. Первое из них судит о прошлом польских говоров почти исключительно на основе современных данных (а именно при помощи анализа географического распространения отдельных черт — фонетических, грамматических и лексических) и на базе связей языковых явлений с историей материальной культуры, с миграцией населения, с экспансией одних диалектов на другие [6]. Сторонники этого методологического подхода придают особое значение устойчивости границ географического распространения языковых черт, а также их широкому соответствию с границами племен. При таком понимании общее состояние современных польских диалектов предстает как результат очень раннего расслоения, происшедшего задолго до эпохи феодализма. Позднее феодализм закрепил эту дифференциацию в границах церковного деления (епархии и архиепархии) [7]. Таким образом, согласно излагаемой точке зрения, современные говоры играют для установления диалектных взаимоотношений в средневековье решающую роль. Понятно, что филологические факты при такой постановке вопроса представляют значительно меньший интерес, особенно для тех диалектных явлений, которые засвидетельствованы в памятниках далеко не единообразно и имели в древнепольском языке окказиональный характер, например мазурение, переход *-ch*⩾*-k* [8].

Иную позицию занимают те исследователи, которые исходят из филологических фактов и пробуют установить соотношение диалектов в средневековой Польше главным образом именно на такой основе. Конечно, при этом используются и данные современной диалектологии, но они выполняют лишь вспомогательную роль, являясь как бы исходным пунктом исследования. При таком подходе известные в настоящее время диалектные черты изучаются по памятникам с точки зрения их исторического распространения. В зависимости от конкретной ситуации оба источника, т. е. филологические данные и современные говоры, используются по-разному. Таким путем достигается взаимодействие обоих методов исследования истории диалектов, причем преимущество отдается фактам филологических источников. Подобное понимание исторической диалектологии полнее всех сформулировал В. Ташицкий. По мнению этого автора, «существует одна историческая диалектология без какого бы то ни было разграничения, использующая все возможные источники, все исследовательские средства» [9]. Наиболее филологическое, а следовательно, и наиболее одностороннее понимание исторической диалектологии проявляется в трудах В. Курашкевича (см. прежде всего его работу «Происхождение польского литературного языка в свете данных исторической диалектологии» [10]).

Оба приведенных исследовательских метода принципиально не противостоят друг другу. Правильнее было бы говорить лишь о разной степени привлечения диалектных данных для исторического изучения языка, так как общим для этих методов является историко-эволюционный подход к диалектам, при котором современные говоры понимаются как средство глубже проникнуть в историю данного языка и который является главной чертой польской диалектологии.

Если само понятие языка как системы в целом является для польской диалектологии положением бесспорным (хотя нередко и по-разному трактуемым), то цели и метод исследований могут пониматься по крайней мере в двух вариантах. Разница между ними ярче всего выступает при сравнении так называемых краковской и варшавской школ и с некоторыми упрощениями может быть представлена следующим образом: краковский центр (названия эти очень условны, деление не является абсолютно географическим) постулирует и осуществляет фонологический анализ и фонологическую интерпретацию диалектного материала, варшавский — фонетический. Очень важно, что обеим школам свойствен историзм, правда, с некоторы-

---

[6] См. K. Nitsch, Co to jest dialektologia historyczna?, BPTJ, zesz. VIII 1948, стр. 119—122; его же, Co wiemy naprawdę o dialektach ludowych XVI wieku?, JP, XXXIII, 4, 1953, стр. 225—244.

[7] См. K. Nitsch, Granice mazurzenia w świetle Polski plemiennej, BPTJ, zesz. X, 1950, стр. 159—163.

[8] См. K. Nitsch, Najdawniejsza małopolska cecha dialektyczna, SAU, t. L, № 8, 1949, стр. 410—413. Наиболее яркое применение этого метода см. в его статье «Z historii narzecza małopolskiego», «Symbolae grammaticae in honorem I. Rozwadowski», II, Kraków, 1928, стр. 451—465.

[9] См. W. Taszycki, Co to jest dialektologia historyczna?, ZNF, zesz. 2, 1956, стр. 59—61. См. также его работы: «Południowo-zachodnia granica mazurzenia i przejścia *-ch*⩾*-k*», SAU, t. LI, № 6,1950, стр. 318—323; «Dawność tzw. mazurzenia w języku polskim», Warszawa, 1948; «Kilka uwag o chronologii mazurzenia», PorJ, zesz. 5, 1953, стр. 19—22.

[10] W. Kuraszkiewicz, Pochodzenie polskiego języka literackiego w świetle wyników dialektologii historycznej, Wrocław, 1953.

ми различиями в акценте: варшавская школа больше внимания уделяет тенденции развития, т. е., говоря в общем, устремляется мыслью в будущее, краковская же школа, напротив, видит основную задачу в использовании говоров для изучения прошлого, интересуется уже происшедшими изменениями и их причинами, прежде всего внутри самой системы языка. Во всяком случае обе эти школы основаны на историческом понимании языка. Что же их разделяет?

Прежде всего способ изучения и метод интерпретации материала. При изучении какого-либо диалекта краковская школа стремится зафиксировать наиболее типичное, самое старое или даже архаическое произношение и с исторической точки зрения, следовательно, более ценное. Она старается установить фонологическую систему данного говора со всеми фонологическими вариантами, чтобы в свою очередь элементы этой системы замкнуть в пределы изоглосс, перенести на карту и получить, таким образом, четкую целостную картину, иногда, может быть, несколько упрощенную, но удобную для сравнений и доступную интерпретации. Понятно, что при подобном методе исследования необходимо записать речь многих лиц. Лишь из суммы типов произношения складывается обобщенное представление о типичной системе с различными ее вариантами или же подсистемами. Итак, прежде всего устанавливается число фонем, их фонетические реализации и функции.

Безусловно, различные устанавливаемые системы не изолированы друг от друга, а напротив, сосуществуя, взаимодействуют и смешиваются, даже у одного и того же лица. Трудно представить себе так называемую чистую систему. Мы можем говорить лишь о различных пластах: старом и более новом, диалектном и литературном. Мы можем отметить внутренние тенденции развития, обусловленные структурой данного диалекта, и элементы чужие, различным образом нарушающие первоначальную систему, вследствие чего, например, в одних и тех же словах можно встретить и исконные, старые, и новые фонемы: в одних и тех же словах мы слышим *á* наряду с так называемым ясным *a*. Анализируя элементы системы, устанавливая их иерархию, краковская школа стремится прежде всего выявить основной исконный исторический слой.

Иную позицию занимает варшавская школа: основное внимание здесь уделяется индивидуальной актуализации речи, изучается речь лишь одного лица (реже — двух, больше двух — лишь в исключительных случаях), причем реализация всех звуков трактуется в одной функциональной плоскости. Целью исследования является не установление системы основных фонем и их вариантов, а описание отношений отдельных реализаций друг к другу в их количественных пропорциях. Исходя из общепольской системы, мы устанавливаем, например, что *á* суженное реализуется в данном диалекте как *á* — *x* раз, как *a* — *y* раз, как *o* — *z* раз. Таким образом, получается пропорция $x : y : z$, причем наибольшее в процентном отношении число, наиболее часто встречающееся звучание признается типичным, доминирующим. Эти количественные отношения позволяют установить направление дальнейшего развития, т. е. выяснить, который из указанных типов произношения (*y* или *z*) начинает распространяться наряду с *x* в качестве равноправного, а при учете общих тенденций развития данного диалекта может быть признан продуктивным. Таким путем мы можем определить направление развития существующих и новых, зарождающихся реализаций отдельных звуков [11].

Оставляя в стороне способ подачи языковых явлений (диаграммы, символы), перенесенный в диалектологию из естественных наук, обратимся к основному различию рассматриваемых здесь направлений. Оно заключается в том, что в одном случае целью исследования является, собственно говоря, langue, в другом — parole. Обе школы стараются уловить в диалекте типичные элементы, но одна устанавливает их типичность анализом всей системы фонетических позиций, функций, другая же — путем количественного сопоставления реализаций данного звука. Их противопоставление относится к методу анализа, конкретно к применению статистики. Бесспорно, статистический метод приносит большую пользу в лингвистических исследованиях, но является ли он единственно надежным? Не вызывает никаких сомнений применение его к прошлому в оценке филологических фактов; в этом случае мы располагаем определенными постоянными числами, и количественные сопоставления позволяют во всей полноте установить типичные, характерные черты языка памятника или писателя, что в свою очередь облегчает сравнение различных хронологических состояний. Однако и при этих условиях необходимо правильно интерпретировать тексты, устранять возможные ошибки. Гораздо нужнее оказывается такой предварительный анализ при изучении живых диалектов, когда субъективный момент проявляется со всей ясностью и очевидностью. Часто анализ функций отдельных элементов, областей распространения различных вариантов вполне обеспечивает установление фонологической системы, а это, в свою очередь, позволяет оценить различные варианты произношения (типы реализаций) и выявить их иерархию. Приведенные оговорки ни в коей мере не пред-

[11] См. подробнее: Z. Klemensiewicz, Dorobek językoznawstwa polonistycznego w dziesięcioleciu Polski Ludowej, BPTJ, zesz. XIV, 1955, стр. 43—46; J. Tokarski, Z zagadnień dzisiejszej dialektologii, PorJ, zesz. 1, 1949, стр. 18—24; W. Doroszewski, Przedmiot i metody dialektologii, PorJ, 1953, zesz. 1 — стр. 1—8, 2 — стр. 1—7, 3 — стр. 2—10, 4—стр. 4—12; его же, Strukturalizm a dialektologia, SPAN, I, 2, 1958, стр. 26—34.

решают степени пригодности обоих методов, ибо использование их зависит исключительно от конкретных условий.

С вышеизложенными положениями тесно связана проблема методики собирания диалектного материала, а именно проблема так называемого импрессионистического и нормализаторского способов записей говоров. Первый из них рассматривает все записанные факты в одной плоскости, непосредственно, другой же предполагает определенную селекцию материала, его дальнейшую проверку в целях исключения всех субъективных моментов, которые могут появиться по самым различным причинам (неудачный выбор диктора, недостаточное знакомство исследователя с данным говором, возможные ошибки). Здесь важно отделить надежные сведения от сомнительных, причем совершенно недопустимы какие-либо исправления, изменения в записях, подтягивание их к заранее принятой схеме. При анализе записей необходимы определенная оценка, разграничение фактов. Так, например, если в говорах западной Малопольши отмечается *bžuk* наряду с изолированными *bžuch*, то можно установить следующее: 1) наличие перехода конечного *-ch*⩾*-k*, 2) появление новых отношений, а именно восстановление былого *-ch*. Выяснение последнего в принципе очень просто и не требует количественного анализа: формы с *-ch*, несомненно, являются новыми; вероятнее всего, они восприняты из литературного языка (не исключена также возможность аналогического выравнивания) [12].

2

Переходим к описанию важнейших работ послевоенного периода. Первое место здесь, несомненно, принадлежит работе над «Малым атласом польских говоров» и «Словарем польских говоров», ведущейся в Кракове, до недавнего времени — под руководством К. Нича. «Малый атлас», первая тетрадь которого вышла из печати (Wrocław—Kraków, 1957), заключает в себе данные из 116 основных и многих так называемых дополнительных пунктов, а также материалы из печатных изданий и рукописной картотеки диалектного словаря. В целом каждая карта «Атласа» охватывает 250—300 пунктов. Программа, на базе которой создан «Атлас», составлена в основном З. Штибером и содержит 601 вопрос (475 лексических и 126 грамматических). Все издание будет состоять из 10—12 выпусков; в каждом выпуске 50 карт и том комментариев к ним [13]. От предыдущих трудов такого типа «Малый атлас», с одной стороны, отличается широтой и разнообразием материала (так как охватывает не только ответы на анкету; это, конечно, несколько нарушает однородность источников, но в то же время позволяет более точно определить границы отдельных явлений). С другой стороны, он характеризуется многообразием способов картографирования материала. Наряду с картами, снабженными надписями (№ 11), там имеются карты точечные (№ 1), плоскостные (№ 22), карты с комбинированным обозначением (№ 45), разноцветные карты. Кроме того, широко употребляются изоглоссы. Каждая карта снабжена исчерпывающим комментарием, содержащим список дополнительных пунктов, грамматические и семантические замечания и общую географо-лингвистическую характеристику данного слова или значения. При вышеуказанном способе, как мы видим, имеет место не только описание сырого материала, но и его научная интерпретация, обобщение, дающее возможность сравнивать. Комментарий содержит также определенные библиографические ссылки, становясь отчасти как бы небольшой монографией по данной проблеме.

Таким же серьезным делом польской диалектологии является подготовительная работа к «Словарю польских говоров», начатая К. Ничем около 1925 г. В настоящее время идет собирание материала по самым различным источникам: по печатным работам, по рукописям—записям непосредственных наблюдений и по составленным лингвистами-автохтонами словарям отдельных деревень. В основу словаря лягут последние материалы, которые наиболее полно отражают словарный запас данной деревни, а в целом своими данными охватывают почти всю Польшу. Видимо, уже в скором времени можно будет приступить к редактированию и изданию словаря. Поскольку Б. Сыхта специально подготавливает кашубский словарь, возникает вопрос о привлечении кашубских материалов и особенно об использовании словарем богатых кашубских собраний, какими располагает руководимый З. Штибером II Варшавский диалектологический сектор. Сейчас необходимо выработать редакционные принципы, установить временные границы словаря, определить его отношение к «Малому атласу» и многое другое, имея при этом в виду, что новый словарь призван достойно заменить несовершенный и уже устаревший «Словарь польских говоров» Я. Карловича.

Наряду с названными общими исследованиями ведется изучение отдельных частей польской языковой территории и прежде всего диалектов северной Польши [см.: Е. Каминьска, Я. Палковска, Г. Поповска, З. Тополиньска, «О проделанной работе над диалектологическим атласом левобережного Поморья» (PorJ, zesz. 10, 1955, стр. 379—387)]. Исследование кашубских диалектов, проводимое под руководством З. Штибера, ввиду специфики изучаемых говоров представляет большой инте-

[12] О технике диалектологического исследования см.: A. Zaręba, O metodach i technice badań gwarowych, BPTJ, zesz. XIV, 1955, стр. 140—156; его же, Uwagi o geografii słowotwórczej, BPTJ, zesz. XVI, 1957, стр. 165—174; L. Kaczmarek, Fonograf na usługach dialektologii i etnografii muzycznej w Polsce, Biul 1, 1953, стр. 19—54.

[13] См. об «Атласе» ВЯ, 1958, № 6, стр. 102—103.

рес как для польской диалектологии, так и для всей славистики в целом [см. З. Штибер, «Главные проблемы современного изучения кашубщины» (PorJ, zesz. 2, 1958, стр. 201—202)].

Другим серьезным объектом исследования являются диалекты Вармии и Мазур — их интенсивно изучают варшавские диалектологи под руководством проф. В. Дорошевского [см. В. Дорошевский, Г. Конечна, В. Помяновска, «Говоры Вармии и Мазур» (KPom, стр. 113—148). См. также многочисленные статьи об этой языковой территории, в течение многих лет печатавшиеся на страницах журнала «Poradnik językowy»]. Территориально связываются с вышеупомянутыми работами исследования диалектов хелминской земли проф. Г. Турской [см., например, ее работу «Диалект хелминской земли и его экспансия на соседние говоры» (KPom, стр. 87—112)].

Еще до войны начал изучать говоры Великопольши А. Томашевский; в настоящее время, опираясь на его материалы, работу продолжает проф. В. Курашкевич. Проф. К. Дэйна готовит диалектологический атлас Келецкого воеводства (см. ZNŁ, zesz. 1, 1955, стр. 9—23). Интенсивные исследования говоров Любельщизны ведет люблинский научный центр [см.: Т. Брайерский, «Изучение диалектов Люблинского воеводства» («Orbis», t. V, № 2, 1956, стр. 411—420); Т. Брайерский и П. Смочиньский, «Люблинский диалектологический сектор: I. Изучение говоров Люблинского воеводства, II. Сообщение об атласе люблинских говоров» (JP, XXXVIII, 1, 1958, стр. 77—80)]. Начато изучение диалектов Силезии — их проводит доц. А. Заремба [см. его исследование «Из диалектологических исследований в Старых Селковицах» («Etnografia Polski», I, Wrocław, 1958, стр. 109—116)],— а также говоров Оравы (А. Заремба и М. Карась).

Размах работ по созданию диалектологических атласов потребовал обсуждения и выработки соответствующих программ, отвечающих полевым условиям [см.: В. Ценковский, «Вопросник для собирания диалектного словаря» (PorJ, zesz. 9, 1952, стр. 30—35); К. Дэйна, «Вопросник для „Атласа говоров Келецкого воеводства“» (RKJ, t. IV, 1956, стр. 61—75); А. Басара, «Несколько замечаний о вопроснике к „Атласу говоров Келецкого воеводства“» (PorJ, zesz. 8, 1957, стр. 371—372)]. Большой интерес представляет общепольская программа по собиранию диалектной лексики, подготовленная Первым диалектологическим сектором в Варшаве под редакцией проф. В. Дорошевского [тетрадь I — «Животноводство и фауна»; II — «Флора»; III — «Народная техника»; IV — «Общественная и духовная культура» (Warszawa, 1958)].

Внимание польских диалектологов вновь привлекает проблема общеславянского лингвистического атласа, охватывающего всю территорию, занятую автохтонным славянским населением. В этом коллективном исследовании, как предполагается, должны участвовать все славянские научные центры. Подобный труд имел бы огромное значение для создания сравнительной грамматики и сравнительной лексикологии славянских языков [см.: З. Штибер, «О проекте общеславянского диалектологического атласа» («Славянская филология. Сб. статей», I, М., 1958, стр. 129—135); В. Помяновска, «К вопросу об Атласе славянских языков» (PorJ, zesz. 9, 1957, стр. 385—392)].

3

Среди монографических исследований по польской диалектологии, относящихся к послевоенному периоду, отметим в первую очередь книгу З. Штибера «Основы западнославянской диалектологии и хрестоматия диалектных текстов» (Z. Stieber, «Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich z wyborem tekstów gwarowych», Warszawa, 1956) — первое польское издание такого типа. Важное значение имело переиздание в последние годы ряда трудов К. Нича. Популярным изложением его работ о говорах Поморья является произведение Л. Забродкого «Язык польского народа» («Mowa ludu polskiego. Ziemie staropolskie», t. IV. «Warmia i Mazury», cz. I, Poznań, 1953, стр. 247—264).

Представление о задачах и направлениях диалектологических исследований в Польше дает статья З. Штибера «Задачи польской диалектологии» (BPTJ, zesz. XI, 1952, стр. 156—161). Критический обзор современного состояния польской диалектологии составил М. Карась [«Диалектологические труды десятилетия 1944—1954 гг.» (JP, XXXV, 3, 4, 1955, стр. 202—213, 300—308)]. Замечания о диалектологических исследованиях можно найти в статьях: З. Штибер, «Польское языкознание в 1945—1955 гг.» (ВЯ, 1956, № 4, стр. 142—151); Т. Лер-Сплавинский и А. Заремба, «Успехи польской науки в области славянского языкознания после второй мировой войны» («Beogradski međunarodni slavistički sastanak», Beograd, 1957, стр. 289—310). Богатые библиографические данные заключает в себе также статья А. Зарембы «Славянская лексическая география в польской лингвистической литературе» («Z polskich studiów slawistycznych. Prace język. i etnogen...», Warszawa, 1958, стр. 109—124). Труды о Поморье получили свою оценку в статье К. Нича «История изучения говоров северной Польши» (KPom, стр. 11—20). Работы по силезским говорам подробно рассматривает С. Бонк: «Диалектологические исследования в Силезии до Люциана Малиновского» (S. Bąk, «Prace dialektologiczne na Śląsku przed Lucjanem Malinowskim», Katowice, 1945) и «Из истории изучения нижнесилезских говоров» (ZNWr, стр. 65—130).

Из работ, посвященных изучению говоров отдельных территорий и отдельных деревень, назовем следующие: С. Бонк, «Диалекты Силезии» («Dialekty Śląska. Oblicze ziem odzyskanych. Dolny Śląsk», t. I, Wrocław, 1948, стр. 285—332); «Народные говоры Нижней Силезии» («Gwary lu-

dowe Dolnego Śląska», cz. I, Poznań, 1956); З. Штибер, «Проблема языковой и этнической обособленности Подгалья» («Problem językowej i etnicznej odrębności Podhala», Łódź, 1947); З. Голомб, «О внутреннем расслоении подхалянского говора» (JP, XXXIV, 2, 1954, стр. 85—111); Е. Павловский, «Подегродский говор» (E. Pawłowski, «Gwara podegrodzka», Kraków, 19.5); «Характеристика говора Выжных Сромовец и новая группировка татранско-бескидских говоров» (SAU, t. LI, № 6, 1950, стр. 327—333); М. Карась, «Диалектологические исследования территории старого вислицкого повета» (SAU, t. LIII, № 6, 1952, стр. 421—423).

Полное синтетическое описание говоров отдельных деревень, а равно богатый материал содержат работы: А. Паздурувна, «Говор деревни Вздул в Келецком повете» (RKJ, t. V, 1957, стр. 155—169); А. Мошинский, «Монографическое описание говора деревни Руды в Пулавском повете» (Studia, 3, 1958, стр. 7—60); Б. Линдертувна, «Говор района Спичин в Люблинском воеводстве» (Studia, 1, 1955, стр. 203—222); В. Стаховска-Дембецка, «Говор деревни Закшево в Равицком повете» (Studia, 3, 1958, стр. 81—127); Я. Мацяк, «Описание говора деревни Кваткув в Островском повете» (Studia, 2, 1957, стр. 181—199); З. Загурский, «Говор деревни Розенталь» (ZNAM, стр. 101—116), «Говор деревни Полчино» (там же, стр. 87—100); Х. Гурнович, «Надвислинский говор мальборкского диалекта» (JP, XXXIV, 4, 1954, стр. 265—272). Особое место здесь занимает интересная монография К. Нича «Хвалимский диалект» (PZ, VIII, 11/12, стр. 428—448) о ныне исчезнувшем говоре силезского диалекта в юго-западной Великопольше. См. также Р. Олеш, «О хвалимском диалекте в его ранних границах на территории Познань—Западная Пруссия» (R. Olesch, «Zur Mundart von Chwalim in der früheren Grenzmark Posen — Westpreussen», Mainz, 1956, стр. 347—372).

Значительное место среди работ послевоенного периода занимают обобщающие монографии, построенные на материале больших территорий и рассматривающие общепольские проблемы. К ним принадлежат работы З. Соберайского «Куявские говоры» (Z. Sobierajski, «Gwary kujawskie», Poznań, 1952); Х. Фридриха «Курпёвский говор» (H. Friedrich, «Gwara kurpiowska», Warszawa, 1955) — первое серьезное рассмотрение этой языковой области; В. Дорошевского «Фонетические исследования на материале нескольких мазовецких деревень» («Studia fonetyczne z kilku wsi mazowieckich», Wrocław, 1955). Здесь же следует упомянуть названную выше книгу Е. Павловского о диалектах околии Нового Сонча в южной Малопольше. Специальные проблемы являются предметом монографий: А. Зарембы «Названия цветов в диалектах и истории польского языка» («Nazwy barw w dialektach i historii języka polskiego», Wrocław, 1954); Я. Пэтра «Местоимение *każdy* в истории и диалектах польского языка» (J. Petr, «Zaimek *każdy* w historii i dialektach języka polskiego», Wrocław, 1957); А. Фурдаля «Мазовецкая диспалатализация мягких губных согласных» (A. Furdal, «Mazowieckie dyspalatalizacje spółgłosek wargowych miękkich», Wrocław, 1955).

Развитие лингвистической географии требовало детальной разработки методов полевой экспедиционной работы и техники картографирования собранных диалектных материалов. Эти вопросы поднимаются в общих трудах, а также в специальных статьях, из которых назовем следующие: В. Помяновска, «Из работ по лингвистическому картографированию» (PorJ, zesz. 7, 9, 1955, стр. 250—259); Б. Крея, «Методы картографирования диалектных явлений» (JP, XXXVI, 3, 1956, стр. 178—183); И. Винклер-Лещиньска, «К вопросу о картографировании языковых фактов» (там же, стр. 173—178); Х. Аугустынович-Цецерска, «Карты с символами и с надписями (на примере значений и географии слов *banować* и *bantować*)» (JP, XXXVII, 3, 1957, стр. 190—198). К вопросам методики обращается А. Заремба [«Форма подзывания животных как проблема лингвистико-этнографической географии» (ZNF, 4, 1958, стр. 31—42)]. Названные работы предлагают различные типы картографических решений в зависимости от специфики материала (фонетика, морфология, лексика). Иную проблематику работы над «Малым атласом» затрагивает Х. Котульска-Скулимовска в работе «Трудности идентификации названия с предметом» (JP, XXXV, 4, 1955, стр. 298—300). А. Заремба в статье «О необходимости изучения вспомогательных дисциплин для диалектологии» (JP, XXXV, 1, 1955, стр. 51—59) выдвигает требование всесторонней подготовки диалектолога к полевым экспедиционным работам.

Среди конкретных исследований в особую группу выделяются статьи о кашубских диалектах. Наибольший интерес здесь представляет работа З. Штибера «Отношение кашубщины к диалектам континентальной Польши» (KPom, стр. 37—48), в которой автор устанавливает существование в прошлом крепких связей кашубщины с северной Польшей [см. также Г. Поповска, «К вопросу о старых границах распространения кашубщины» (PorJ, zesz. 3, 1958, стр. 126—136)]. Из других работ назовем статьи П. Смочиньского «Отношение современного диалекта Славошина к языку Цейновы» (KPom, стр. 49—86), «Языковые изменения в Люзине за последние пятьдесят лет» (RKJ, t. III, 1955, стр. 77—85); «К вопросу изменений *ḱ*, *ǵ* в Кашубщине и западных северопольских диалектах» (Studia, 3, 1958, стр. 61—79). Группировка кашубских диалектов является предметом работы Я. Зенюковой «Типичные границы распространения языковых явлений на Кашубщине» (PorJ, zesz. 6, 1958, стр. 287—303). На сходные с кашубскими фонетические тенденции, проявляющиеся в диалектах Вармии и Мазур, указывает Й. Войтовичувна в статье «О так называемых кашубизмах в говорах Вармии и Мазур» (PorJ,

zesz. 4, 1956, стр. 145—148). Интересна по своей проблематике работа Б. Сыхты «Способность кашубов к языковому творчеству (на примере синонимов *biedronki*)» (JP, XXVIII, 3, 1958, стр. 217—220). Из других работ, посвященных историко-диалектологической проблематике, следует назвать статьи З. Штибер, «Изменения в фонетике Ястарни за последние сто лет» (JP, XXXIV, 4, 1954, стр. 249—252), «Из опыта диалектологической работы в Вармии» (JP, XXXIII, 1, 1953, стр. 43—47); Б. Вежховска, «Различия в речи поколений» (PorJ, zesz. 10, 1952, стр. 13—24); М. Каминьска, «Заметки о развитии опочненьского говора» (RKJ, t. IV, 1956, стр. 55—60).

Ряд публикаций посвящен изучению письменных свидетельств о старопольских диалектах. Здесь отметим исследование Е. С. Бандтке «Сведения о польском языке в Силезии и о польских силезцах 1821 г.» [J. S. Bandtkie, «Wiadomości o języku polskim na Śląsku i o polskich Ślązakach (1821)», Wrocław, 1952]; отметим также издание анонимного труда «Верхне- и нижнедиалектный путеводитель»(«Der hoch- und plattpolonische Reisegefährte, 1804», Wrocław, 1948). Богатый лексический материал заключен в изданном Й. Майером и С. Роспондом «Собрании польских слов и выражений, переведенных на верхнесилезский язык 1821 г.» (J. Mayer, S. Rospond, «Zbiór polskich słów i wyrażeń na górnośląski język przetłumaczonych, 1821», Wrocław, 1956). Интересна новая работа С. Бонка «Книга разных интересных вещей ... в городке Беруне» («Książka różnych ciekawych rzeczy ... w miasteczku Bieruniu», Wrocław, 1958.) [Все три указанные работы вышли в серии «Из исследований истории силезского диалекта» (вып. I, II и III)—«Z badań nad przeszłością dialektu śląskiego».]

Большое количество статей и исследований посвящено проблемам грамматики: это работа К. Нича «О польских *H*» (SAU, t. LII, № 5, 1951, стр. 287—291); статьи Г. Конечной «О некоторых фонетических тенденциях в польских говорах» (PorJ, zesz. 5, 1958, стр. 208—221); «Диалекты и общепольский язык» (PorJ, 1949, zesz. 2, стр. 1—5; zesz. 3, стр. 5—10); Й. Басары «К вопросу о палатализации заднеязычных согласных *k*, *g*, *x* в восточных Мазурах» (PorJ, zesz. 6, 1956, стр. 221—228); Е. Мацеевского «К вопросу о фонетике сандхи в поморских диалектах» (JP, XXXIV, 4, 1954, стр. 272—275); Я. Хлюдзиньской «Лексическое и словообразовательное расслоение Вармии» (PorJ, zesz. 9, 1953, стр. 23—30). Теоретические проблемы диалектного словообразования рассматривает В. Дорошевский в работе «Словообразование и лингвистическая география. I. Механизм действия аналогии в диалектном словообразовании» (PorJ, zesz. 5, 1954, стр. 2—13).

Морфологии посвящены статьи К. Нича (совместно с Х. Граппеном) «Об окончании *-ę* имен прилагательных женского рода в винительном падеже единственного числа» (JP, XXVIII, 6, 1948, стр. 169—174) и З. Соберайского (совместно с К. Ничем) «К вопросу об окончании *-ę* прилагательных женского рода единственного числа винительного падежа» (JP, XXXI, 4, 1951, стр. 178—180). Интересное морфологическое явление описывает М. Куцала в статье «Усиление подвижного окончания прошедшего времени (*wiedymem poszedł, kupiłagek soli*)» (JP, XXXI, 3, 1951, стр. 125—127). Некоторые синтаксические явления отражены в работах Г. Конечной «Предложения без подлежащего в ловичском говоре» (Spraw, t. III, 1949, стр. 36—49) и «Из истории наречий степени в польском языке» (там же, t. IV, 1952, стр. 83—92), М. Шимчака «Относительные предложения в лэнчицком говоре» (PorJ, zesz. 6, 1958, стр. 311—318).

Наиболее интенсивно в рассматриваемый период развивалась лексикология, главным образом в плане лингвистической географии. Особенно ценными являются большая работа К. Нича «Из истории польской лексики» («Studia z historii polskiego słownictwa», Kraków, 1948), излагающая географическое размещение 27 слов, и самый полный из имеющихся сравнительных исследований такого рода «Сравнительный словарь трех малопольских деревень» М. Куцалы (M. Kucała, «Porównawczy słownik trzech wsi małopolskich», Wrocław, 1957). Богатые диалектные материалы и их лингвистический анализ представлены в работах А. Зарембы «Лексика Неполомиц» («Prace i materiały etnograficzne», t. X, zesz. 1, Wrocław—Kraków, 1952/1953, стр. 126—271), Я. Сятковского «Лексика Вармии и Мазур. Строительство и обработка дерева» (J. Siatkowski, «Słownictwo Warmii i Mazur. Budownictwo i obróbka drewna», Wrocław, 1958). Я. Сымони-Сулковской «Лексика Вармии... Транспорт и связь» (J. Symoni-Sułkowska, «Słownictwo Warmii... Transport i komunikacja», Wrocław, 1958), В. Добжиньского «Лексика деревни Адамово в Млавском повете» (ZNOp, 4, стр. 143—180). Немало лексического материала сообщено также в указанных выше общих монографиях. Интересные наблюдения есть в статье Х. Олесиньской «Несколько замечаний о количественных взаимоотношениях в лексике польских говоров» (JP, XXXVI, 4, 1956, стр. 289—299).

Особую группу образуют работы об обозначении цветов, а именно работы А. Зарембы «К вопросу о диалектных названиях оттенков и сочетаний цветов» (JP, XXVIII, 6, 1948, стр. 162—169), «Название синего цвета и его оттенков в диалектах и истории польского языка» (JP, XXX, 1, 1950, стр. 11—31) и Г. Конечной «Название цветов в ловичском говоре» (PorJ, zesz. 6, 1949, стр. 10—17). Названиями птиц занимаются: А. Заремба, «Из географии и истории слов *wrona*, *gapa* „lorvus cornix“» (Sp, стр. 30—35); Л. Качмарек, «Из географии великопольских названий птиц: *wilga*» (JP, XXXVII, 1, 1957, стр. 55—62). Ср. также работу: Й. Смыль, «Названия летучей мыши в польских говорах» (PorJ, zesz. 4, 1958, стр. 175—182).

Названия ряда явлений из области материальной культуры, их семантика и границы распространения рассматривают в своих работах: А. Заремба, «Из географии и истории польских слов. 1. Железный обруч на окружности колеса» (Studia, 3, 1958, стр. 135—186); Б. Моцарска, «Терминология разведения и обработки льна» (PorJ, zesz. 1, 1952, стр. 20—24); И. Юдыцка, «Варминские названия сельскохозяйственных орудий» (PorJ, zesz. 6, 1953, стр. 21—33). «Названия цепов и их частей в говорах Мазовецкого Поморья» (PorJ, zesz. 8, 1956, стр. 410—425); Й. Басара, «Семантико-географическое распределение некоторых терминов сельского строительства на территории Польши» (PorJ, zesz. 3, 1958, стр. 110—126). Интересные наблюдения заключает в себе статья В. Кунишевского «Народная лексика в области астрономии. Народные названия созвездий» (PorJ, zesz. 5, 1958, стр. 233—245).

Особо следует упомянуть две статьи по вопросам семантики, а именно: М. Куцала, «Значения и территория распространения имен прилагательных на *-ni* (*przedni*, *letni*)» (JP, XXXV, 1, 1955, стр. 8—26); З. Стамировска, «О влиянии переходности и непереходности глагола на его индивидуальное значение (на примере глагола *suwać*, *sunąć*)» (JP, XXXV, 4, 1955, стр. 247—267). Некоторые работы были посвящены отдельным словам, например заметки: К. Нич, «*Janwie'a* (мн. число) = *adwent*» (JP, XXVI, 1946, стр. 161—166); М. Карась, «*Pruciać* и производные слова» (JP, XXXIV, 3, 1954, стр. 206—210); Й. Замосциньска-Куцалова, «*Królik* и его диалектные разновидности» (JP, XXXV, 4, 1955, стр. 289—295).

Заимствованиям в польских диалектах посвящены статьи: З. Голомб, «Слова южнославянского происхождения в польских гуральских говорах» (JP, XXXII, 5, 1952, стр. 202—208); Й. Юдыцка, «Типы немецких заимствований в говорах Вармии и Мазур» (PorJ, zesz. 8, 1954, стр. 1—12); И. Харасимович, «О некоторых немецких элементах в острудском говоре» (JP, XXXIV, 4, 1954, стр. 276—285).

Многие работы затрагивали материалы и проблемы польских пограничных диалектов. Основная монография по этому вопросу — обширное исследование К. Дэйны «Польско-ляшская языковая пограничная зона на территории Польши» (K. Dejna, Polsko-laskie pogranicze językowe na terenie Polski, cz. I, Łódź, 1952, cz. II, Łódź, 1953). Связи польских диалектов с лужицкими рассматривает М. Грухманова в статье «Языковые связи диалекта Крамск с Лужицами» (JP, XXXVII, 4, 1957, стр. 241—252). Языковые отношения на польско-украинском и польско-белорусском пограничье анализируют в своих работах: С. Храбец, «О польском говоре деревни Дулибы в б. бучачском повете» (RKJ, t. III, 1955, стр. 31—76); К. Дейна, «Польские элементы в западномалорусских говорах» (JP, XXVIII, 3, 1948, стр. 72—79); М. Лэсюв, «Фонетическая система хутнянского говора» (RKJ, t. V, 1957, стр. 131—153), «Польский язык на основе западноукраинских говоров» (JP, XXXVI, 1, 1956, стр. 36—39), «Окситоны одного польского говора» (JP, XXXV, 2, 1955, стр. 144—145); Т. Зданцевич, «Акцентные особенности в говоре деревни Радзюшки под Сейнами» (Studia, 2, 1957, стр. 247—269). Интересные замечания о польском языковом островке в Венгрии находим в статье З. Штибера «Польский говор в Венгрии» (JP, XXX, 4, 1950, стр. 177—180).

Следует еще упомянуть две работы по социальной диалектологии, а именно: Х. Улашин, «Воровской язык» (H. Ułaszyn, Język złodziejski, Łódź, 1951) и В. Будзишевска, «Охвесницкий жаргон» (W. Budziszewska, Żargon ochweśnicki, Lódź, 1957). См. также: К. Дэйна, «К вопросу о терминах *язык*, *диалект*, *говор*, *жаргон*» (RKJ, t. III, 1955, стр. 151—156).

Особый раздел составляет диалектологическая ономастика. Проблемами топонимики занимаются: К. Дэйна, «Местные силезские наименования» (On, zesz. II, 1956, стр. 103—126); П. Галяс, «Административные и народные названия местностей в Бохеньском повете и окрестностях» (JP, XXIX, 2, 1949, стр. 51—62); П. Зволиньский, «Названия рыбачьих тоней озера Снярдвы» (JP, XXXIV, 4, 1954, стр. 286—304). Личные имена исследуют: Б. Сыхта, «Прозвища у кашубов» (JP, XXX, 2, 3, 1956, стр. 97—108, 205—217); С. Пигонь, К. Нич, М. Куцала, «Несколько замечаний о женских фамилиях в деревне» (JP, XXXI, 4, 1951, стр. 182—184); М. Каминьска, «Фамилии детей и жен в Ловицком» (On, zesz. II, 1956, стр. 127—136), «Фамилии и прозвища сельского населения в Ловицком округе» (On, zesz. IV, 1958, стр. 79—120); А. Заремба, «Польские народные имена» (On, zesz. III, 1957, стр. 129—178, 419—446).

Публикация новых диалектных текстов продолжается на страницах журналов «Język polski» и «Poradnik językowy». В качестве одного из наиболее значительных изданий следует отметить «Севернопольские диалектные тексты (от Кашубщины до Мазур)» («Północno-polskie teksty gwarowe od Kaszub po Mazury», pod red. K. Nitscha, Kraków, 1955). Й. Козакувна и М. Шимчак издали «Свадебные обряды в деревне Чехы в Серадзском повете» (PPol, XI, 1953, стр. 35—68); далее см. «Народные тексты, записанные в деревне Кшановице в Рациборском повете» (Studia, 2, 1957, стр. 270—319); «Сказки Вармии и Мазур» («Bajki Warmii i Mazur», pod red. H. Konecznej i W. Pomianowskiej, Warszawa, 1956). В этой связи следует упомянуть и о популярной работе А. Заремба «Собирание диалектных материалов» («Zbieranie materialów gwarowych», Wrocław, 1956).

Качество собираемого материала, его большая точность достигается благодаря записи текстов на пленку и граммофонные пластинки, что в течение многих лет практикует Фонографический институт при университете в Познани [см.: Н. Боровска, З. Соберайский, «Каталог пластинок Фонографического института при Познан-

ском университете» (Biul 1, 1953, стр. 84—105); З. Соберайский, «Каталог пластинок Фонографического института УАМ» (Biul 2, 1957, стр. 81—109)].

Разработка графики, методов передачи диалектных текстов в печати связана с принятием тех или иных теоретических и практических постулатов. В оживленной дискуссии по этим проблемам приняли участие З. Соберайский [«Как публиковать произведения народной поэзии. Попытка создания орфографии» (PorJ, zesz. 7, 1953, стр. 19—27)], В. Дорошевский [«К вопросу о проекте компромиссной фонетической орфографии» (там же, стр. 27—35)], А. Заремба [«О способах транскрибирования народных текстов» (там же, zesz. 1, 1954, стр. 12—21)]. В целом эта проблема еще не нашла единодушного решения и требует дальнейшего рассмотрения.

4

При обозрении исследований по диалектам других славянских языков прежде всего следует привести два обобщающих труда: названную выше работу З. Штибера «Основы западнославянской диалектологии...» и исследование В. Курашкевича «Восточнославянская диалектология и хрестоматия народных текстов» («Zarys dialektologii wschodniosłowiańskiej z wyborem tekstów gwarowych», Warszawa, 1954), которые являются признанными университетскими учебниками, обладающими большими научными достоинствами.

Значительное количество работ построено на материале украинских диалектов. Особого внимания здесь заслуживает ныне почти исторический труд З. Штибера «Диалектологический атлас старой Лэмковщизны» («Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny», zesz. I, Łódź, 1956; zesz. II, Łódź, 1957), заключающий материал, собранный в 1934—1935 гг. в 80 пунктах и обобщенный в 100 картах с комментариями. Тому же лэмковскому диалекту посвящена работа З. Штибера «Из исторической фонетики диалекта Лэмков» (Studia, 3, 1958, стр. 363—381). Ценный материал представляют также статьи: З. Штибер, «Сравнительное исследование словаря Карпат» (SAU, t. XLVI, № 7, 1945, стр. 148—151); З. Штибер и С. Храбец, «Заметки по лексике украинских говоров в Карпатах» (RKJ, t. IV, 1956, стр. 43—53). Западноукраинские говоры рассматривает в своих работах К. Дэйна [«Украинские говоры Тарнопольщины» («Gwary ukraińskie Tarnopolszczyzny», Wrocław, 1957), «Малорусские говоры на восток от Збруча» (SAU, t. XLVIII, № 6, 1947, стр. 217—223), «Лексическое расслоение говоров в Залещицком округе» (RKJ, t. V, 1957, стр. 77—129)].

Имеются работы по белорусским говорам. В статье «Предполагаемый след Ядзвингов в Подлясье» (Studia, 1, 1955, стр. 334—348) В. Курашкевич считает возможным наличие чужого влияния в белорусской фонетике и словаре. Этому же автору принадлежит работа «Развитие *'a* в связи с дифтонгизацией и палатализацией в старых говорах Подлясья и Хелмщины» (там же, 3, 1958, стр. 211—241). Ряд трудов по говорам Подлясья и по вопросам белорусско-украинских границ опубликовал Л. Оссовский (ZNWr, стр. 131—141, 143—148). Тот же автор рассматривает также интересную ономастическую проблему «Диалектные белорусско-украинские названия местностей на *-ičа*» (On, roczn. I, 1955, стр. 117—120).

Чешские диалекты и переходные польско-чешские говоры являются предметом исследований К. Дэйны. Особого внимания заслуживает уже названная его монография «Польско-ляшская языковая пограничная зона...». Другие работы К. Дэйны: «Вопросы польско-чешской языковой пограничной зоны» («Česko-polský sborník vědecký ch prací», II, Praha, 1955, стр. 113—131), «Опавско-лужицкая перегласовка *'e* в *'o*» (RKJ, t. I, 1954, стр. 86—97), «Кучевский говор на фоне других чешских говоров (там же, t. III, 1955, стр. 5—30), «Говор Мильна» (там же, t. IV, 1956, стр. 5—41). К интересным выводам по истории чешского языка пришел Т. Лер-Сплавинский в работе «Историческая основа классификации чешских говоров» (RS, t. XVII, cz. 1, 1952, стр. 19—27).

В значительно меньшей степени занимались в Польше после второй мировой войны южнославянскими диалектами, некогда широко изученными М. Малэцким. На собранном им материале построены труды З. Голомба: «Два македонских говора» (SAU, t. LIII, № 2, 1952, стр. 77—81), «Синтаксическая функция местоименной проклитики в македонских говорах» (LP, IV, 1953, стр. 277—291), «О фонологии говоров Богданска (на общемакедонском фоне)» (Studia, 1, 1955, стр. 289—333). Назовем здесь еще статью З. Голомба и А. Зарембы «Предварительное изучение говоров македонцев — жителей Польши» (ZNF, zesz. 4, 1958, стр. 315—319).

*

Представленная здесь картина развития польской диалектологии после второй мировой войны, кажется, достаточно полно отражает как направление исследовательских работ в этом разделе языкознания, так и его постоянный рост в количественном отношении и в области методологии. Первое место здесь, несомненно, занимают труды по лингвистической географии и лексике. Обращает на себя внимание большое количество исследований отдельных диалектов, а также работ, охватывающих собой всю польскую диалектную территорию; среди них доминируют коллективные труды научных учреждений Польской Академии наук и университетов. Сравнительная малочисленность работ такого типа на территории Малопольши объясняется тем, что этот район страны, с одной стороны, был относительно хорошо изучен еще перед первой мировой войной, а с другой, что он был охвачен «Атласом польского Прикарпатья».

В развитии польской диалектологии после второй мировой войны легко выделяются разные этапы. Переломными го-

дами, несомненно, были годы 1954—1955, так как с этого времени начинается серьезная активизация диалектологических исследований. Если в первые послевоенные годы почти вся научная деятельность сводилась в основном к обработке предвоенных материалов, то около 1953—1954 гг. начинается новый период экспедиционной работы, собирание новых данных. Это изменение находится в прямой связи с созданием ПАН, которой принадлежит решающая роль в диалектологических исследованиях (ведь именно возникновение ПАН определило возможность коллективной работы в отличие от предшествующего периода, когда все изыскания проводились прежде всего индивидуально). Немаловажную роль сыграли здесь общий подъем интереса к языкознанию и значительная финансовая помощь. Другим серьезным фактором было воспитание многочисленных молодых научных кадров, вполне подготовленных к трудным условиям экспедиционной работы и способных к самостоятельной обработке собранного материала.

Благодаря этим двум обстоятельствам польская диалектология могла отважиться на выполнение трудов такого ранга, как «Малый атлас польских говоров», «Словарь польских диалектов», как упомянутые выше многочисленные коллективные работы большого географического охвата и большой научной значимости. Недостаточно развиваются пока еще исследования диалектов других славянских языков, хотя в настоящее время и в этой области виден уже значительный прогресс. В целом представленное здесь развитие польской диалектологии свидетельствует о большой жизненности этой области лингвистики, показывает многостороннюю тематику работ, высокую степень методологической подготовки, тесную связь этих исследований с историей. Настоящая статья охватывает, естественно, не все труды, но даже этот фрагментарный библиографический материал, выделяя самое главное, достаточно ярко демонстрирует направление исследований и достигнутые успехи.

М. Карась

Перевела с польского *Т. С. Тихомирова*

ПРОБЛЕМА ЯЗЫКА ДАРИ В ТРУДАХ СОВРЕМЕННЫХ ИРАНСКИХ УЧЕНЫХ *

Язык дари в качестве литературного языка, как известно, был широко распространен в Средней Азии и Иране с конца IX в. до начала XVI в. В результате дальнейшего развития дари в настоящее время можно считать продолжает свое существование в виде трех весьма близких к нему литературных языков — таджикского в Таджикистане, персидского в Иране и языка фарси («кабули») в Афганистане.

Для уяснения проблемы языка дари не сделано еще самого главного: не изучены в должной мере дари и его «потомки», не исследован язык наиболее древних памятников дари, свободных от искажений и неточностей, допущенных переписчиками; не проведено фронтальное обследование диалектов восточного Ирана, Таджикистана и северо-западной части Афганистана. Мы уже не говорим о том, что для решения проблемы дари крайне необходимы сведения из других наук — истории, этнографии, географии и т. д. Ввиду неразработанности материала всякая постановка проблемы дари на современном этапе развития иранистики неизбежно приобретает не столько лингвистический, сколько историко-филологический характер в широком смысле слова (см. появившиеся за последние 20—30 лет работы, прямо или косвенно затрагивающие интересующий нас вопрос).

Тем не менее сложившееся историко-филологическое направление в изучении проблемы языка дари привело к положительным результатам. Главным из них следует считать новую складывающуюся концепцию происхождения и развития языка дари. Эта концепция ставит под сомнение традиционную концепцию движения дари с юго-запада на восток (Т. Нёльдеке) или экспансии персидского языка на восток по путям арабских завоеваний (А. А. Фрейман) [1]. Определенная заслуга в разработке проблемы дари принадлежит современным иранским филологам. Сделаны уже некоторые ценные выводы, хотя часто они высказываются предположительно и не носят характера широких обобщений. Иногда же эти выводы слишком прямолинейны и преждевременны. Например, в предисловии к «Грамматике персидского языка для четырех классов средних школ», написанной пятью видными филологами — М. Бехаром, А. Карибом, Б. Форузанфаром, Дж. Хомаи и Р. Ясеми, имеется следующее краткое заключение по поводу языка дари и времени его распространения: «Персидский дари (фарси-йе дари) был языком, на котором говорили в эпоху династии Сасанидов царский двор и жители Медаина — столицы государства, и языком большинства жителей Хорасана и восточного Ирана был также фарси-йе дари... На этом языке после введения ислама писали свои стихи Рудаки, Фирдоуси, Онсори, Фаррохи...

* Публикуя обзор Л. С. Пейсикова, где излагается выдвинутая М. Бехаром и разрабатываемая в трудах ряда современных иранских ученых концепция, отрицающая теорию о проникновении языка дари с юга-запада Ирана на восток, редакция предполагает продолжить обсуждение проблемы возникновения и развития языка дари и тем самым осветить и другие точки зрения на рассматриваемую проблему. *—Ред.*

[1] См. об этом стр. 124. Впервые критика традиционной концепции прозвучала в статье Е. Э. Бертельса «Персидский — дари — таджикский» («Сов. этнография», 1950, № 4), мотивировочная часть которой базируется на материалах работ М. Бехара.

Официальным и придворным языком сасанидского периода был фарси-йе дари» [2].

Последующий критический обзор некоторых работ иранских ученых [3] свидетельствует о преждевременности и поспешности такого вывода.

*

Многоязычие и языковая раздробленность — наиболее типичная в лингвистическом отношении черта Ирана и Средней Азии в заключительный период господства Сасанидов. Арабское нашествие, положившее конец Сасанидской империи, не внесло существенных изменений в «лингвистическую карту» Ирана и Мавераннахра, за исключением того, что в государственных канцеляриях стал насаждаться насильственным путем арабский язык, результаты влияния которого сказались значительно позже. З. Сафа по этому поводу пишет: «В период нашествия мусульман в Иран официальным, литературным, политическим и религиозным языком был тот, который известен как „южный пехлеви", „сасанидский пехлеви" или „персидский пехлеви". В противовес установившемуся ранее мнению, с победой арабов этот язык не был сразу вытеснен и был распространен еще в течение нескольких столетий» [4].

Об употреблении языка пехлеви в этот период свидетельствуют высказывания ученых (ибн аль-Мукаффы Якута, Истахри, Мукаддаси и др.), а также появление в раннюю эпоху ислама некоторых пехлевийских книг (Денкарт, Бундахишн, Артавирафнамак, Матикан Чатранг и др.); о знакомстве многих иранцев с языком пехлеви говорит и интенсивная работа по переводу пехлевийских книг на язык дари, продолжавшаяся до конца XIII в.

Существование южного пехлеви (среднеперсидского языка) после введения ислама ни в коей мере, однако, не свидетельствует о его распространенности [5]. По вопросу о степени распространенности пехлеви в тот период и о его книжно-религиозном характере среди иранских ученых, по-видимому, нет разногласий. Ссылаясь на слова ибн аль-Мукаффы, ибн ан-Надима, Истахри, Якута и других средневековых авторов, М. Бехар ограничивает сферу распространения южного пехлеви только областями, носившими общее название Фахле (Пахле)[6], и средой магов-зороастрийцев, для которых пехлеви оставался языком разговорным. Пехлеви, пишет М. Бехар, «еще понимался в центральном Иране, Фарсе и западных областях, а в Хорасане был распространен дари, и население Хорасана не понимало языка пехлеви» [7]. Существует предположение, что пехлеви оставался книжным и религиозным языком еще и при Сасанидах. После арабского нашествия и распространения ислама книжно-религиозный пехлеви постепенно начинает упраздняться, и «язык дари, побеждая пехлеви, распространяется из восточного Ирана на запад, север и юг страны»[8].

Для определения наличия языков и диалектов в период, предшествующий арабским завоеваниям, а также непосредственно после введения ислама, большое значение имеют слова ибн аль-Мукаффы, пересказанные и повторенные с небольшими изменениями ибн ан-Надимом в книге «Аль-фихрист» (пересказ этих слов имеется и у историка Якута в его словаре «Му 'джам аль-булдан»): «... персидские языки (лугат аль-фарсийа) суть следующие: пехлеви, дари, фарси, хузи и суриани. Пехлеви относится к Фахле. Фахле служит общим названием пяти городов (областей?— *Л. П.*): Исфагана, Рея, Мах-Нехавенда, Хамадана и Азербайджана. Дари является языком городов Медаина, на нем говорили при царском дворе, и относится он к людям двора, и слова жителей Хорасана и востока и жителей Балха в нем преобладают. Фарси—это язык служителей культа, ученых и им подобных, а также жителей Фарса. Хузи — это язык, на котором говорят цари, аристократы и приближенные царя в уединенных местах, во время игр и развлечений. Суриани — это язык, на котором говорят жители Севада»[9].

Этот перечень, конечно, не исчерпывает средневекового многоязычия иранского мира. Как известно, в ту эпоху существовали согдийский язык в Согде, хорезмийский —

---

[2] «Дастур-е забан-е фарси барайе салнайе аввал ва доввом ва севвом ва чаharом-е дабирестанha», Тегеран, т. 1, 1949, стр. 2—3.

[3] М. Бехар, Сабкшенаси йа тарих-е татаввор-е нэср-е фарси (Учение о стилях, или история развития персидской прозы), Тегеран, т. 1 — 1943, т. 2 — 1944, т. 3— 1945; его же, Хатт ва забан-е пahлави дар эср-е Фердоуси (Пехлевийский язык и письменность в эпоху Фирдоуси), сб. «Фердоуси-наме», Тегеран, 1937; его же, Ше'р дар Иран (Поэзия в Иране), Мешхед— Тегеран, 1954; его же, Тарих-е татаввор-е ше'р-е фарси (История развития персидской поэзии), Тегеран, 1956; З. Сафа, Тарих-е адабийат дар Иран (История литературы в Иране), т. 1, Тегеран, 1954; его же, Мохтасари дар тарих-е тahаввол-е назм о нэср-е фарси (Краткие сведения об истории развития персидской поэзии и прозы), Тегеран, 1956; его же, hамасесараи дар Иран (Эпос в Иране), Тегеран, 1946.

[4] З. Сафа, История литературы в Иране, т. 1, стр. 117.

[5] Об ограниченной употребляемости пехлеви может свидетельствовать уже тот факт, что многим деятелям литературы раннего ислама пехлеви с его сложной графикой был труден для понимания.

[6] Область Пахле, как сообщают историки и географы, включала районы Исфагана, Рея, Хамадана, Нехавенда и Азербайджана. Бируни в своем «Аль-асар аль-бакийа» подтверждает значение слова «Пахле».

[7] М. Бехар, Пехлевийский язык и письменность в эпоху Фирдоуси, стр. 86.

[8] Его же, Учение о стилях..., т. 2, стр. 3.

[9] Цитируется по кн.: М. Бехар, Учение о стилях..., т. 1, стр. 26—27.

в Хорезме, тохарский — в Тохаристане. На севере были распространены диалекты гили, табари, а также диалекты Гумаса и Джорджана, которые, по свидетельству путешественника и географа Мукаддаси, были очень близки друг к другу (эти диалекты и по сей день бытуют в районах Семнана, Шахруда, Дамгана, Горгана). В сочинениях историков и географов («Ахсан ат-такасим фи ма' рифат ал-акалим» Мукаддаси, «Месалик аль-мемалик» Истахри, «Сурат аль-акалим» Балхи и др.) находим и другие ценные сведения по диалектологии иранского средневековья. Так, в этих сочинениях упоминаются и кратко характеризуются еще такие диалекты, как рази (рейский), азери, эрани, кермани, хамадани, курдский, лурский и др.

Чем объяснить, что ибн аль-Мукаффа, Якут и другие говорят лишь о пяти «персидских» языках, не упоминая многочисленных других языков и диалектов? Можно предположить, что, зная о существовании согдийского, хорезмийского и других иранских языков, ибн аль-Мукаффа или принимал их за диалекты, или же не считал их принадлежащими к группе «персидских» языков («лугат аль-фарсийя»), хотя кажется довольно странным включение языка сурианн, относящегося к семитской группе, в число «персидских». По мнению же М. Бехара, средневековые ученые не знали о существовании других иранских языков, «не выезжали за пределы Медаина, Фарса, Ирака и Хузистана» и потому упоминали о языках только этих областей [10].

*

Генезис языка дари в его отношении к среднеиранским языкам и диалектам представляет собой одну из труднейших проблем иранского языкознания. Немалая доля заслуги в ее разработке принадлежит иранским ученым.

Основываясь на многочисленных высказываниях и свидетельствах древних авторов о дари, иранские филологи принимают в качестве вполне доказанных положений следующие: а) язык дари был разговорным, а затем и литературным языком восточного Ирана, Хорасана, Балха, Бухары и т. д.; б) дари, будучи первоначально разговорным языком, не был единым для восточного Ирана и Средней Азии, он распадался на диалекты и говоры; в) термин «дари» происходит от слова *дар* «двор, царский двор». Предположительно, хотя и с большой долей уверенности, иранские ученые принимают еще следующие два положения, касающиеся генезиса языка дари и степени его распространенности: а) дари был разговорным языком сасанидской столицы Ктесифона и б) основой языка дари служит язык парфянский, т. е. так называемый северный пехлеви.

По вопросу об этимологии *дари* в настоящее время уже нет разногласий, хотя некоторые аспекты этимологии выяснены недостаточно. Всеми признается, что *дари* означает «дворцовый», «относящийся ко двору». З. Сафа по поводу этимологии *дари* пишет: «Когда в эпоху ислама употребляют термин „дари", то имеют в виду литературный язык восточной и северо-восточной части древнего Ирана (Иран-е кohан). Причина заключается в том, что иранские династии в исламский период первоначально происходили из этих районов, и поскольку языком, избранным этими шахскими дворами, был восточный диалект, т. е. местный диалект, понятный правителям этих районов и служащим государственных канцелярий, то его назвали языком дари. Всякая другая этимология является искусственной и не представляет ценности» [11].

В подтверждение З. Сафа приводит указание Мукаддаси из «Ахсан ат-такасим...» относительно языка дари: «Его потому называют дари, что на нем пишутся письма царей и прошения на имя царей, и происходит он от слова *дар*, что означает „двор". Другими словами, дари — это язык обитателей шахского двора» [12].

Термин «дари» в тот период, когда обозначаемый им язык стал литературным, был равнозначен терминам «парси-йе дари», «парси», «фарси», которые употреблялись как ближайшие синонимы [13].

В этимологии и толковании слова *дари* остается один неясный момент, заключающийся в соотношении общего значения и отдельных значений. Именуется ли словом *дари* всякий придворный язык, независимо от его происхождения и качества, или же дари следует понимать как определенный придворный язык восточного происхождения, а следовательно, тождественный тому дари, на котором говорило население Хорасана, Мавераннахра, Балха? Когда ибн аль-Мукаффа и другие ученые заявляют, что разговорным языком сасанидского двора в Медаине был дари, то остается неясным, употребляется в этом случае термин «дари» в его общем или частном, отдельном значении. Лишь на основании утверждения ибн аль-Мукаффы о том, что в языке дари сасанидского Медаина преобладают слова жителей Хорасана, Балха и других восточных районов, можно предположить, что дари Ктесифона и восточный дари — это одно и то же.

Высказывая это предположение, З. Сафа ставит естественный вопрос: каким образом восточный дари стал на западе страны разговорным языком Медаина? На этот трудный вопрос, говорит З. Сафа, можно дать два ответа: «Возможно, что причина наименования разговорного языка Медаина словом *дари* заключена именно в том, что на нем говорил царский двор Сасани-

[10] М. Бехар, Учение о стилях..., 1, стр. 28.

[11] З. Сафа, История литературы в Иране, т. 1, стр. 140.

[12] Там же, стр. 139.

[13] Проф. М. Моин собрал большое количество отрывков из произведений средневековых авторов, обильно подтверждающих смысловое тождество этих наименований; см. предисловие М. Моина к изданному под его редакцией словарю «Борһан-е гате'» (т. I, Тегеран, 1951).

дов, а не в том, что этот язык — тот самый восточный диалект, который впоследствии стали называть дари, или, может быть, язык Медаина — это тот язык, который стал распространенным (мотäдавел шоде) в Ктесифоне с Аршакидской эпохи вследствие господства восточного племени парсав (par-ϑav-), сохранился в Сасанидскую эпоху и стал употребляться не как язык официальный и письменный, а как язык разговорный»[14]. Дальнейшие рассуждения З. Сафы показывают, что он склоняется больше в сторону второго ответа на поставленный выше вопрос. Авторы же упомянутой нормативной грамматики прямо заявляют, что восточный дари и дари Ктесифона — это одно и то же. Таким образом, попытка доказать равнозначность понятий «дари Медаина» и «восточный дари» осуществляется лишь логическим путем, и тем самым проблема общего и отдельного в значении слова *дари* неправомерно снимается. Ясно, что логические заключения здесь далеко не достаточны.

М. Бехар пытается более подробно доказать, что язык дари действительно был распространен в восточных областях и в Ктесифоне в период, предшествовавший арабским завоеваниям, и, следовательно, что южный пехлеви и дари сосуществовали. М. Бехар приводит ряд прямых и косвенных доказательств в подтверждение высказанного ибн аль-Мукаффой и другими авторами положения. Вот главные из них: 1) большинство персидских цитат в арабских сочинениях (Джахиза, ибн Кутейбы и др.), посвященных Сасанидской эпохе, представляют собой фразы на дари, а не на пехлеви [15]; 2) наиболее ранние дошедшие до нас произведения поэзии и прозы написаны в восточной части страны на языке дари. Появление памятников литературы (поэтические отрывки Ханзале Багдиси, Мухаммеда Васифа и др., а также произведения Рудаки, Фирдоуси, Балъами, Абу аль-Муаййада и др.) свидетельствует о том, что дари был языком населения Хорасана, Мавераннахра, Нимроза, Заболистана; 3) на западе Ирана в этот период произведений на дари не засвидетельствовано. Все исторические факты говорят о том, что дари как литературный язык стал впоследствии распространяться с востока на запад, где он полностью вытеснил как арабский язык, так и южный пехлеви. В конце саманидского и в начале газневидского и сельджукского периодов постепенно вслед за завоеваниями дари окончательно закрепился во всем Иране в качестве всеобщего литературного языка [16]; 4) фонетика и лексика современных языков и диалектов могут подтвердить слова ибн аль-Мукаффы. Так, произношение слов в деревнях Хорасана, Афганистана, Бухары, Таджикистана, заявляет М. Бехар, служит ярким примером способа произношения на языке дари, между тем как в центральных и юго-западных диалектах Фарса, Исфагана, Нехавенда имеется большое количество слов, оставшихся от языка пехлеви или сохранивших южнопехлевийское произношение.

Этот последний пункт в системе аргументов М. Бехара свидетельствует о том, что М. Бехар пытался обосновать положение о распространенности дари на востоке и в Медаине и о сосуществовании дари с южным пехлеви путем обращения к живым иранским диалектам и говорам. Во многих своих работах М. Бехар с сожалением отмечает, что до сих пор почти совсем не изучены диалекты Ирана, детальное обследование которых могло бы дать бесспорные данные о генезисе языка дари, о его взаимоотношениях со среднеперсидскими языками и диалектами, о степени его распространенности и т. д.

Значение доказательств, приводимых М. Бехаром, естественно, не следует преувеличивать. На основании этих доказательств мы можем лишь п р е д п о л о ж и т ь, что язык дари в качестве разговорного был распространен еще в сасанидский период и, в частности, был употребителен в столице многодиалектного Сасанидского государства и что этот дари тождествен восточному дари, «который стал распространенным в Ктесифоне с Аршакидской эпохи вследствие господства восточного племени парсав (par-ϑav-)... и стал употребляться как язык разговорный» [17]. Все это показывает, насколько преждевременен вывод авторов нормативной грамматики о том, что «официальным и придворным языком сасанидского периода был фарси-йе дäри» [18].

*

Диалекты Хорасана и Средней Азии в ранний период ислама были чрезвычайно близки между собой, и тем не менее в диалектах разных городов имелись иногда существенные особенности в произношении, лексике и грамматике. Отличались друг от друга и крестьянские наречия различных областей и районов. Об этом можно судить по довольно подробному описанию жителей Хорасана и Мавераннахра и их языков у путешественника и географа Мукаддаси в его известном сочинении «Ахсан ат-такасим...» (985 г.)[19]. Мукаддаси отмечает различные особенности диалектов Нишабура, Туса, Нисы, Мерва, Буста, Балха, Бухары, Герата, Самарканда, причем интересно, что балхский диалект он называет «наилучшим» (бехтäрин), что, по-видимому, отражает распространенное в X в. мнение о диалекте города Балха как

---

[14] З. С а ф а, История литературы в Иране, т. 1, стр. 140.

[15] Подробнее о содержании цитат и языке, на котором они написаны, см. М. Б е х а р, Учение о стилях..., т. 1, стр. 19—26; Е. Э. Б е р т е л ь с, Персидский — дари — таджикский.

[16] М. Б е х а р, Учение о стилях..., т. 2, стр. 3.

[17] З. С а ф а, История литературы в Иране, т. 1, стр. 140.

[18] См. об этом выше, стр. 120—121.

[19] См. об этом «Материалы по истории туркмен и Туркмении», т. I, М.— Л., 1939, стр. 27.

о наиболее соответствующем литературному дари. Ценные описания Мукаддаси дополняют аль-Истахри и ибн Хаукаль; последний пишет, что «языком жителей Бухары является дари, и он похож на язык жителей Согда, однако некоторые слова в нем изменены» [20].

Все эти указания средневековых ученых и путешественников свидетельствуют о том, что сам язык дари был представлен рядом диалектов и наречий и что известный нам с конца IX в. литературно-письменный дари нельзя смешивать с дарийскими диалектами, так как он базировался на одном из диалектов, по-видимому, на балхском или, если взять несколько шире, на восточнохорасанском диалекте языка дари. Все это — тема специального исследования. Надо сказать, что иранские ученые нечетко разграничивают понятия «разговорный язык», «диалект», «литературный язык», и проблема становления и развития литературного языка в историко-лингвистическом плане в их трудах почти совсем не затрагивается [21].

Из всего сказанного выше можно предположительно принять два важных вывода относительно дари. Во-первых, дари как разговорный язык длительное время сосуществовал с южным пехлеви (области Пахле), а также со своим ближайшим соседом — согдийским языком. Во-вторых, язык дари, получив письменное применение и оформившись в качестве литературного языка, начал распространяться с востока на запад, север и юг Ирана, оттесняя модный в то время литературный и научный арабский язык и одержав полную победу над отмирающим южным пехлеви. Это победоносное движение литературного дари с востока на запад отражало борьбу восточных иранцев и таджиков против господства арабского халифата и представляло собой явление глубоко закономерное и прогрессивное.

В свете всего вышесказанного в настоящее время трудно признать состоятельной старую теорию движения персидского языка на восток и особенно ту часть теории, которая говорит об экспансии персидского языка на восток после введения ислама. См., например, утверждения А. А. Фреймана о том, что «Завоевание арабами Ирана и Средней Азии в VII—VIII вв., уничтожив центральную Иранскую персидскую сасанидскую государственную власть, привело к парадоксальному на первый взгляд явлению — к дальнейшей экспансии персидского языка за пределы Иранского плоскогорья, в Среднюю Азию. ....Принявшая ислам городская интеллигенция, родным языком которой был персидский язык, помогла арабам в их дальнейшем продвижении в Среднюю Азию, в организации власти в ее ираноязычных областях. Население последней, прежде всего ее городское население, принимая ислам, постепенно воспринимало персидский язык — язык своих соплеменников иранцев, приходивших с арабами в Среднюю Азию. Так постепенно утверждались там восточноперсидские, хорасанские говоры» [22].

*

По вопросу о происхождении и дальнейшем развитии дари иранские ученые высказали ряд неверных положений. Язык дари, который, по их мнению, был распространен в столице Сасанидского государства, проник туда с Аршакидской эпохи вследствие господства восточного племени parθav, которое историк Табари называет fahlāвīyān («пехлевийцы», «парфяне»). Что касается общего происхождения дари, то основой его, как заявляют многие иранские ученые, является язык Парфии, т. е. северный пехлеви. «Если доказано,— пишет З. Сафа,— что язык дари является языком жителей востока, особенно Хорасана и Мавераннахра, то необходимо будет принять и положение о том, что дари явился продолжением северно-пехлевийского, или ашканидско-пехлевийского языка, который с течением времени и в результате исторического развития и смешения с арабским языком принял ту форму, которую мы встречаем в произведениях III—IV вв. хиджры» [23].

Такое решение вопроса о происхождении дари не может удовлетворить иранское языкознание, так как вызывает прежде всего ряд серьезных возражений лингвистического характера. Нам представляется, что диалекты языка дари развились в эпоху Сасанидов (предположительно в IV—V вв. н. э.) из восточных или восточнохорасанских говоров среднеперсидского языка (южного пехлеви) в тесном взаимодействии с близкородственными парфянскими диалектами. В IX в. на базе одного из диалектов дари или группы этих диалектов в соответствующих политических условиях возник литературный дари (иначе — новоперсидский литературный язык) с его арабской письменностью. Невозможно предположить, что богатейший литературный язык Рудаки, Фирдоуси и других персидско-таджикских авторов оформился в качестве литературного языка после арабского нашествия на базе какого-то пришлого языка. При традиционном решении вопроса остается неясным, почему и каким образом персидский язык (дари) мог прийти в Хорасан и Среднюю Азию именно из Фарса после арабского нашествия. Где и когда в этом случае произошла трансформация среднеперсидского языка в новоперсидский (дари)? Каким образом население Хорасана и Мавераннахра, говорившее, согласно традиционной концепции, на парфянских, согдийских и других диалектах, в ко-

[20] Цит. по кн.: З. Сафа, История литературы в Иране, т. 1, стр. 139.

[21] По вопросу об истории литературного дари см.: А. Н. Болдырев, Из истории развития персидского литературного языка, ВЯ, 1955, № 5.

[22] А. А. Фрейман, Задачи иранской филологии, ИАН ОЛЯ, 1946, вып. 5, стр. 382.

[23] З. Сафа, История литературы в Иране, т. 1, стр. 140.

роткий срок после арабского нашествия «восприняло» пришлый персидский язык и создало уже в IX в. вполне развитый литературный язык персов и таджиков, который затем распространился на обширной территории Ирана, Средней Азии, Афганистана и т. д.? Все эти и им подобные вопросы неизбежно возникают при изучении генезиса дари. Для их разрешения потребуется еще кропотливая работа иранистов.

Дальнейшая судьба дари в том виде, в каком она представлена в работах иранских ученых, вызывает особые возражения. Мы уже говорили о том, что становление и формирование литературного дари в историко-лингвистическом плане в трудах иранских ученых не находят должного отражения. Особенно искаженно, на наш взгляд, представляют себе иранские ученые соотношение понятий «язык дари» и «современный персидский язык».

Дари — это прежде всего тот литературный язык, который был распространен с конца IX в. до начала XVI в. на обширной территории Средней Азии, Ирана, Афганистана, Северной Индии. На протяжении шести столетий дари развивался и совершенствовался, причем он подвергался обработке не только со стороны персов и таджиков, западных и восточных иранцев, но и со стороны некоторых представителей неираноязычных народностей. Интересно отметить, что литературный дари почти не проявлял признаков локальной дифференциации, особенно в поэзии и прозе. Дифференциация языка дари начинает обнаруживаться с XVI в. и особенно позже, когда постепенно появляются предпосылки для формирования персидского и таджикского национальных языков, а также одного из государственных языков Афганистана.

По вопросу о дальнейшей судьбе дари М. Бехар стоит недалеко от устаревших и тенденциозных теорий буржуазных ученых о «среднеазиатской деформации» персидского языка, об «измененном» персидском языке в Таджикистане и т. д. Нельзя также согласиться с определением персидского языка, которое дает М. Бехар. Он пишет: «Персидский язык — это язык, на котором в настоящее время говорят, пишут и слагают стихи большинство жителей Ирана, Афганистана, Таджикистана, а частично — Индии, Туркестана, Кавказа и Бейноннахрейна»[24].

М. Бехар, по-видимому, считает, что персидским языком следует именовать все современные языковые формы, образовавшиеся от дари. Этому определению явно не достает объективности и правильного понимания исторического процесса развития языков. В частности, проблема таджикского литературного языка, исторически восходящего к дари (как и современный персидский язык) и являющегося основным языком таджикской социалистической нации, совершенно не понята М. Бехаром.

Л. С. Пейсиков

[24] М. Бехар, Учение о стилях..., т. 1, стр. 2.

РЕЦЕНЗИИ

R. Godel. **Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure.** — Genève — Paris, 1957. 283 стр. («Société de publications romanes et françaises sous la direction de M. Roques», LXI)

Новая работа видного швейцарского ученого Р. Годеля о творческом пути Ф. де Соссюра и истории создания его «Курса общей лингвистики»[1] — результат кропотливого и тщательного исследования рукописного наследия де Соссюра [см. подробное описание рукописных материалов, которое приводится в начале книги (стр. 13—17), а также гл. II «Анализ рукописных источников» (стр. 36—94)][2]. Труд Р. Годеля позволяет составить более полное представление о Ф. де Соссюре и его концепции.

Материалы, собранные Р. Годелем, показывают вначале Ф. де Соссюра как историка языка, которому принадлежит ряд интересных курсов по индоевропейскому языкознанию и особенно по германистике и по классической филологии. Годель приводит одно из писем (1894 г.) к А. Мейе, где де Соссюр сам называет себя историком языка. В то же время проблемы общей лингвистики занимают в творчестве Соссюра чрезвычайно большое место (см. гл. I «Место общей лингвистики в жизни Ф. де Соссюра», стр. 23—35). В упомянутом уже письме к А. Мейе де Соссюр писал, что работает «над общим курсом лингвистики», «над логической классификацией [языковых] фактов» (стр. 31)[3-4]. Анализируя немногочисленные рукописи Ф. де Соссюра и его письма, Р. Годель, вопреки распространенному мнению, показал, что существует преемственная органическая связь между де Соссюром — автором «Исследования о первоначальной системе гласных в индоевропейских языках» и де Соссюром — лектором курсов общего языкознания в Женеве. Внимательное изучение рукописей выявляет постоянство Соссюра в использовании определенных формулировок, к которым он неоднократно возвращался, уточняя и закрепляя их [см. приложение «Терминологическая лексика» (стр. 252—281), где приводятся термины, употреблявшиеся Соссюром, их объяснения и подтверждения цитатами]; поэтому Р. Годель не соглашается с мнением издателей «Курса» о том, что Ф. де Соссюр принадлежал «к числу непрестанно обновляющихся в своем мышлении людей»[5] (стр. 130—131).

Хорошо известно, что «Курс» не был опубликован при жизни Ф. де Соссюра, но гораздо менее известно, что автор и не собирался публиковать его, так как считал свой труд незавершенным, нуждающимся в серьезной доработке на философской основе; он не раз повторял, что «статическая лингвистика представляет собой пока только эскиз» (стр. 35 и др.). Тем не менее Ш. Балли и А. Сешеэ выполнили большую задачу, обнародовав воззрения Соссюра, благодаря которым заложено начало осмысления языка как системы, означавшее конец господства младограмматической концепции.

В русском языкознании идеи социального характера языка, понимания его как системы, идеи изучения его в описательном и историческом планах, а также с внешней и внутренней сторон не были новы, они получили освещение еще в 70-х годах XIX в. в работах представителей казанской лингвистической школы И. А. Бодуэна де Куртене и Н. В. Крушевского. Напомним слова Л. В. Щербы: «...очень многое, высказанное Соссюром в его глубоко продуманном и изящном изложении, ставшем всеобщим достоянием и вызвавшем всеобщий восторг в 1916 г., нам было давно известно из писаний Бодуэна»[6]. Ф. де Соссюр не только был знаком с трудами этих языковедов, но и высоко оценивал их. Он писал в заметке на книгу А. Сешеэ в 1908 г., что «Бодуэн де Куртене и Крушевский подошли ближе всех к теоретическому рассмотрению языка, не выходя за пределы чисто лингвистических соображений; однако эти ученые были неизвестны большинству западноевропейских языковедов» (стр. 51).

---

[1] Ввиду того что русское издание «Курса общей лингвистики» стало библиографической редкостью, следовало бы подумать о подготовке нового уточненного перевода с комментариями, учитывающими материалы рецензируемой книги Р. Годеля.

[2] Дополнительный материал см., кроме того: F. de Saussure, Cours de linguistique générale (1908—1909). Introduction, «Cahiers Ferdinand de Saussure», 15, 1957.

[3-4] Здесь и далее в тексте приводятся страницы рецензируемой книги.

[5] Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 26; F. de Saussure, Cours de linguistique générale, Paris, 1922, стр. 8—9.

[6] Л. В. Щерба, Избр. работы по языкознанию и фонетике, т. I, Л., 1958, стр. 14, примеч. 1.

Изучение лингвистической концепции Ф. де Соссюра, чему посвящена гл. IV «Проблемы интерпретации» (стр. 130—251), закономерно начинать с раскрытия им соотношения языка и речи, так как оно в известной степени предопределяет разрешение всех остальных проблем, затронутых в знаменитой работе. Эта центральная проблема интересовала де Соссюра с самого начала его творческой деятельности, о чем он писал в письме к А. Мейе (1894). Но и в «Курсе», и в рукописных материалах содержание каждой из сторон речевой деятельности раскрывается не всегда достаточно последовательно. Самым неопределенным из употребляемых де Соссюром трех терминов — «речевая деятельность», «язык», «речь»— является первый, часто используемый в качестве синонима ко второму термину. Нередко в тексте лекций Соссюра, в его заметках и письмах подчеркивается тождество понятий «языка» («la langue») и «речевой деятельности» («le langage»): «речевая деятельность, или язык вообще»; «язык и речевая деятельность являются одним и тем же; одно является обобщением другого» («langue et langage ne sont qu'un même chose; l'un est la généralisation de l'autre») и даже: «...эту систему независимых символов — речевую деятельность» («ce système particulier de symboles indépendants qui est le langage») (стр. 142). Р. Годель отмечает, что именно эта неточность в употреблении терминов явилась причиной того, что издатели «Курса» ввели такие заключительные слова: «единственным и истинным объектом лингвистики является язык, рассматриваемый в самом себе и для себя» [7], которые не принадлежали Соссюру; в черновых записях самого де Соссюра сказано: «объект лингвистики — это „речевая деятельность либо в ее различных проявлениях, либо в виде общих законов, которые могут быть выведены лишь из ее особых форм“» (стр. 179).

В опубликованных Р. Годелем материалах соотношение языка, речи и речевой деятельности иллюстрируется схемой, которую Соссюр предложил в лекциях курса 1908—1909 гг. (стр. 153):



Эта схема наглядно показывает единство языка и речи как двух сторон речевой деятельности; в схемах же, составленных интерпретаторами «Курса», на первый план выступает их разобщение.

Подчеркивая различие языка и речи, Ф. де Соссюр не только не отрицал их связи и взаимозависимости, но неоднократно указывал на это: «мы знаем язык только через речь»; «необходима речь для установления языка»; «1) В языке нет ничего, что бы не вошло в него (прямо или косвенно) через речь... Наоборот, речь возможна лишь благодаря такому продукту, как язык, который снабжает индивида элементами для построения своей речи. 2) Коллективное сознание вырабатывает и фиксирует этот продукт» (стр. 155); «можно и должно рассматривать язык, абстрагируясь от речи, но нельзя рассматривать речь, абстрагируясь от языка» (стр. 151). Вместе с тем де Соссюр иногда использует оба термина без четкого их разграничения. Это можно проследить и по изданному «Курсу» [8] и, особенно, по неизданным материалам, в которых встречаются такие формулировки: речь наиболее социальна, так как она является «суммой того, что говорят люди» (стр. 271), а язык — совершенно индивидуален, так как язык — «это все то, что содержится в мозгу индивида, некоем складе (le dépôt) понимаемых, используемых форм и их смысла» (стр. 145, 266). Таким образом, обе стороны речевой деятельности могут рассматриваться как с социальной, так и с индивидуальной точки зрения: видимо, сам Соссюр еще не уточнил использование терминологии.

Язык рассматривается Ф. де Соссюром как статическая математически точная система. Еще в 1894 г. Соссюр писал: «все отношения в языке могут быть выражены в математических формулах» (стр. 44). В черновиках де Соссюра и его письмах термин «система» постоянно употребляется с прилагательным «точная» («serré»). В 1909 г. Соссюр говорил: «Язык — это точная система, и его теория должна быть системой столь же точной, как язык» (стр. 29). Эту же мысль он повторил в 1911 г.: «Общая лингвистика представляется мне как геометрическая система» (стр. 30). Ф. де Соссюр неоднократно прибегает к алгебраическим обозначениям отношений в системе языка, компоненты которой определяются им как ее «члены» («termes»).

Р. Годель правильно подметил, что издатели и многочисленные комментаторы Ф. де Соссюра не обратили достаточного внимания на часто используемое им слово «член» («terme»), тогда как «оно является одним из ключевых слов в соссюровской лингвистике» (стр. 220). Слово «член» широко используется и в формальной логике («члены отношений, суждений» и т. п.) и в математике («члены бинома, прогрессии»). У де Соссюра это слово также употреблено в соответствии с его представлениями об алгебраическом характере языка. В записях Соссюра, в конспектах его учеников постоянно встречаются выражения: «Отношение или явление предполагает определенное число членов [...], между которыми оно устанавливается» (стр. 221) [9]. Р. Го-

[7] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 207; F. de Saussure, указ. соч., 1922, стр. 317 (в дальнейшем ссылки будут даваться на эти два издания).

[8] Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 95.

[9] В русском переводе книги слово «terme», многозначное во французском языке,

дель подчеркивает, что Соссюр никогда не смешивал употребление слов «член» («terme») и «знак» («sign»).

На основании книги Р. Годеля можно составить представление о том, что Соссюр считал «слово» основным членом системы языка. Ср. его высказывания: «слова как члены системы» (стр. 89); «когда мы говорим: член, вместо слово, мы подразумеваем систему» (стр. 228). Однако в то же время де Соссюр не рассматривал слово как единицу материальную.

В состав системы языка Ф. де Соссюр включал, по мнению Р. Годеля: «... единицы, модели их возможных комбинаций, не в абстрактной форме категорий и схем, а в конкретной форме примеров и ассоциативных рядов. Надо признать, что эти ряды не совсем одинаковы у всех индивидов и даже у одного индивида в разном возрасте; важно, что они представляют собой те же классы единиц и типы синтагм: язык — грамматическая система, а не какая-то определенная сумма знаков» (стр. 179). Это замечание можно считать еще одним свидетельством того, что де Соссюр был гораздо ближе к пониманию сущности системного характера языка, чем его многочисленные последователи, особенно в Дании и Америке. Соссюр приближался к пониманию материальной природы языка, но не мог ее обнаружить, а тем более признать. Колебания Соссюра выступают наиболее четко в его рассуждениях о принципах отграничения лингвистических единиц. Он учил: «необходимо отграничивать лингвистические сущности; это операция... ни в коем случае не чисто материальная, но необходимая и возможная, так как в ней есть материальный элемент. Когда это отграничение произведено, можно вместо слова „сущность" употреблять слово „единица"» (стр. 211). Возможность отграничения единиц, вытекающая из линейности языка, заставляет Соссюра часто упоминать о конкретности единиц. Он пишет, что «существовать для лингвистического элемента — это значит быть отграниченным в своей ценности (в определенном смысле), которую говорящие придают ему» (там же).

Из материалов, опубликованных Р. Годелем, можно сделать вывод о том, что Ф. де Соссюр приближался к пониманию вербального характера мышления, так как он неоднократно повторяет в записях и лекциях (вплоть до последнего курса) мысль, высказанную им еще в 1891 г., о соотношении звуковой стороны и сознания: «то, что противопоставляется материальному звуку, является сочетанием звук — идея („son—idée"), но ни в коем случае не одной идеей» (стр. 212); однако в конце концов он решил, что мысль и звук, отграниченные друг от друга, представляют собой аморфные массы. В связи с этим издатели поместили в «Курсе» фразу: «язык есть форма, а не субстанция», упустив из виду, что Соссюр считал слово «форма» одиозным и избегал употреблять его (стр. 191). В соединении «звук — идея» Соссюр отводил решающую роль значению: «только значение позволяет отграничивать слова в произносимой цепи» (стр. 214); «только мысль отграничивает единицы; звук сам по себе не способен к отграничению, всегда должно быть соотношение с мыслью» (там же). Колебания де Соссюра ясно видны также из следующих его высказываний, в которых он сначала утверждает, что «не звуковая произносимая субстанция представляется нам как основа того, что составляет слово» (стр. 277), а потом все же добавляет: «с материальной субстанцией, которая входит в каждую единицу, необходимо так же считаться [...], как и с функцией, которая приписывается этой субстанции» (там же).

Вскрывая системный характер языка, Ф. де Соссюр много внимания уделяет понятию ценности, или значимости («valeur»), которое тем не менее остается у него недостаточно разъясненным и в «Курсе», и в рукописных материалах. Сравнивая многочисленные примеры высказываний Соссюра, Р. Годель считает, что чаще всего понятие ценности приравнивается к понятию значения. Так, в записях лекций Соссюра и в его черновиках можно найти следующие соображения: «Идея ценности всегда связана с членом... Ценность — синоним смысла, значения...» (стр. 236), но при этом следует говорить о «ценности членов и значении слов» («valeur des termes et sens des mots») (там же). В одном месте даже сказано: «Ценность — элемент смысла. Но и смысл надо понимать как ценность» (там же). Р. Годель заметил, что издатели выпустили эту неясную фразу, повторенную во всех записях лекций Соссюра курса 1908—1909 г. Утверждая синонимичность терминов «ценность» и «значение», Соссюр в то же время говорит, например, о том, что ценность множественного числа в латинском и немецком языках не адекватна ценности множественного числа в санскрите (вследствие наличия в последнем двойственного числа), хотя значение их совпадает, и далее добавляет: «Значение (или смысл) может абстрагироваться от ценности, но не наоборот» (стр. 236, примеч. 359). Иногда де Соссюр употреблял словосочетание «степень сигнификативности» в качестве синонима к слову «ценность». Термин «ценность» Соссюр предпочитает употреблять по отношению к знакам вообще, вводя семиологию в разряд наук, занимающихся ценностями (см. сравнение семиологических ценностей с ценностями политэкономии — стр. 235).

Интересно высказанное Р. Годелем предположение о том, что издатели «Курса» (точнее — А. Сешеэ, который высказал подобную мысль в статье, относящейся к началу 1916 г.) добавили к материальной ценности еще понятие концептуальной ценности, которое ни в записях лекций, ни в черновых материалах самого Соссюра не

каждый раз дается как «термин», что совершенно искажает математическое толкование описываемых Соссюром явлений (см., например, Ф. де Соссюр, указ. соч., стр. 119, 120).

фигурирует. Отмечая, что Соссюр рассматривал в своих курсах проблему ценности после теории ассоциаций и синтагм, так как понятие ценности связано с понятием системы отношений, особенно синтагматических (стр. 231), а также ассоциативных (стр. 200), Годель считает, что издатели неправомерно включили эту проблему во введение (изучение системы и механизма языка), чем — можем мы добавить — затруднили понимание теории Соссюра.

Давно известно соссюровское определение языка как «системы знаков, в которой единственно существенным является соединение смысла и акустического образа, причем оба эти элемента знака в равной мере психичны»[10]. Анализ рукописных материалов позволил Р. Годелю сделать вывод о том, что такое толкование не соответствует идее самого Соссюра. В конспекте, по которому работали Ш. Балли и А. Сешеэ, записано: «...соединение з в у к а (разрядка моя.— *Н. С.*) и акустического образа» («l 'union du son et d'image acoustique»). Эта фраза вызвала недоумение издателей, что следует из пометки на полях рукописи, сделанной рукой Сешеэ: «de sens?» («смысла?»). С этим исправлением фраза вошла в «Курс». В записях другого студента Годель нашел несколько иную формулировку того же определения: «единство звукового исполнения и акустического образа» («...de l'exécution phonatoire et de l'image acoustique»), которая не только убеждает в неправомерности поправки, сделанной издателями, но и заставляет по-другому оценить определение Соссюром языка, которое восстанавливается Р. Годелем в следующем виде: «Язык — социальный продукт, находящийся в виде некоего сокровища в мозгу каждого индивидуума, ...единство звука и акустического образа» (стр. 152). Под акустическим образом Соссюр понимал знак звукового исполнения, отличающийся от других знаков, например письма, так как считал, что: «язык и письмо — две системы знаков, из которых вторая имеет особое назначение — представлять первую» (стр. 153, примеч. 81). Р. Годель называет письмо системой непрямых («indirect») знаков, хотя, пожалуй, точнее было бы назвать его системой вторичных знаков.

Решение проблемы взаимоотношения языка и речи подвело Ф. де Соссюра к разграничению синхронии и диахронии. Анализ, произведенный Годелем, свидетельствует о том, что, противопоставляя синхронию диахронии, Соссюр не отрицал их взаимосвязи, как это принято думать. Все свои лекции по общей лингвистике он всегда начинал с эволюционной (диахронической) лингвистики, как бы подводя слушателей издали к более сложным вопросам статической (синхронической) лингвистики. Р. Годель упрекает издателей «Курса» за то, что они пренебрегли методической схемой Соссюра и отвели проблемам синхронической лингвистики первое место, следуя мысли А. Сешеэ, которую последний высказывал еще в 1908 г.

Соссюр неоднократно указывал на то, что не следует смешивать историю языков и языковых семей, предполагающую применение сравнительно-исторического метода, с диахронической лингвистикой, являющейся общей теорией языковой эволюции. Судя по материалам, приведенным в «Курсе», а также собранным Годелем, Соссюру не удалось разработать диахроническую лингвистику: он не успел создать лингвистику речи[11], а, по его мнению: «все, что есть в языке диахронического, существует в нем благодаря речи» (стр. 156). То, что дано в «Курсе» под названием диахронической лингвистики, конечно, не является общей теорией эволюции, а представляет собой отдельные наброски, тематика которых, как бы ни были оригинальны некоторые трактовки, не выходила за рамки современного Соссюру языкознания (звуковые изменения, аналогия, этимология и т. п.), кроме главы о двух перспективах диахронической лингвистики, помещенной издателями совершенно необоснованно, как правильно заметил Р. Годель, в пятую часть вместо третьей части книги.

Издатели «Курса» не подчеркнули и того, что историю языка Ф. де Соссюр относил к внешней лингвистике. Помещение издателями вопросов, связанных с разграничением внешней и внутренней лингвистики, во вводные главы навело многих исследователей на мысль о том, что это противопоставление является более важным по сравнению с разграничением синхронии и диахронии. На основе анализа рукописных материалов Р. Годель отмечает, что между внешней и внутренней сторонами языка не существует такого радикального противопоставления, как между синхронической и диахронической лингвистиками, которое является центральным в концепции Соссюра (стр. 184). От внимания комментаторов ускользнуло то, что Соссюр не отрицал взаимосвязи внешней и внутренней сторон. В курсе лекций 1908—1909 гг. он особенно подчеркивал это, указывая вместе с тем, что лингвистика не должна ограничиваться изучением внешней стороны, как она это делала до сих пор.

Р. Годель подробно проанализировал работу издателей «Курса» [гл. III «Работа издателей» (стр. 95—129)]. Он отметил, что «Курс» был создан и подготовлен к печати в слишком короткий срок (3 года), учитывая занятость обоих составителей разработкой собственных курсов лекций и трудов; при подготовке его были использованы не все записи, особенно последних лекций Соссюра, не все его рукописи и черновики. В книгу были включены главы, материал которых сам Соссюр никогда не включал в свои лекции (например, глава

[10] Ф. де Соссюр, указ. соч. стр. 39.

[11] Р. Годель считает неправильным утверждение издателей о том, что Соссюр, якобы, хотел поместить лингвистику речи между синхронической и диахронической лингвистиками.

«Фонема в речевой цепи»). Заметки издателей на полях использованных ими рукописных материалов показывают, что многое им самим было неясно и трактовалось порой произвольно; дискутировался каждый лист и создавался по взаимному согласию. Годель приводит некоторые основные выдержки из «Курса» и показывает, что Ш. Балли и А. Сешеэ в некоторых местах развили или изменили текст рукописей, внося в него дополнения или давая свою интерпретацию, хотя причины этих отступлений не всегда ясны (стр. 115—119). Годель дает критическое чтение некоторых отрывков из «Курса» с параллельным текстом рукописей, что позволяет выявить добавления и изменения, внесенные издателями в текст «Курса» (стр. 122—129).

Р. Годель проделал интересную и трудоемкую работу по сопоставлению всех имевшихся в его распоряжении материалов между собой и по сличению их с «Курсом», особенно тщательно проанализировав главы, в которых трактуется сущность лингвистического знака. Проведенное исследование утвердило Годеля в мысли, что многое в концепции Ф. де Соссюра остается не разъясненным (например, проблема тождества в синхронии и диахронии, соотношение ценности и значения) или спорным (толкование аналогии и этимологии); сомнения вызывает различие между языком, речью и речевой деятельностью; недостаточно раскрыто, что понимал Соссюр под механизмом языка и т. д. Свой вывод автор формулирует так (стр. 249): «Мысль Ф. де Соссюра, судя по его неизданным заметкам и записям курсов, блестяща, хотя улавливается с трудом. Она концентрируется вокруг нескольких основных положений, своего рода геометрических точек, наметивших систему линий, которые должны были в конце концов определить цельную фигуру. Но мы располагаем лишь некоторыми последовательными набросками и фрагментами этой фигуры, которые не дают возможности определить с точностью ее окончательные контуры. Даже терминология, намеренно приспособленная к целям преподавания, далека от того алгебраического выражения, которое, возможно, создал бы Соссюр, если бы он решил выразить свои идеи в книге».

Н. А. Слюсарева

T. Lehr-Spławiński, Z. Stieber. **Gramatyka historiczna języka czeskiego.** Część I. Wstęp. Fonetyka historyczna. Dialektologia.— Warszawa, 1957. 142 стр.

«Историческая грамматика чешского языка» известных польских лингвистов акад. Т. Лера-Сплавинского и проф. З. Штибера является научным пособием для студентов и широкого круга читателей. Этим в известной мере определяется отбор материала и его изложение, очень сжатое, почти полностью исключающее толкование различных точек зрения по тому или иному вопросу, а также значительный отсев многих конкретных фактов, не имеющих принципиального значения для характеристики системы языка. Все это не снижает, однако, достаточно высокого научного уровня книги, ценность и полезность которой не вызывает сомнения.

Введение, а также те разделы главы «Историческая фонетика», которые посвящены праславянскому вокализму, интонации, акценту и отражению их в истории развития чешского языка, написаны акад. Лером-Сплавинским. Во введении дается общая характеристика славянских языков, определяется их место в семье индоевропейских языков, характеризуется балто-славянское языковое единство, говорится об общности и диалектных различиях праславянского языка, указываются языковые черты юго-западной славянской языковой группы (т. е. чешско-словацкой). Написано введение традиционно. Оно не содержит почти ничего нового по сравнению с предшествующими работами Лера-Сплавинского [1].

В главе «Историческая фонетика», написанной за исключением названных выше разделов З. Штибером, наиболее ценным является последовательное применение фонологического принципа как к звуковой системе современного чешского языка, так и к исторической фонетике этого языка. Для каждого наиболее значительного этапа в истории развития чешского языка автор определяет звуковую систему языка, причем фонемы (главным образом гласные) четко отграничиваются от фонетически обусловленных, комбинаторных вариантов. При этом описание звуковой системы языка того или иного периода сочетается с описанием истории развития отдельных явлений в хронологической последовательности. Так, например, автор указывает систему гласных фонем, унаследованных чешским языком от праславянского периода, затем определяет систему гласных фонем, возникшую в результате изменения звукового качества носовых и редуцированных гласных, в результате стяжения гласных и других ранних явлений чешской исторической фонетики. Далее выявляется система фонем, явившаяся результатом изменения гласных в долгом слоге и в некоторых других положениях. Таким образом, автор доходит до конца XVI в., т. е. до периода стабилизации звуковой и грамматической системы чешского языка. Этим рассматриваемая книга выгодно отличается от старой традиционной чешской литературы, где нередко система языка растворялась в изложении многочисленных фактов, частных и факультативных явлений.

Хотя излагаемые в главе «Историческая фонетика» факты общеизвестны, однако метод описания, отбор материала, а в ряде случаев и его интерпретация отличаются свежестью и целенаправленностью. В отдельных случаях можно только приветствовать отход З. Штибера от традиционного

[1] Ср., например, Z. Klemensiewicz, T. Lehr-Spławiński, S. Urbańczyk, Gramatyka historyczna języka polskiego, Warszawa, 1955 и другие его работы.

объяснения некоторых явлений. Это касается, прежде всего, определения звукового качества *ě* (в долгом слоге оно не могло быть дифтонгом, так как дифтонг *íe* не переходил в чешском языке в краткий гласный), а также объяснения появления *j* после губных согласных в результате расщепления артикуляции мягких губных согласных, а не в результате сохранения так называемой йотации (*íe*>*je*).

В главе «Диалектология», написанной тоже З. Штибером, прослеживается судьба различных фонетических и морфологических явлений по чешским, ганацким, ляшским и переходным чешско-словацким говорам. За исходное берутся звуковая система чешского языка примерно XI в. (после деназализации носовых и падения редуцированных) и различные древнечешские формы, унаследованные чешским языком от праславянского периода. Затем дается деление говоров, определяются их языковые границы, указываются некоторые их фонетические и морфологические особенности. При всех положительных сторонах принимаемого автором метода изложения, при котором сначала указываются общие, определяющие отличия между говорами, затем рассматриваются частные, дробные черты, касающиеся отдельных диалектных групп, он имеет свои совершенно определенные недостатки. Во-первых, неизбежны многочисленные повторения того, что уже излагалось в главе «Историческая фонетика». Во-вторых, нарушается цельность впечатления от характеристики говора, утрачивается представление о системе говора (прежде всего звуковой).

В отличие от главы по исторической фонетике, в главе, посвященной диалектологии, ни для одного говора не приводится система гласных и согласных фонем, хотя более дробное деление чешских, ляшских и ганацких говоров основывается прежде всего на особенностях их звукового состава: принимаются во внимание количественные различия гласных (наличие долгих и кратких гласных), их состав (наличие простых звуков и дифтонгов), а также отношение долгих гласных к кратким внутри одного говора. Хотя автор довольно широко привлекает конкретный материал из известной работы акад. Б. Гавранка «Чешские наречия» [2], он, к сожалению, не воспользовался той характеристикой звуковой системы фонем отдельных говоров, которую дает Б. Гавранек. Однако в целом в качестве важного и ценного момента следует отметить, что З. Штибер использовал материал новейших работ по чешской и моравской диалектологии, которые не были им использованы при написании очерка диалектов западнославянских языков [3]. Мы имеем в виду прежде всего интересные монографии Я. Белича о дольских наречиях в Моравии и Я. Ворача о юго-западных чешских наречиях [4].

К сожалению, данные новейших работ используются не всегда. В результате допускаются некоторые неточности, например при определении произношения групп согласных. В частности, без всяких ссылок на произносительные нормы народно-разговорной речи указывается произношение [oce], [oče] вместо *otce*, *otče* [5].

Из частных замечаний, которые можно было бы сделать, мы остановимся лишь на некоторых. Вряд ли можно согласиться с утверждением, что *ē* в чешском языке сохранилось без изменения. В литературном языке оно сохранилось благодаря орфографической традиции. О его изменении в *í* свидетельствуют данные всех чешских говоров и народно-разговорной речи. При классификации согласных по месту образования наряду с губными, передне- и заднеязычными согласными постоянно указывается *j* (*i̯*) как неслоговой гласный, хотя в чешском языке он существует как переднеязычный согласный. В книге хотелось бы видеть хотя бы краткую характеристику важнейших чешских памятников. Список библиографии должен быть более полным.

А. Г. Широкова

M. Komárek. **Historická mluvnice česká.** I— Hláskosloví. — Praha, 1958. 179 стр.

Историческая фонетика чешского языка М. Комарка является первой частью из серии выпусков по исторической грамматике чешского языка. Третья часть этого труда (Исторический синтаксис чешского языка), написанная акад. Ф. Травничком, вышла отдельным выпуском в 1956 г. [6]. В ближайшее время ожидается последний выпуск этой серии, посвященный исторической морфологии.

В центре внимания работы М. Комарка находится фонетическая система древнечешского языка XIV в. В этом отношении рассматриваемая книга значительно отличается от имеющихся пособий по исторической грамматике. По существу она является пособием по древнечешской фонетике XIV в., дополненным историческими комментариями о закономерностях развития языка предшествующей эпохи, начиная с периода диалектной дробности праславянского языка, и разделами о перспективах развития чешской фонетики в последующие эпохи (XV—XVI вв.).

Автор использовал в своей книге обширный конкретный материал, содержащийся в «Исторической грамматике» и в древне-

[2] B. Havránek, Nářečí česká, «Československá vlastivěda», díl III, Praha, 1934.

[3] См. Z. Stieber, Zarys dialektologii języków zachodnio-słowiańskich, Warszawa, 1956.

[4] J. Bělič, Dolská nářečí na Moravě, Praha, 1954; J. Vorač, Česká nářečí jihozápadní, Praha, 1955.

[5] См. об этом, например, в книге: B. Hála, Výslovnost spisovné češtiny, její zásady a pravidla, Praha, 1955, стр. 41. Назовем еще книгу: F. Daneš, B. Hála, A. Jedlička, M. Romportl, O mluveném slově, Praha, 1954.

[6] F. Trávníček, Historická mluvnice česká, díl III, Praha, 1956.

чешском словаре Я. Гебауера [7], в «Исторической грамматике» акад. Ф. Травничка [8] и в других пособиях, монографиях и статьях, посвященных исследованию частных вопросов.

Однако метод описания и толкование многих явлений исторической фонетики у М. Комарка значительно отличается от традиционного.

Ценность исторической фонетики М. Комарка состоит прежде всего в том, что, в отличие от предшествующих пособий, рассматривающих древнечешский язык как совокупность отдельных языковых явлений, взаимосвязанность которых часто не устанавливалась и не доказывалась, в этой книге дано четкое и ясное описание языка как системы, в которой нет случайных и изолированных явлений. Применяя фонологический принцип исследования, М. Комарек рассматривает отдельные изменения как составную и неотделимую часть развития фонетической системы древнечешского языка в целом. Фонетическая система более поздних периодов является, по Комарку, результатом цепи изменений, обусловленных всем характером внутрисистемных языковых отношений данного периода. Так, например, в исчезновении парных мягких согласных М. Комарек видит главный стимул развития и изменения вокализма в XIV в. При этом отдельные фонетические факторы являются, по его мнению, лишь предпосылкой, а не решающей причиной изменений. Основные причины определяются системой в целом, они обусловлены характером взаимоотношений всех ее компонентов.

Такая позиция позволила М. Комарку прийти к совершенно новым и оригинальным выводам о причинах ряда звуковых изменений. Так, например, в противоположность традиционной точке зрения, согласно которой передвижка *'a>e* (*ležeti*, *ulice*) вызвана палатализующим воздействием мягких согласных, Комарек причину изменения *'a>e* видит в противоречии между структурой консонантизма и вокализма (стр. 50—53). Подобным же образом изменение *ē>ī* Комарек объясняет не столько фонетическими причинами, сколько существующей системой противопоставлений (стр. 151—152). Число аналогичных примеров можно было бы значительно увеличить. В связи с общей направленностью книги совершенно закономерным является наличие главы о взаимообусловленности фонетических изменений с конца XIV в.

Применение фонологического метода к описанию исследуемого материала позволило автору проследить смену фонологических систем и отдельных фонем. Особенно удачно в этом отношении разработана категория мягкости и твердости согласных. Интересна также судьба звуков *y* и *i*, которые с появлением парной мягкости согласных стали вариантами одной фонемы, а с исчезновением парных мягких согласных превратились в самостоятельные фонемы, совпав далее в XV в. в звуковом качестве фонемы *i*. Не менее интересны соображения относительно судьбы слогообразующих согласных, которые для древнечешского языка М. Комарек считает самостоятельными фонемами, так как они могли встречаться в том же фонетическом окружении, что и согласные *r*, *l* (ср. *krve* и *pr̥ve*, *držeti* «дрожать» и *dr̥žeti* «держать»), а в современном чешском языке вариантами фонем *r* и *l*, ибо употребление их позиционно обусловлено.

Весьма ценным следует считать также то, что, говоря о фонетических изменениях, М. Комарек постоянно стремится указывать и на сопровождающие их изменения морфологические, которые во многих случаях зависимы и вытекают из фонетических (ср., например, изменения в системе склонения существительных, прилагательных, местоимений, в спряжении глагола, явившиеся следствием стяжения гласных, перегласовки гласных и других явлений чешской исторической фонетики).

В книге содержится много мелких, но тем не менее весьма интересных замечаний, касающихся характера произношения и судьбы отдельных звуков (например, изменение *ū* не в *au*, а в *əu*, и др.). На них мы останавливаться не будем.

Избрание автором в качестве основного объекта описания фонетической системы языка XIV в. имеет свои положительные и отрицательные стороны. Синхронное описание языка этого века, как справедливо указывает и сам автор, позволяет представить фонетическую систему как определенную, законченную структуру на одном из этапов развития в истории чешского языка. Подобное описание и других важнейших периодов позволило бы глубже и основательнее проникнуть в сущность процессов его исторического развития. Потребность в таком описании весьма настоятельна. Она ощущается и самим автором. Наличие разделов, посвященных характеристике языка как предшествующего, так и последующего периодов, все же не может заменить полного курса истории языка. Как синхронное описание языка определенного периода работа М. Комарка прекрасно разрешает поставленную задачу, но как курс истории чешского языка (фонетики) она страдает неполнотой.

Не все разделы книги М. Комарка одинаково содержательны. Часть из них, посвященная вопросам славянской акцентологии, ударения, интонации, характеристике слога, и некоторые другие (например, вводные замечания) написаны традиционно, как правило, не обнаруживают попыток самостоятельного осмысления указанных вопросов.

Не все объяснения в книге убеждают. Толкование некоторых явлений остается пока еще проблематичным и даже спорным. Так, например, нам кажется, что автор

---

[7] См.: J. Gebauer, Historická mluvnice jazyka českého, díl I—III, Praha, 1894—1896, díl IV, Praha a Vídeň, 1929; его же, Staročeský slovník, I, Praha, 1903; II, Praha, 1916.

[8] F. Trávníček, Historická mluvnice československá, Praha, 1935.

слишком доверяет древнечешскому правописанию. Сказанное относится прежде всего к произношению *ě* в кратком слоге. Автор придерживается традиционной точки зрения на то, что *ě* в кратком слоге произносилось как дифтонг *i̯e*, который с течением времени изменился в *e* благодаря утрате йотации, т. е. первого компонента дифтонга. Но можно ли, основываясь на правописании, с уверенностью считать, что передача *ě* посредством *ie*, *ye* в памятниках древнечешской письменности указывает именно на дифтонгический характер гласного в кратком слоге? Подобная передача звука *ě* могла указывать на особый характер этого звука, на его более высокую, отличную от звука *e* артикуляцию, наконец, на мягкость предшествующих согласных (ср. также *iu* = *'u* и т. д.). Нельзя не доучитывать также определенной закономерности чешской фонетики: дифтонгизации здесь подлежали только долгие гласные. Судьба губных согласных перед заменой *ě* не может, по нашему мнению, служить свидетельством того, что *ě* в кратком слоге произносился как дифтонг, не утративший своей йотации в положении после губных согласных. Произношение губных с последующим *j* является результатом их отвердения и выделения прежней мягкости губных в особый йотовый элемент. В чешских и отчасти моравских говорах это явление представлено гораздо полнее и шире, чем в литературном чешском языке. Так, в юго-западных чешских говорах прежняя мягкость губных в виде йотового элемента представлена не только перед заменами *ě* и *ę*, но и перед *i* (ср. *pjivo*, *nabjit*). Подобное явление, связанное с отвердением губных, представлено также в польских и в украинских говорах, а также в литературном украинском языке. Ср. в польских говорах: *mjasto* // *mn'asto*, *p'ch'ivo*, *v'jino* и т. д., в украинском языке: *njam*, *мjасо*, *рибjарий*, *hолубjата*, *румjаний* и т. д. Напротив, в северночешских говорах у старшего поколения представлено полное отвердение губных согласных и отсутствие йотового элемента перед всеми гласными, в том числе и перед заменами *ě*. Это же явление отвердения губных находим в некоторых древнечешских памятниках.

Нам представляется также спорным объяснение дифтонгизации *o* в долгом слоге как следствие исчезновения парных мягких согласных и соединения лабиовелярного компонента предшествующего твердого согласного с последующим *o*: *ku* + *o* > *kuo*, *bu* + *o* > *buo* и т. д. Связь между депалатализацией согласных и изменениями гласных, как это убедительно показал М. Комарек, несомненна. Однако нельзя забывать и о других не менее важных факторах, в том числе и фонетических, которые следует рассматривать в их совокупности. Так, уже самый характер долгих гласных, как более закрытых и напряженных, обусловливал выделение в первой части их образования более высокого гласного элемента у гласных среднего подъема (*ā* > *iā*, *ē* > *iē*, *ē* > *iē*, *ō* > *uo*) и более низкого — у гласных верхнего подъема (*ȳ* > *ej*, *ī* > *ej*, *ū* > *au* или *əu*). Определенная закономерность представлена и при монофтонгизации образовавшихся дифтонгов. Монофтонгизировались дифтонги, имеющие в первой части своего образования более высокий элемент (*ou* > *ū*, *ie* > *ī*, *ia* > *iē* > *ī*), и сохранились дифтонги с более низким первым элементом *ou* и *ej* (по говорам и в народно-разговорной чешской речи).

Указанная закономерность при дифтонгизации и монофтонгизации долгих гласных в чешском языке, с нашей точки зрения, не дает возможности вырывать дифтонг *ou* из целой цепи тесно связанных между собой явлений и объяснять его появление влиянием каких-то особых факторов, иных, чем при появлении других дифтонгов. Аналогичное явление дифтонгизации *ó* под былым новым акутом представлено в севернорусских говорах, в польском и в словацком языках, где соотношение твердых и мягких согласных совершенно иное, чем в чешском.

При объяснении перехода *'a* > *e*, наряду с противоречиями между системой чешского консонантизма и вокализма, нельзя не принимать во внимание и факторы чисто фонетические, т. е. в данном случае палатализующее воздействие предшествующих и последующих согласных. Свидетельством этого могут служить данные некоторых севернорусских и южнорусских говоров, где передвижка *'a* > *e* имела место при отсутствии тех противоречий, которые характеризовали звуковую систему древнечешского языка к XII в. и к началу XIII в.

В книге М. Комарка ощущается недостаток диалектного материала. Использование его тем более важно, что в XIV—XV вв. развитие чешских диалектов было тесно связано с развитием языка чешской народности. Кроме того, современное состояние чешских, моравских и словацких диалектов, особенно окраинных, архаических, могло бы пролить более яркий свет на историю развития отдельных фонетических явлений.

Сделанные замечания, касающиеся наиболее спорных вопросов чешской фонетики, ни в коей мере не снижают общего в высшей степени благоприятного впечатления от книги М. Комарка, для которой характерен творчески свежий подход к языку как к системе при исключительной четкости и ясности изложения. В качестве положительного момента этого труда следует отметить, что к каждому разделу прилагается список литературы, в котором указываются не только общие работы, но отдельные статьи и исследования, посвященные разработке частных вопросов исторической фонетики чешского языка. Это находится в полном соответствии с тем, что и в самом изложении автор постоянно тщательно анализирует и взвешивает точки зрения различных авторов на тот или иной вопрос.

А. Г. Широкова

Ю. Д. Дешериев. **Развитие младописьменных языков народов СССР.**— М., Учпедгиз, 1958. 263 стр.

Книга Ю. Д. Дешериева — первая монографическая работа, которая ставит своей целью обобщить в научно-популярной форме опыт исторического развития младописьменных языков народов СССР после Великой Октябрьской социалистической революции. К «младописьменным языкам» автор относит «языки с общенародной письменностью, на которых впервые в советскую эпоху появились национальная школа, массовая художественная, общественно-политическая литература, национальный театр, делопроизводство в государственных учреждениях. К ним,— продолжает автор,— могут быть отнесены и языки, на которых делались попытки создать письменность в XVIII и XIX веках, а также языки, имевшие какие-то зачатки письменности на любой графической основе еще в XIX веке» (стр. 3, примеч. 1). Конечно, термин «младописьменные языки»не является строго установленным, его условность отмечает и Ю. Д. Дешериев. И все же приведенное истолкование (которое почему-то дано в сноске) оставляет читателя неудовлетворенным. Можно указать хотя бы на тот факт, что на некоторых из «младописьменных языков» национальная школа возникает еще задолго до установления Советской власти (например, осетинский язык); признак «национального театра», очевидно, неприменим уже в отношении многих «младописьменных языков»; то же следует отметить и для признака «делопроизводство в государственных учреждениях»; в разъяснении автора по существу оставлены без внимания факты смены письменности. Все это вызывает сожаление, потому что для темы книги возможно более четкое определение понятия «младописьменные языки» очень важно [1].

Едва ли есть необходимость в краткой рецензии подробно рассматривать «Введение» и первые три раздела книги, посвященные изложению и классификации хорошо известных специалистам материалов. Во «Введении» (стр. 5—13) приводятся основные положения ленинской национальной политики, даются общие сведения о национально-государственном устройстве СССР и перечисляются данные генеалогической классификации языков народов СССР с указанием числа говорящих на некоторых из них. Обращают на себя внимание многочисленные неточности в подаче использованного здесь материала. Так, ошибочно указано количество национальных округов в СССР (11, вместо 10), неправильно даны некоторые наименования (стр. 6); очевидно по небрежности отдельные индоевропейские языки объединяются автором то в подгруппы (балтийские), то в группы (иранские) (стр. 9); на одной и той же стр. 10 казахский язык упомянут как среди языков, которые «стали письменными, литературными языками лишь в советскую эпоху», так и в числе тех тюркских языков, на которых письменность возникла еще задолго до 1917 г.; на стр. 10 читателя может дезориентировать упоминание о «барабинских, камасинских и мелесских татарах». Но не эти досадные недоразумения определяют лицо книги, к недостаткам которой мы еще вернемся. Существо работы Ю. Д. Дешериева заключается в содержательном материале пяти ее разделов и в интерпретации этого материала, подчас представляющей интерес и для специалистов-языковедов.

Первый раздел книги (стр. 14—65) озаглавлен «Основные достижения в области разработки младописьменных языков» и охватывает большой круг вопросов, связанных с проблемами установления и развития письменности, а также литературных языков.

Автор отмечает ту большую роль, которую сыграли работы Н. Ф. Яковлева (особенно его «Математическая формула построения алфавита»), Н. В. Юшманова, Е. Д. Поливанова, Л. И. Жиркова, А. А. Реформатского и др. в деле разработки фонологических и графических основ алфавитов различных языков Советского Союза. На материале многочисленных языков Ю. Д. Дешериев показывает, как с появлением письменности поднялся культурный уровень ранее отсталых народов, какие трудности возникали на пути создания и развития литературных языков (необходимость определения диалектной базы, разработка орфографии, создание терминологии и т. д.) и как они разрешались. Естественно, что создание письменности на нескольких десятках языков потребовало углубленного исследования их фонетики, грамматического строя и словарного состава, которое существенно обогатило советское описательное языкознание и, в частности, лексикографию. Но самым важным результатом была подготовка национальных кадров, успехи просвещения, науки и культуры, неузнаваемо изменившие положение, с которым столкнулось молодое советское государство на окраинах бывшей царской России. Все эти вопросы получили освещение в первом разделе книги.

«Изучение младописьменных и бесписьменных языков» и «развитие языкознания в национальных республиках и областях» Ю. Д. Дешериев счел необходимым более подробно осветить в двух последующих разделах книги (стр. 66—86 и 87—141), причем в первом из них речь идет об исследованиях русских ученых, проводившихся преимущественно в Москве и Петербурге — Петрограде — Ленинграде. Очевидно, что заглавие этого раздела шире его действительного содержания. Но основное наше замечание здесь сводится к тому, что обширный материал обоих этих разделов представлен автором не в виде популярного изложения той проблематики, которая

[1] Более удачно, на наш взгляд, это понятие раскрыто в недавно выпущенном Институтом языкознания АН СССР сборнике «Младописьменные языки народов СССР» (М.— Л., 1959, стр. 3).

выдвигалась и решалась в процессе лингвистического изучения младописьменных и бесписьменных языков в связи с общим развитием отечественного языкознания, а главным образом в виде комментированных перечней фамилий и трудов отдельных исследователей, объединенных подзаголовками типа «Изучение тюркских языков», «Изучение горских кавказских языков» или «Научные центры по изучению тюркских языков в Казахской ССР», «Горно-Алтайская автономная область РСФСР», «Угро-финское языкознание», «Развитие иранского языкознания». Жаль, что автор не выдержал до конца и принятого им в этих разделах энциклопедического характера изложения и оформления материала: в приводимых им историографических и библиографических данных встречаются досадные неточности, непоследовательности и ошибки. Общие для всей книги полиграфические и редакционные недостатки выступают здесь особенно ярко; так, на стр. 141 последний абзац должен был бы находиться двумя абзацами выше.

Основной интерес для читателя-лингвиста представляют два заключительных раздела книги: IV — «Взаимодействия языков народов СССР» (стр. 142—227) и V — «Пути дальнейшего развития младописьменных языков народов СССР и важнейшие задачи в области их разработки» (стр. 228—260), в которых автор стремится привлечь внимание нашей общественности к проблематике, широко обсуждавшейся в 20—30-е гг. XX в., но позднее почти полностью забытой в советской лингвистической литературе, если не считать отдельных, как правило, чисто эмпирических работ, посвященных влиянию русского языка на другие языки народов СССР преимущественно в области лексики. Трудность задачи, стоящей здесь перед автором, станет особенно ясной, если учесть, что, например, по проблеме взаимодействия языков в современном языкознании вообще очень мало научных работ [2], а составители упомянутого выше сборника «Младописьменные языки народов СССР», подготавливавшегося одновременно с книгой Ю. Д. Дешериева, вообще обошли эту проблему.

Раздел четвертый начинается «Общими замечаниями» по проблеме взаимодействия языков — «критическим анализом некоторых основных положений представителей различных направлений» (стр. 142—155). Здесь упоминаются и кратко характеризуются работы И. А. Бодуэна де Куртене, Г. Шухардта, Н. Я. Марра, О. Шрадера, А. М. Селищева. Едва ли можно считать, что этими именами исчерпывается перечень исследователей, внесших свой вклад в изучение проблемы взаимодействия языков. Нельзя не отметить также, что взгляды И. А. Бодуэна де Куртене на эту проблему получили в книге Ю. Д. Дешериева несколько одностороннюю, в основном отрицательную характеристику. Но самыми существенными недостатками «Общих замечаний» мы считаем отсутствие даже простого упоминания теории зональных языков и то исторически совершенно не оправданное значение, которое придает автор высказываниям о процессе смешения языков С. Шевырева (его взгляды представляются Ю. Д. Дешериеву «своеобразной разновидностью (!) марровского понимания возникновения новых индоевропейских языков» — стр. 147).

Главными недостатками рассмотренных «теорий» Ю. Д. Дешериев считает «отсутствие конкретной постановки и решения вопроса об основных закономерностях смешения и скрещения языков», «недооценку решающей роли политического, экономического и культурного воздействия одного народа на другой, обусловливающего победу одного языка над другим», отсутствие «научной характеристики своеобразия конкретных условий смешения и скрещения языков в разные исторические эпохи», отсутствие «дифференцированного подхода к этим процессам в области фонетики, лексики, синтаксиса и морфологии», а также в родственных и неродственных языках и др. (стр. 151).

«Процессы, относящиеся к взаимодействию языков,— пишет далее автор,— проявляются в самых разнообразных формах. Однако основными из них являются процессы, связанные с а) дифференциацией, б) интеграцией и в) заимствованиями» (стр. 152). Автор правильно отмечает, что — за некоторыми редкими исключениями — дифференциация (распад одного языка на несколько самостоятельных языков) и интеграция (слияние языков) нехарактерны для развития языков народов СССР в настоящее время. Процессы заимствования, наоборот, являются характерной особенностью развития языков народов СССР, причем младописьменные языки обогащаются путем заимствования главным образом из русского языка и других старописьменных языков. В то же время определение места смешения и скрещения (скрещивания) в намеченной автором классификации для читателей остается не совсем ясным. Факты двуязычия и их роль в процессах взаимодействия языков Ю. Д. Дешериев отмечает неоднократно, но в целом они не получают в разделе достаточного раскрытия.

Далее отдельно рассматриваются взаимодействия языков народов СССР по территориальному признаку: «взаимодействия» языков народов Средней Азии, языков Поволжья и Сибири, языков народов Дальнего Востока и Крайнего Севера, языков Прибалтики, восточнославянских языков, языков народов Кавказа. Вопросу о взаимодействии этих последних автор уделяет в несколько раз больше места (стр. 170—216), чем всем остальным «взаимодействиям» вместе взятым. По ши-

[2] См., впрочем, U. Weinreich, Languages in contact. Findings and problems, New York, 1953, а также K. H. Schönfelder, Probleme der Völker-und Sprachmischung, Halle (Saale), 1956 и др. (автор ими не воспользовался). Более узкая проблема заимствования разрабатывается значительно интенсивнее.

роте привлеченного материала этот подраздел выгодно отличается от предшествующих, представляя собой самостоятельное исследование, но вносит некоторую диспропорцию в структуру книги.

Обширный материал наблюдений над процессами взаимодействия языков Кавказа автор классифицирует, устанавливая среди этих языков пять типов «с точки зрения языковых взаимоотношений»: «1) древнеписьменный грузинский язык, бесписьменные и младописьменные языки, образующие языковые островки на территории Грузинской ССР; 2) бесписьменные языки, испытывающие сильное влияние старописьменного азербайджанского языка; 3) бесписьменные языки на территории Дагестана, испытывающие влияние младописьменных языков, которое неодинаково проявляется в различных районах; языки с своеобразным характером взаимоотношения и взаимовлияния; 4) младописьменные языки, относящиеся к разным группам (семьям) языков (кумыкский, осетинский, аварский, кабардинский и т. д.); 5) древнеписьменные, младописьменные и бесписьменные языки, испытывающие влияние русского языка» (стр. 170—171).

Эта классификация вызывает ряд замечаний. Прежде всего, речь здесь идет, очевидно, не о типах языков, а о типах самих взаимодействий. С этой точки зрения, которую, собственно, и проводит далее автор, первые два типа не обнаруживают принципиальных различий, а их объединенное рассмотрение могло бы привести к более существенным обобщениям, которых вообще хотелось бы видеть больше во всем этом разделе и которые тонут в массе фактического материала. Наконец, пятый из намеченных Ю. Д. Дешериевым типов явно не укладывается в схему. В конце раздела автор, не довольствуясь анализом влияния русского языка на языки Кавказа, останавливается на «роли русского языка в общении и братском сотрудничестве народов СССР» (стр. 224—227), но эта роль русского языка могла бы получить в книге более яркую лингвистическую характеристику, если бы вопросы взаимодействия русского языка с другими языками народов СССР и разные типы этого взаимодействия были рассмотрены более широко и специально.

Надо сказать, что один параграф четвертого раздела книги «Возникновение общего лексического фонда в языках народов СССР» (стр. 216—220) давал автору возможность восполнить этот пробел и частично восполняет его, но если учесть, что автор на нескольких страницах говорит здесь как о компонентах общего лексического фонда о научно-технических терминах, интернациональных словах, советизмах, ономастике, топонимике, этнонимике, станет ясным чисто иллюстративный и беглый характер этого восполнения.

Нам хотелось бы высказать и одно замечание по поводу небольшого параграфа «Некоторые основные особенности заимствований из русского языка» (стр. 220—223). Здесь автор допускает неточную, на наш взгляд, формулировку, когда категорически утверждает: «Нет основания говорить о каких-то общих закономерностях развития языков народов СССР, возникших в советскую эпоху и обязательных для всех языков. Таких закономерностей нет». Если иметь в виду «внутренние законы функционирования языков», как далее пишет автор, т. е. закономерности структурного развития, то несомненно, что победа социализма в нашей стране не могла создать таких закономерностей. Но едва ли Ю. Д. Дешериев будет отрицать, что величайший социальный переворот — Великая Октябрьская социалистическая революция — создал предпосылки для возникновения новых закономерностей языкового развития в странах победившего и побеждающего социализма [3]. Другое дело, что пока мы еще очень мало или недостаточно занимались изучением ростков этих закономерностей даже на материале языков СССР, не говоря уже о языках всего социалистического лагеря. Крах марровских поспешных обобщений не должен, как нам кажется, служить поводом для отказа от поисков закономерностей развития языков в социалистическом обществе и для замены этих поисков эмпирической фактографией. Нельзя не отметить, что общий пафос книги Ю. Д. Дешериева как раз и заключается в призыве к отысканию общих закономерностей языкового развития. Тем более неуместной оказывается отмеченная нами формулировка.

Последний, пятый раздел книги «Пути дальнейшего развития младописьменных языков народов СССР и важнейшие задачи в области их разработки» (стр. 228—260) в значительной своей части (параграфы: «Изучение фонетической системы и грамматического строя младописьменных языков», «Изучение словарного состава», «Изучение диалектов», «Исследование общенародного разговорного языка», «Сравнительно-историческое изучение младописьменных и бесписьменных языков», «Изучение младописьменных и бесписьменных языков в связи с историей развития общества», «Создание сопоставительных исследований русского и младописьменных языков») посвящен вопросам, которые выходят за рамки научно-популярного издания. В то же время освещение этих вопросов в книге довольно систематическое и полное, и, хотя можно в ряде случаев оспаривать те или иные утверждения автора,— его выводы о том, например, что «нашим языковедам необходимо в ближайшее время ликвидировать серьезное отставание в сравнительно-историческом изучении языков народов СССР» (стр. 249) и др. подобные — совершенно бесспорны, так что мы не будем останавливаться на них.

Внимание читателя особенно привлекают два параграфа этого раздела: «Развитие младописьменных литературных языков» (стр. 236—242) и заключительный параграф книги — «Общее языкозна-

[3] Ниже, на стр. 251—252, автор вплотную подходит к признанию этого.

ние и младописьменные языки» (стр. 254—260). В первом из этих параграфов автор сделал попытку своеобразной классификации языков СССР с точки зрения выполняемых ими функций. По мнению Ю. Д. Дешериева, следует различать «литературные языки союзных республик, с одной стороны, автономных республик и областей — с другой» (стр. 236). Различны и перспективы дальнейшего развития у тех языков, которые опираются на длительные литературные традиции, и у языков «таких малочисленных народностей, как нанайская, эвенская и другие» (стр. 237). Специфичны функционирование и перспективы развития бесписьменных языков (стр. 241). Более подробно вопросы классификации и перспектив развития языков народов СССР Ю. Д. Дешериев осветил в специальном докладе [4], в книге же эта проблема еще не нашла развернутого изложения.

Автор отмечает интересные особенности в развитии старописьменных и младописьменных языков. «Литературные языки старописьменных народов, — пишет Ю. Д. Дешериев,— продолжают развиваться в сторону сближения с общенародным разговорным языком, особенности расхождения между ними утрачиваются постепенно; литературный язык все больше и больше принимает общенародный характер. Напротив, младописьменные литературные языки, возникшие на основе общенародной живой разговорной речи, в первый период своего развития начинают отходить от этой основы, бурно обогащаясь словами, терминами, фразеологией, синтаксическими оборотами, кальками, заимствованиями, жанрово-стилистическими и функциональными особенностями... На этой почве иногда возникает опасность серьезных затруднений в понимании текста официальных документов на том или ином младописьменном языке, опасность разрыва между общенародным разговорным языком и младописьменным литературным... Младописьменный литературный и общенародный разговорный языки, взаимодействуя, развиваясь и обогащаясь, будут сближаться уже на новом, высшем уровне своего развития» (стр. 239). «Младописьменный литературный язык усиливает свое нормирующее влияние на общенародный разговорный язык» (стр. 241).

В заключительном параграфе книги автор подчеркивает, что в последние десятилетия на первый план в лингвистических исследованиях выдвинулись «проблемы статического анализа языка и проблемы развития литературных языков», и считает это «знаменательным фактом» (стр. 255). «Между тем,— пишет Ю. Д. Дешериев,— важнейшие вопросы развития младописьменных литературных языков в плане проблем общего языкознания у нас разрабатываются весьма и весьма слабо... Мы не можем закрывать глаза и на то, что основные общетеоретические проблемы статического языкознания на материале языков народов СССР у нас почти не разрабатываются...» (стр. 256).

[4] См. ВЯ, 1959, № 2, стр. 171.

Отмечая, что младописьменные языки могут дать много ценного для различных проблем общего языкознания (в частности, «в связи с проблемами кибернетики»), но не конкретизируя и не иллюстрируя эти соображения, автор далее кратко останавливается на проблеме «машинный перевод и младописьменные языки». Несколько неожиданно затрагивается здесь автором вопрос о языке-посреднике машинного перевода. Еще более неожиданным оказывается утверждение Ю. Д. Дешериева о том, что «наиболее идеальным языком для машинного перевода, посредником... явился бы искусственный язык типа эсперанто» (стр. 257). Мы согласны с высказанным в книге сожалением по поводу того, что «потенциальные возможности эсперанто служить легко усвояемым средством общения в международных встречах по вопросам торговли, культурных, научных связей, языком международной научной и технической литературы в настоящее время еще слабо используются» (стр. 257) [5]. Но едва ли эсперанто может претендовать на роль языка-посредника (для которого вовсе не нужна звуковая форма), тем более, что, как уже отмечалось одним из нас, именно широкое использование вспомогательного международного языка как языка научных публикаций явилось бы радикальным решением той задачи, которую имеют в виду опыты машинного перевода [6].

В заключительной части параграфа Ю. Д. Дешериев кратко характеризует задачи разработки лингвистической теории, исходя из комплексного подхода к языку с учетом достижений и проблем общественных, естественных и технических наук.

*

Мы рассмотрели основное содержание книги. Большой материал, включенный в нее автором, как видим, очень неоднороден. Научно-популярный профиль книги не выдержан. С этим связан и неровный характер изложения: от рассчитанного на специалистов в параграфе «Взаимодействия языков народов Кавказа» (где, например, не объясняются термины «локатив» и «эргатив») до излишне упрощенного в некоторых других местах работы. Очень многочисленны следы авторской поспешности и редакторской неряшливости при подготовке книги (ср., например, выражение «местные люди» на стр. 7; «...всякое познание наиболее доходчиво и понятно народу на его родном языке» — там же; «на это мы в СССР (!) обращаем большое внимание» — стр. 36 и т. д.). Все это значительно снижает уровень полезной книги Ю. Д. Дешериева. Но широкий круг проблем, затронутых автором, и его стремление привлечь внимание языковедов к несправедливо забытой проблематике позволяют нам рекомендовать эту книгу читателям.

[5] Ср. Б. Гафуров, Успехи национальной политики КПСС и некоторые вопросы интернационального воспитания, «Коммунист», 1958, № 11, стр. 17.

[6] См. ВЯ, 1957, № 2, стр. 171.

Нельзя не подчеркнуть важность проблем, к которым обратился Ю. Д. Дешериев: сейчас, в период развернутого строительства коммунизма в нашей стране, вопросы языкового строительства становятся особенно актуальными.

В. П. Григорьев, М. И. Исаев

«Contributions onomastiques publiées à l'occasion du VI Congrès international des Sciences onomastiques à Munich du 24 au 28 Août 1958» — Bucarest, Éditions de l'Académie de la République Populaire Roumaine, 1958. 184 стр.

Рецензируемый сборник состоит из двух сообщений и семи статей, посвященных проблемам топонимики и ономастики.

Первым в сборнике напечатано сообщение члена и вице-президента Румынской Академии наук Й. Йордана «Данные лингвистической географии и румынская топономастика» (стр. 7—32), в котором исследуется совпадение лексических зон с топонимическими зонами. Исходя из положения М. Фасмера [1] о том, что население может создавать названия местностей, пользуясь заимствованными словами, автор указывает, что славянские названия местностей на территории Румынии по своему происхождению двух категорий: с одной стороны, они созданы чужим населением, а с другой — это названия местностей, созданные румынским населением путем использования нарицательных имен, заимствованных из других языков. И в том и в другом случае почти всегда существует согласованность между лексическими и топонимическими зонами. Так, в статье рассматриваются следующие топонимы славянского происхождения: *Bistrița*, *Crasna*, *Cerna*, *Crâdiștea* наряду с *Grădiștea*, распространенными на всей территории Румынской Народной Республики.

Й. Йордан изучает также топонимы украинского происхождения, зона распространения которых охватывает Буковину, Молдавскую ССР, Молдову и северные области Трансильвании. Автор объясняет совпадение лексической и топонимической зон украинского происхождения и доказывает, что топонимические дублеты типа *Strajă — Storojineț* и *Grădiște — Horodiște* являются двумя языковыми слоями — старым южнославянским (*Straja*) и более новым — восточнославянским (*Storojineț*), а не исключительно южнославянским, как утверждают Г. Нандриш [2] и Э. Лозован [3]. Впрочем существование этих двух языковых слоев — среднеболгарского и русско-украинского — в языке молдавских грамот XIV и XV вв. было доказано в 1910 г. акад. А. А. Шахматовым [4].

Во второй части статьи на материале топонимов древнетюркского происхождения исследуются совпадения лексических зон с топонимическими. Тот же вопрос рассматривается и на основе топонимов татарского и османлийско-турецкого происхождения, что представляется особенно трудным, во-первых, вследствие бедности и ненадежности источников и, во-вторых, вследствие того, что между разными тюркскими языками существуют такие незначительные различия, что лишь редко можно с уверенностью сказать, является ли то или иное слово куманским или турецко-османлийским. Топонимы тюркского происхождения, так же как и славянские топонимы, распространены по всей территории Румынской Народной Республики, но существует и несоответствие между топонимией и обычной лексикой языка, например в Добрудже. Автор совершенно прав, утверждая, что между языком какого-нибудь народа и топонимикой его страны нет никакой разницы: и язык и топонимика является продуктом исторического развития соответствующего народа. Свои основные положения Й. Йордан подкрепляет обильным фактическим материалом, тщательно подобранным и проанализированным. Надо отметить, что исследование топонимических названий требует специальных и глубоких познаний, применения надежных методов работы. Именно эти черты характеризуют как рецензируемое сообщение, так и все труды Й. Йордана в области изучения топонимии.

В статье академика Э. Петровича «Румынские топонимы славянского происхождения, в которых встречается группа „гласный + носовой" = общеслав. *ǫ» (с двумя картами) (стр. 33—43) исследуются в хронологическом порядке сначала некоторые топонимы, образованные румынами на основе заимствованных у славян нарицательных имен, а затем целый ряд топонимов, созданных славянами на территории Румынской Народной Республики (группы на *în*, *îm*, *un*, *um* вместо общеславянской носовой гласной * *ǫ*). Так, к первой категории принадлежат, например: *Crîngu*, *Dumbrava*, *Golumbul*, *Lunca* с их производными, а ко второй: *Glîmboaca*, *Dîmbova*, *Cîmpina* также с их производными.

В результате изучения автор делает следующие выводы: 1) румынский язык сохранил фонетический облик топонимики славян в том виде, в каком она существовала до смешения славян с румынами; 2) зона топонимов с *în*, *îm* совпадает с зоной топонимов с *št*, *žd* < общеслав. * *tj*, *dj* и *ě*a < общеслав. **ě*. Эта зона является зоной славянского населения, которое, по мнению автора, до его ассимиляции румынами говорило на одном славянском южноболгарском диалекте.

---

[1] См. «Sitzungsberichte der Preussischen Akad. der Wissenschaften». Philosoph.-hist. Klasse, XVIII, Berlin, 1934, стр. 365.

[2] См. «Slavonic and East European review», vol. XXVI, 1947—1948, стр. 606.

[3] См. ZfromPh, Bd. 73, Hf. 3—4, 1957, стр. 309.

[4] См. D. P. Bogdan, Textele slavo-romîne în lumina cercetărilor ruseşti III, «Analele Romîno-Sovietice» (Istorie), № 3—4, 1957, стр. 74.

Автор пользуется материалами академического сборника «Грамоты, относящиеся к истории Румынии»[5], но то обстоятельство, что топонимы из указанного сборника цитируются в славянской форме, заставляет его предполагать, что «Грамоты, относящиеся к истории Румынии» содержат славянские тексты (см.: стр. 41, примеч. 2 и 6; стр. 42, примеч. 3—6; стр. 43, примеч. 1 и 3 статьи). В действительности же этот сборник состоит лишь из румынских переводов грамот, написанных на славянском языке, а в приложениях даны многочисленные факсимиле — почти все неясные — славянских текстов. В грамоте от 16 сентября 1430 г. находим не дъкова, как это указано (см. стр. 41), а дж(м)кова[6] (м стоит над строчкой). Затем говорится, что форма глъмбок встречается в одной грамоте от 1520 г. (см. стр. 41), но указанная грамота сохранилась только в румынском переводе от XVIII в. Также и для формы джмбовица цитируется один славянский подлинник (см. стр. 42 и примеч. 5), в то время как в действительности указанная грамота сохранилась лишь в румынском пересказе. Форму кж(м)пина нельзя найти на 199 стр. II тома сборника, так как на этой странице имеется лишь ее перевод, в действительности же эту форму можно найти на 473 стр. того же тома. Написание лȣнчанїи (1407 г.) фактически представляет собой лȣнчани = *Lungeani*. Здесь для звука *ge*, *gi* употреблялся графический знак ч (вместо ч), созданный лишь в середине XV в.; в том же значении ч = ч встречается и в следующих примерах (вторая половина XV в. и XVI в.): ченȣне, мȣрчещи, фъчецелȣ (т. е. ченȣне, мȣрчещи, фъчецелȣ)[7].

Общеслав. * ǫ дало в топонимах, кроме групп, указанных автором, и группу на *an* (ср. андолие < ждолиѥ в славяно-валашской грамоте от 18 июля 1505 г.)[8]. Для группы на *îm* < * ǫ можно было бы еще указать форму голымбоанїе, встречающуюся в молдавской грамоте от 27 июля 1448 г.[9].

Из изложенного на 37 стр. вытекает, что автор отождествляет старославянский и древнеболгарский языки. Однако следует указать, что против такого употребления терминов «старославянский» и «древнеболгарский» еще в 1906 г. выступал В. Н. Щепкин[10]. Об этом же говорили также С. Кульбакин и Л. П. Якубинский, указывая, что старославянский язык вовсе не был языком местного значения: он был литературным языком, общим в свое время для всех славян; древнеболгарский же язык был местным языком (ср. термины «древнерусский», «древнесербский», «древнеболгарский»[11]).

В статье И. Пэтруца «Различные названия славянских городов в румынском языке» (стр. 45—54) исследуется наличие в этом языке и в старых румынских текстах форм, обозначающих четыре больших славянских города: Москву, Киев, Львов и Краков. К сожалению, автор не использовал памятник молдавского монастыря Бистрица, хранящийся в копии со времен Стефана Великого[12]. В указанном памятнике встречаем: с Мо́(с)кви, с Моск(в)ы и прилагательное мо́сков'скыи, а также с кыева (три раза)[13]. Не учитываются некоторые источники и в отношении Львова и Кракова. Так, не указаны грамота Мирчи Старого от 1401—1403 гг., адресованная купцам города Львова, в которой находим форму ѡ(т) леѡ[14], и грамота Влада Дракули от 8 сентября 1439 г., где встречаются: въ львове и ѡ(т) львова. Не упомянуты и молдавские грамоты (на старославянском языке) от 6 октября 1407 г., от 8 октября 1408 г., от 18 марта 1434 г. и на латинском языке грамота от 28 февраля 1444 г., в которых имеются следующие формы: во лвове, мѣстьчѧны илвовского мѣста; до илвова; во лвовѣ; съ львова и прилагательное лвовскыи (лишь в одной грамоте от 8 октября 1408 г.); мѣстичи илвостїи, до лвова; во лвовѣ и ливовчѧне, а также *pallatini Leopoliensis*[15]. Что касается Кракова, то следует указать молдавские грамоты (на славянском языке), датированные 5 января 1393 г., 6 января 1395 г. и 26 ноября 1445 г. и на латинском языке грамоты от 3 февраля 1397 г., от 28 февраля 1448 г., в которых находим: ис ону сторону Кракова; далеи кра-

---

[5] «Documente privind istoria Romîniei», B, XIII—XV (1953); XVI (I, II—1951), București.

[6] См. подлинник этой грамоты в Бухарестском гос. архиве (отд. Историч. наук, I, 30).

[7] См. D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romînă, сб. «Documente privind istoria Rominîei», II, Introducere, стр. 73 и примеч. 4,5, 8; его же, Din paleografia slavo-romînă, тот же сб., I, стр. 107.

[8] См. D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romînă, стр. 70 и примеч. 15. Ср. и существующие *Andolina*, *Piscul Andoliei*, тавтологическое *Valea Andoliei* (см. I. Iordan, Nume de locuri romînești în Republica Populară Romînă, I, București, 1952, стр. 29).

[9] См. D. P. Bogdan, Diplomatica slavo-romînă, стр. 70, примеч. 17.

[10] В. Н. Щепкин, Болонская псалтырь, СПб., 1906, стр. IV.

[11] См.: St. Kul'bakin, Le vieux slave, Paris, 1929, стр. 9; Л. П. Якубинский, История древнерусского языка, М., 1953, стр. 83—84.

[12] См. D. P. Bogdan, Pomelnicul mănăstirii Bistrița, București, 1941, стр. 23—24.

[13] См. D. P. Bogdan, указ. соч., стр. 51, 74 и снимок VI и его же, Pomelnicul de la Bistrița si rudeniile de la Kiev și de la Moskova ale lui Stefan cel Mare, București, 1940, стр. 2 и 3, а также снимки II и III.

[14] См. E. Kalužniacki, Dokumenta moldawskie i multanskie z archivum miasta Lwowa, «Akta grodzkie i ziemskie», t. VII (odbitka), Lwów, 1878, литогр. факсимиле между стр. 8—9 и 28—29.

[15] См. тексты грамот у М. Костэкеску (M. Costăchescu, Documentele moldovenești înainte de Stefan cel Mare, II, Jași 1932, стр. 629, 630—633. 667—669 и 721).

ковъ, прилагат. краковскы, а также: *capitaneum cracoviensem* и *capitanei cracoviensis*[16]. Нам представляется, что было бы полезным указать относительно Москвы не только форму, установленную А. И. Соболевским, но и ту, которая встречается в Лаврентьевской летописи, на что указывает в своей весьма ценной «Исторической грамматике русского языка» П. С. Кузнецов. Не говорится о том, когда появилась форма *Leopol(e)* (см. стр. 53). Несмотря на высказанные замечания, статья И. Пэтруца является ценным вкладом в изучение указанных топонимов,

А. Стан в статье «К исследованию мужских имен в Долине Себеш (Альба)» (стр. 55—64) рассматривает собственные личные имена в семи населенных пунктах указанной местности (Valea Sebeşului) в Трансильвании. Изучение основывается на книгах актов гражданского состояния исследуемых населенных мест, из которых самые старые акты относятся к 1816 г., а самые новые — к 1868 г.

М. Сала выступает с работой «О соотносительном развитии имен нарицательных и топонимов» (стр. 65—96); в ней исследуются фонетические, лексические и морфологические соответствия между нарицательными именами и топонимами. Исследование это основывается на мысли А. Доза о том, что фонетический облик топонимов изменяется по мере того, как изменяется и дифференцируется произношение от одного района к другому. Автор делает вывод, что топонимика дает возможность проследить исчезнувшие из языка формы; это весьма важно для выяснения автохтонного или заимствованного характера тех или иных слов современного языка.

В статье М. Александреску-Дерска «Происхождение имени Добруджа» (стр. 97—114) содержится гипотеза о происхождении названия провинции Добруджа (автор не признает славянского происхождения этого топонима). М. Александреску-Дерска исходит из предположения, высказанного русским ученым Ф. Бруном, о том, что деспот Добротич в XIV в., возможно, стал именоваться по имени управляемой им страны (Добруджи), вместо того чтобы дать ей свое имя. Базируясь на карте мира, вычерченной в 1154 г. известным арабским географом Идриси для Рожера — короля Сицилии (Добруджа на этой карте названа *ard. bruğan*), автор говорит об арабском происхождении названия *Добруджи*: араб. *ard* «земля, страна» и *burğan* в результате метатезы — *bruğan* < *burğ* или *burdj* «укрепленное место», «вал» или *burğan* «вор». Властители *Burğan'a* могли титуловаться *Dhu Bruğan* или *Dhu Borğan*, откуда во время турецкого господства над Добруджей образовался термин *dubruğan* «житель Добруджи», а отсюда получилась позднейшая форма *Dubruğa*. К библиографии, приводимой автором (впрочем, достаточно полной), можно добавить следующие труды: А. Иширков, Името Добруджа, «Отечество», IV, кн. 1, 1917; Д. Крьнджалов, Влашкият княз Мирча и Добруджа според неговите грамоти, «Годишник на Софийския ун-т». Ист.-филол. фак-т, т. 42, кн. 2, 1945—1946; П. Мутафчиев, Добруджа в миналото, сб. «Добруджа», IV, 1947, стр. 13—91; его же, Добротич-Добротица и Добруджа, тот же сборник, стр. 247—263; его же, Още за Добротица, тот же сборник, стр. 264—274. К статье Мутафчиева (цитированной автором на стр. 97) нужно добавить основательную рецензию Ст. Романского в журнале «Македонски преглед» (III, 1927, кн. 4, стр. 111—114). Также пропущено название труда Ф. Бруна, который высказал указанную выше гипотезу (см. его работу «Некоторые исторические соображения по поводу названия Добруджи», ЖМНП, 1877, сентябрь, стр. 62—77).

Работа М. Александреску-Дерска является ценным вкладом в исследование названия Добруджа, обсуждаемого как румынскими, так и иностранными учеными.

В статье Н. А. Константинеску «Соотношение между топонимами и антропонимами в румынской ономастике» (стр. 115—123) исследуется соотношение между названиями местностей и именами собственными в румынской топонимике. В статье указывается, что многие имена собственные, ставшие топонимическими, не могут быть исследованы, так как не собраны топонимы местного значения. Нам представляется, что *Hîrşova* происходит не от женского имени (см. стр. 116), а от славянского имени собственного хръсъ > хорсъ, означающего имя бога Солнца, которое мы встречаем и в «Слове о полку Игореве». Впрочем этимология названия *Hîrşova* обсуждалась В. Богрей, П. Скоком, Э. Петровичем, Й. Йорданом[17], так что по крайней мере следовало сделать указание на их работы. *Pan*, от которого происходит *Păneşti*, не является аббревиатурой от *Panteleimon'a* (см. стр. 118), а имеет в своем основании западнославянское существительное панъ. Что касается происхождения топонима *Huşi*, то Й. Йордан весьма ясно доказал, что мы имеем дело с множественным числом *Huşi* от имени собственного *Hus(ul)* < укр. *гусь*, которое сначала было прозвищем, а затем обозначением фамилии [о библейском имени *Hus* (ср. стр. 120) не может быть и речи]. Ср. *Dumitru Ginscă* < гжськъ < гжсь в одной из молдавских грамот от 1579 г.[18]. Что касается названия *Adjud* (см. стр. 121), то следовало бы сначала указать его венгерскую форму *Egyed*, от которой происходит латинская форма, как это доказал еще в 1911 г. И. Нистор[19]. Что же касается *Leaotă*, которое автор производит от *Leu*

[16] См. M. Costăchescu, указ. соч., II, стр. 607, 612—613, 616, 721 и 729.

[17] I. Iordan, Nume de locuri romînești..., стр. 130.

[18] См. Costăchescu, указ. соч., II, стр. 86.

[19] См. вышеуказанный труд Й. Йордана (стр. 140).

(см стр. 122), то недавно акад. Э. Петрович доказал, что это название является более новым вариантом от уменьшительного имени *Laiotă*, происшедшим в результате аферезы от первоначальной формы, также уменьшительной, *Vlaiotă* = *Vlai* + суфф. *otă* (при этом форма *Vlaiotă* ведет свое начало от *Vladislav*[20]). Автор еще указывает, что украинское имя *Мотря* происходит от *Матроны* (стр. 123). В действительности же эта форма происходит от украинской формы *Мотроны*. В общем статья интересна, так как содержит в себе много новых данных.

Г. Ивэнеску выступает со статьей «Доиндоевропейское происхождение названий Дуная»; в ней он исследует вопрос, которым занимались очень многие румынские и иностранные ученые: Б. Хаждэу, В. Пырван, А. Филиппиде, Й. Йордан, А. Росетти, П. П. Панаитеску, Н. Я. Марр, П. Скок, М. Фасмер, К. Тальявини, М. Фёрстер, П. Кречмер. Автор считает неправильной этимологию, предложенную Д. Пушкилой и В. Папахаджи, усматривающих в румынской форме *Dunăre* сложное слово от *Duna* (венгерское слово славянского происхождения) и румынское прилагательное *rea* «злая». Большинство исследователей считают, что румынское название *Dunăre* фракийского происхождения, а славянское *Дунав* и *Дунай* — готского. Исходя из сказанного Н. Я. Марром в его работе «Лингвистически намечаемые эпохи развития человечества и их увязка с историей материальной культуры»[21], Г. Ивэнеску утверждает и доказывает, что формы *Дунай* и *Dunăre* грузинского происхождения: груз. *mdinare* дало рум. *Dunăre* или, точнее, фрак. **Donaris*. Подобную же гипотезу высказал итальянский археолог П. Л. Замботти. К обширной библиографии автора следует добавить работу А. И. Соболевского «Русско-скифские этюды»[22] и статью П. Я. Черных «О некоторых старых названиях рек»[23]. Статья Ивэнеску кажется нам особенно интересной. Она, несомненно, вызовет дискуссии в связи с новизной высказанных предположений.

Последней по порядку является работа И. Коне и И. Доната «К изучению печенегско-куманской топонимики на румынской равнине Нижнего Дуная». Предметом исследования являются названия вод, оканчивающиеся на *-ui* или *-lui-*, которые обычно считаются куманского происхождения. Этим вопросом занимались и другие ученые: Г. Вейганд, В. Богря, К. Дикулеску, А. Филиппиде, И. А. Кандря, Н. Дрэгану и Й. Йордан. Авторы устанавливают 53 таких названия, из которых 34 не были до настоящего времени выявлены. Все они куманского и печенегского происхождения. В тех же областях, в которых находим топонимы, оканчивающиеся на *-(l)ui*, встречаются и другие топонимы того же происхождения, но с другими суффиксами, как, например, *Jazurcea*, *Mirza*, *Caraiman* и т. д. Сборник заканчивается указателем топонимических и ономастических названий.

Взятый в целом, рецензируемый сборник (редакционный комитет его состоит из академиков Й. Йордана и Э. Петровича и секретаря М. Сала) является чрезвычайно ценным вкладом румынских ученых в дело изучения топонимики, а частично и ономастики на территории Румынской Народной Республики.

Д. П. Богдан

[20] E. Petrovici, Numele de persoană Laiotă in toponimiă romînească, «Romanoslavică», III, Bucureşti, 1958, стр. 17—20.

[21] «Сообщения ГАИМК», I, Л., 1925, стр. 37—70.

[22] ИОРЯС, т. XXVI—1921, т. XXVII—1922.

[23] «Мовознавство», XIV, 1957.

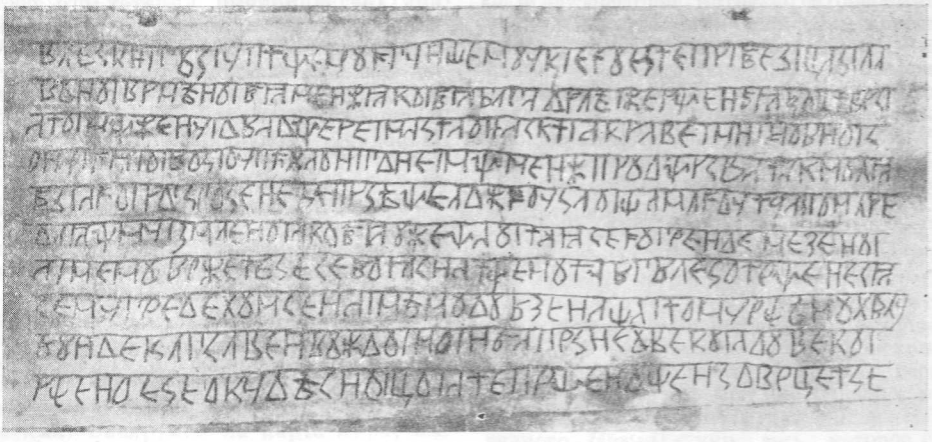
№ 2 1960

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ПОДДЕЛЬНАЯ ДОКИРИЛЛИЧЕСКАЯ РУКОПИСЬ

(К вопросу о методе определения подделок)

От редакции. Как сообщает в своей книге «История „руссов" в неизвращенном виде» (вып. 6, Париж, 1957) Сергей Лесной (С. Парамонов), в 1919 г. А. Изенбек вывез из какого-то имения Орловской или Курской губ. деревянные дощечки с текстом, по всей видимости, славянским, получившие позднее название «Влесовой книги». После смерти А. Изенбека (1941 г.) дощечки были утеряны. Сохранилось лишь несколько фотографий и переписанный, вернее, транслитерированный текст «Влесовой книги», выполненный Ю. П. Миролюбовым. Этот текст в настоящее время издается в журнале «Жар-птица» (Сан-Франциско). В своих статьях «„Влесова книга" — летопись языческих жрецов IX в., новый, неисследованный исторический источник» и «Были ли древние „руссы" идолопоклонниками и приносили ли они человеческие жертвы», присланных в адрес Славянского комитета СССР из Австралии (г. Канберра), С. Лесной призывает специалистов признать важность изучения «дощечек Изенбека», в которых он видит подлинную древнерусскую рукопись IX в., не предлагая, впрочем, необходимого для обоснования подобного мнения палеографического и лингвистического анализа текста. Публикуем в разделе «Письма в редакцию» ответ Л. П. Жуковской на просьбу редакции высказать свое мнение относительно опубликованной С. Лесным («История „руссов"...», вып. 6) фотографии одной из «дощечек Изенбека», содержащей начало «Влесовой книги».



Фотография, опубликованная С. Лесным, не является снимком с доски. В ней на расстоянии 2—2,5 см, 6,5 см, 10,5—11 см, 15,5 см от левого края прослеживаются тени, образовавшиеся, по-видимому, от сгибов материала, с которого производилось фотографирование. С доской этого произойти не могло. В правой половине снимка начертания многих букв расплылись, следовательно, фотографировался не твердый материал с начертаниями, выполненными посредством прорезывания и выщербления его, а письмо, расположенное в одной плоскости, нанесенное красящим веществом. Все это говорит о том, что фотографировалась не сама «дощечка», а бумажная копия с нее или прорись. Есть основания полагать, что при изготовлении снимка была произведена ретушовка. Все это совершенно недопустимо при научном воспроизведении текста.

Графика. Текст, изображенный на фотографии, написан алфавитом, близким к кириллице: помимо букв кириллицы, совпадающих с буквами греческого устава IX в., в графике «дощечки» имеются свойственные кириллице буквы ѣ, ж, ꙁ, ш, ѱ, ѣ, ѭ. В отличие от кириллицы в графике «дощечки» отсутствуют буквы, обозначавшие носовые гласные — ѧ, ѩ, ѫ, ѭ, буквы ѥ, ѳ, ѳ, ѕ, ѡ, ѱ, ѯ, ѵ, а также имеются следующие особенности: буква ѵ отсут-

ствует, ее заменяет буква ѱ, вследствие этого буква ѱ в «дощечке» соответствует двум кириллическим буквам — ѱ и ѵ; отсутствует буква ѯ, ее, видимо, заменяет сочетание і десятеричного с буквой ѵ; отсутствует кириллическое н, звук *н* передается буквой и, т. е. начертанием с горизонтальной, а не косой перекладиной; при этом звук *и* передается буквой і; отсутствуют буквы ъ, ь, ы; из них букве ъ самой по себе и букве ъ, являющейся составной частью кириллической буквы ы, в рассматриваемом тексте соответствует буква ѳ с небольшой развилкой вверху, вследствие чего она несколько напоминает кириллическую лигатуру ѕ; звук *у* при этом передается чаще буквой ѵ, реже — двубуквенным написанием оѵ; возможно, что некоторые буквы в виде ѕ (т. е. ѳ с развилкой) обозначают также *у*; в тексте представлены два графических варианта для передачи звука *с* и два — для звука *е* (оба последние после согласных, а не *j*).

В графике «дощечки» имеются знаки, которые отсутствуют в кириллице; из них лишь некоторые могут быть возведены к греческим начертаниям. Так, одно из указанных начертаний буквы с не встречается в кириллических почерках и напоминает ϛ или ζ некоторых типов древней греческой письменности. В тексте имеется греческая «дигамма», восходящая к минойской «геме» и встречающаяся также в курсивном маюскуле и римском унциале. Эта буква обозначает, по-видимому, какой-то или какие-то губные звуки, но не *п* и не *м*, так как для обозначения последних употреблены соответственно буквы п и м. На фотографии указанная буква находится в строке I — № 19, 31, в строке IV — № 5, V — № 5, 29, 40, 51, VI — № 32. Начертания указанных знаков не вполне идентичны, поэтому нет полной уверенности, что во всех этих случаях написана одна и та же буква. Видимо, для буквы к имеется графический вариант, представляющий как бы соединение буквы г нормального размера с наложенной на нее в нижней части небольшой буквой в; при этом совмещены мачты обеих букв. Этот знак имеется в строке I — № 40, II — № 13, 23, VI — № 18, VII — № 17. Буква а пишется, как в латинском курсивном маюскуле, и напоминает начертание современной греческой λ; буква ѣ сохраняет эту особенность начертания. Своеобразна буква т: ее перекладина чаще перечеркивает мачту, а не размещается поверх нее. Имеются знаки, не поддающиеся интерпретации: таковы, например, № 10 в строке V и № 8 в строке IX, которые представляют вертикальную черточку, не доходящую до нижнего уровня букв текста, а также совершенно своеобразный знак № 42 в строке II. Таким образом, графика «дощечки», имея некоторые особенности кириллицы, не столь совершенна при передаче звуков славянской речи и в ряде черт приближается к другим древним алфавитам.

Палеография. Как известно, метод палеографического анализа состоит в сопоставлении неизвестного материала с известным, территориально приуроченным и датированным. Поэтому при палеографическом анализе рассматриваемого памятника, который объявляется древнейшим, исследователь не может опираться на твердые данные палеографии, и приметы ранней кириллицы могут представлять лишь косвенное доказательство. Специфичными в этом плане являются буквы ρ, χ, ѣ, расположенные в строке и не выходящие в межстрочные поля. Однако буквы ѣ и ρ при этом иногда значительно наклонены вправо, выполнены небрежно, как это свойственно новейшим почеркам, имитирующим печатные буквы. Буква ѱ в некоторых случаях также размещена в строке, что присуще наиболее древним почеркам кириллицы. Древними являются симметричное ж и буква м с овалом, провисающим до середины высоты буквы, что сближает ее с соответствующей буквой в Надписи царя Самуила 993 г. За древность говорит так называемое «подвешенное» письмо, при котором буквы как бы подвешиваются к линии строки, а не размещаются на ней. Для кириллицы эта черта неспецифична, она ведет скорее к восточным (индийским) образцам. В тексте сравнительно хорошо выдержана сигнальная линия, проходящая у всех знаков по середине их высоты, что является свидетельством в пользу наибольшей возможной древности кириллического памятника.

Следует особо отметить, что начертания буквы д, представленные на фотографии, соответствуют греческим уставным, а не кириллическим образцам, хотя и те и другие близки между собой. Буква ѱ также больше напоминает некоторые древние начертания ψ, чем ѱ кириллицы. Своеобразно начертание ш с сильно заниженными и разведенными от центра крайними мачтами, что также позволяет сближать его с греческим ψ, а не только с кириллическим ш.

Таким образом, данные палеографии хотя и вызывают сомнение в подлинности рассматриваемого памятника, в то же время и не свидетельствуют прямо о подделке. Но при этом необходимо учитывать, что без сопоставимого материала палеография бессильна. Да и сама фотография сомнительна, так как является снимком не с оригинала (хотя бы и поддельного), а с прориси или с копии, в результате чего начертания огрублялись и изменялись в лучшем случае дважды (при изготовлении прориси или бумажной копии и при фотографировании, в процессе которого была допущена ретушовка). Поэтому окончательные данные могут быть получены только в результате лингвистического анализа, для которого исследователь имеет твердые факты.

Орфография и язык. Анализ графики и палеографии показал, что если «дощечка» подлинна, то ее следует датировать периодом до того времени, когда основным алфавитом у славян стала кириллица, т. е. периодом до X в. В этот период предкам всех славянских языков (вопроса о конечной стадии общеславянского языка мы намеренно здесь не касаемся) были свойственны открытые слоги, носовые гласные, особые фонемы ѣ, ъ, ь и другие черты фонетики и морфологии, позднее исчезнув-

шие или изменившиеся в отдельных славянских языках. Орфография «дощечки» не позволяет выявить судьбу этимологических редуцированных, так как для нее характерен пропуск букв, обозначавших гласные звуки вообще, а не только редуцированные в том или ином положении (это позволяет сблизить письмо «дощечки» с семитскими системами письма). Лишь написания вȣждȣі — IX строка и дȣ — IX строка с буквой ȣ (т. е. ъ) на месте этимологического *о*, если они интерпретированы нами правильно, указывают на близость звуков ъ и *о*, что для IX—X вв. нереально.

Примерами, характеризующими носовые, по-видимому, могут быть следующие: менж — II, IV строки, грендеме или гренде — VI при гредехȣм — VIII в том же корне, слвен — IX, пршен, дщен — X (если здесь действительное причастие глаголов IV класса), женꙋ — III, млвоꙋ или млвоꙋ — V (понимание слова зависит от того, как читать дигамму), се — VII, VIII, моля — IV, наша — VIII строка (если это вин. падеж мн. числа). Вряд ли этот материал показывает, что писавший текст не умел обозначать носовые. Скорее можно полагать, что он вообще не имел их в своей речи. Ни один из славянских языков в указанное время не мог иметь подобный комплекс черт, характеризующих этимологические носовые. Картина здесь представлена следующая: 1) уже начался процесс деназализации, в ходе которого *ǫ* совпадало с *у*, а *ę* — с *е* (т. е. как позднéе в сербском); 2) в положениях, где носовые сохранялись, они акустически и артикуляционно близки; ср. менж и гренде (т. е. как позднéе в польском); 3) процесс деназализации начался с отдельных слов, корней и форм, причем в других корнях и глагольных формах носовые гласные задерживались.

Буква ѣ в соответствии с этимологией написана в словах: прсѣще — V, імѣмȣ — VIII, нȣінѣ — IX и, возможно, оупѣха — IV строка; буква ѣ вместо е написана: вȣ нȣі врмѣнȣі — II, бꙗ блгадрлѣ — II, рщѣмȣ — VIII, о кꙋдѣснȣіцȣі — X строка; буква е вместо ѣ написана в следующих случаях: імемȣ — VII, векȣі а дȣ векȣі — IX, млбе (или млбе) — V, прсне — IX, врцет се — X строка; буква ꙗ вместо ѣ пишется в слове бꙗ — 4 раза и, возможно, в других случаях, более сомнительных. Написание ꙗ вместо ѣ еще можно было бы объяснить для более позднего периода, если видеть в авторе восточного болгарина; но написание е на месте этимологического *ě* для этого периода объяснено быть не может. Совмещение в одном памятнике, причем памятнике оригинальном, указаний на закрытое и одновременно на открытое произношение звука, восходящего к *ě*, а также этимологически правильных написаний свидетельствует против его достоверности.

Известному факту мягкости шипящих и *ц* в указанный период противоречат написания кꙋдѣснȣіцȣі — X с окончанием ȣі вместо и в им. падеже мн. числа, вȣждȣі — IX с окончанием ȣі вместо буквы, обозначавшей *ę* в вин. падеже мн. числа (если здесь не форма им. падежа ед. числа, так как можно читать слвен вȣждȣі «славящий вождей» и слвен вȣждȣ «славен вождь»). Как бы ни интерпретировать приведенные примеры, очевидно, что употребление после мягкого звука *жд'*, или *ж'д'ж'*, образовавшегося из сочетания **dj*, и после мягкого *ц'* букв, обозначавших *ы* и *ъ*, в то время как здесь были совсем иные фонемы *и* и *ь*, является доказательством подложности текста.

Обращают на себя внимание совершенно невозможные формы: два дщере — III строка вместо двѣ в им.-вин. падеже дв. числа; употребление 2-го лица ед. числа сигматического аориста имаста она — III, где в повествовании о третьих лицах должна быть употреблена форма 3-го лица; неправильные формы вин. падежа, следующие за указанной формой глагола: скті а краве і мнга овноі — III вместо ожидаемых: сктȣі а кравȣі і мнгȣі овнȣі, а также моля бзі вместо моля бгȣі — IV/V строки; не может быть отнесена к IX—X вв. форма действительного причастия імщ — III в им. падеже ед. числа муж. рода вместо імȣ или імȣі. Мы не рассматриваем другие сомнительные факты морфологии, поскольку нет полной уверенности в правильном прочтении текста, многие места которого совершенно непонятны и не могут быть интерпретированы даже с натяжками, как это, возможно, было допущено выше.

Таким образом, данные языка не позволяют признать текст «дощечки», изображенной на фотографии, древним, а самый памятник — предшественником всех известных славянских древних рукописей. Не является «дощечка» также и более поздним памятником, написанным после распространения кириллицы у славян. Рассмотренный материал не является подлинным.

Содержание «дощечек», язык и письмо их, а также имя Влес (Велес) позволяют предположить, что указанные «дощечки» являются одной из подделок А. И. Сулукадзева [1], возможно, именно теми буковыми дощечками, которые уже более ста лет назад исчезли из поля зрения исследователей. В рукописи А. И. Сулукадзева «Книгорек» (т. е. каталог) имеется следующее указание на дощечки, находившиеся в его собрании: «Патриарси на 45 буковых досках Ягипа Гана смерда в Ладоге IX в.» [2]. И. И. Срезневский писал: «Салакадзев, упоминаемый в письме Востокова к графу Румянцову, издавна собирал рукописи, которые еще и недавно были в распродаже у ветошников, и, как оказалось, многое подделывал и в них, и отдельно. В подделках он употреблял неправильный язык по незнанию правильного, иногда очень дикий» [3].

Л. П. Жуковская

---

[1] См. М. Н. Сперанский, Русские подделки рукописей в начале XIX века. (Бардин и Сулукадзев), «Проблемы источниковедения», V, М., 1956.

[2] Указ. соч., стр. 101.

[3] «Переписка А. Х. Востокова в повременном порядке с объяснит. примеч. И. Срезневского», сб. ОРЯС, т. V, вып. 2, 1873, стр. 412.

№ 2 1960

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

С 1 по 8 сентября 1959 г. в г. Улан-Баторе состоялся Первый международный конгресс монголоведов-филологов, организованный по инициативе Комитета наук и высшего образования Монгольской Народной Республики. На этом конгрессе впервые встретились монголоведы-филологи почти всех тех стран, где ведется систематическое изучение монгольской филологии.

Конгресс открылся 1 сентября 1959 г. вступительной речью председателя Комитета наук и высшего образования МНР проф. Цэвэгмида, в которой подчеркивалось, что монгольский народ и его правительство придают огромное значение настоящему конгрессу, а также вкратце были отмечены достижения в деле развития монгольской национальной культуры и науки, особенно в области монгольской филологии.

Всего на конгрессе было прочитано 33 доклада на общефилологические, лингвистические и литературоведческие темы[1]. Из общефилологического цикла наиболее интересными были доклад зав. кафедрой монгольского языка Монгольского гос. ун-та Пагвы «Монгольские сочинения в тибетской транскрипции» и доклад преподавателя того же университета Гомбожава «Монгольские сочинения на тибетском языке» (в прениях по этим докладам к сопоставлению привлекалась азербайджанская литература на персидском языке и приводились интересные факты наличия тибетских сочинений на монгольском языке). Эти доклады показали, что монгольская филология находится на пороге больших научных открытий, поскольку монгольские сочинения в тибетской транскрипции (собственно говоря, речь идет об использовании тибетского алфавита в применении к монгольскому языку) имеют исключительно важное значение для исследования истории монгольского языка. Учитывая значение этих научных открытий, сделанных молодыми учеными МНР, конгресс начал свою работу с обсуждения именно доклада Пагвы. К этому же общефилологическому циклу относятся также доклады проф. П. Рачневского (ГДР) «Датировка написания монгольской исторической хроники XIII в. „Чаган теӳке“», монгольского ученого Цэвэла «Эпистолярный стиль в старых монгольских канцеляриях» и К. Сакамото (Япония) «Монголоведение в Японии» (о монголоведении в других странах участники конгресса могли узнать лишь в ходе частных собеседований).

Тематика большей части докладов (20 из 33) была лингвистическая, причем значительное внимание было уделено вопросам диалектологии. Интересное сообщение о достижениях в области развития монгольского языка и монгольского языкознания во Внутренней Монголии (КНР) сделал китайский ученый проф. Вэнь Дуцзянь. Зав. кафедрой монгольского языка Внутренне-Монгольского ун-та (г. Хухэхото) Чингэлтэй (КНР) прочитал доклад о фонетических и морфологических особенностях бааринского говора восточномонгольского диалекта (в соответствии с классификацией монгольских диалектов, предложенной докладчиком). Все участники конгресса получили обстоятельную монографию об этом говоре, изданную на монгольском и китайском языках в Пекине и содержащую описание фонетики и морфологии бааринского говора (стр. 3—13, 14—49), текстов образцов местного фольклора (стр. 54—65) и словарь (стр. 66—96), причем тексты и словарь даны в фонетической транскрипции на латинской основе, а также в «переводе» на старописьменный монгольский язык[2]. Эта монография представляет собой научный диалектологический труд, впервые появившийся на монгольском языке и отвечающий всем требованиям современной монголистики[3]. При обсуж-

[1] В соответствии с характером нашего журнала в этом обзоре сообщается лишь о докладах на общефилологические и лингвистические темы.

[2] Чингэлтэй, Монгол келен-ӳ багарин-у аман ajалгун-у абий-а-йин джӳй ба ӳгес-ӳн джӳй (Фонетические и морфологические особенности бааринского говора монгольского языка), Кӧкехота, 1959.

[3] До сих пор по внутреннемонгольской диалектологии мы имели только известный труд А. Мостарта о фонетических особенностях ордосского диалекта [A. Mostaert, Le dialecte des Mongols Urdus (Sud.). Étude phonétique, «Anthropos», Bd. XXI, Hf. 5, 6, 1926; Bd. XXII, Hf. 1, 2, 1927, стр. 160—186]. Известный труд А. Д. Руднева «Материалы по говорам Восточной Монголии» (СПб., 1911) в настоящее время совершенно уста-

дении данного доклада было сообщено, что под руководством Чингэлтэя в Институте языка и литературы Внутренне-Монгольского филиала АН КНР подготовлен к печати трехтомный труд по монгольским диалектам Китая, где содержатся тексты, словари и исследования диалектных материалов в сравнении с данными старописьменного монгольского языка, как это принято в монголистике.

Ц. Б. Цыдендамбаев (СССР) доложил конгрессу об итогах и задачах дальнейшего изучения бурятских диалектов. Чехословацкий монголовед П. Поуха сообщил о языке афганских монголов (моголов). П. Аальто (Финляндия) рассказал о результатах своего исследования доселе не привлекавшего к себе внимания ученых калмыцкого «женского языка», т. е. специальной эвфемистической лексики, которая некогда применялась калмыцкими женщинами (например, *айта* «подходящий, хороший» в значении «сын, мальчик» вместо *көвүн*; *бөлтрг* «волчонок» в значении «волк» вместо *чон* и т. п.).

Доклад проф. Лувсанвандана (Монгольский гос. ун-т) «Монгольский язык и его диалекты» был посвящен критическому рассмотрению различных классификаций монгольских языков и диалектов. Как известно, монголоведы старшего поколения (А. Д. Руднев, Б. Я. Владимирцов и др.) в свое время признавали лишь один монгольский язык, считая все остальные языки этой группы местными и племенными диалектами монгольского языка. В настоящее же время путем изучения обширного фактического материала, полученного в результате экспедиционных и стационарных диалектологических исследований монголоведов МНР, КНР и СССР, установлено, что монгольская группа состоит из ряда самостоятельных языков: монгольского, бурятского, ойратского, или калмыцкого, дагурского, монгорского, могольского, или афганско-монгольского, дун-сяньского и бао-аньского [4]. Не упомянув о пяти последних монгольских языках, Лувсанвандан в своем докладе сделал попытку доказать, что бурятские и ойратские диалекты якобы являются местными ответвлениями монгольского языка. В заключение докладчик изложил свою схему диалектов мыслимого им единого монгольского языка в следующем виде: 1) центральный диалект: халхаский, чахарский и ордосский говоры; 2) восточный диалект: хорчинский и харачинский говоры; 3) западный диалект: говоры синьцзянских ойратов и волжских ойратов (т. е. основного населения Калмыцкой АССР); 4) северный диалект: говоры забайкальских и добайкальских бурят.

Так как доклад Лувсанвандана в обо-

снование изложенной схемы не содержал необходимой лингвистической аргументации, то данный вопрос на конгрессе широкому обсуждению не подвергся; лишь в докладах Г. Д. Санжеева и Ц. Б. Цыдендамбаева было отмечено, что бурятский и ойратский, или калмыцкий, языки являются самостоятельными национальными языками бурятского и ойратского народов. Оставляя в стороне вопрос о бурятском и ойратском языках, который для большинства монголоведов не является дискуссионным, отметим здесь, что включение ордосского и чахарского говоров вместе с халхасским в один «центральный диалект» не правомерно. Дело прежде всего в том, что халхаский «говор» относится к свистяще-шипящей группе монгольских диалектов (*дэам* «дорога», *джолоо* «поводья», *цас* «снег», *чоно* «волк»), тогда как первые — к шипящей (*джам*, *джолоо*, *час*, *чоно*), не говоря уже о существенных грамматических и лексических различиях между этими двумя группами монгольских диалектов.

Значительная часть лингвистических докладов освещала различные стороны вопроса об исторических связях монгольского с другими языками. Преподаватель Монгольского гос. ун-та Мишиг сделал интересное сообщение о результатах изучения хамниганского диалекта, носители которого (эвенки) проживают в некоторых восточных районах МНР и говорят одновременно как на эвенкийском, так и на монгольском языках. Докладчик вкратце рассказал об особенностях двуязычия этой группы эвенкийского населения и лингвистических явлениях, обусловленных этим двуязычием [5]. Хон Гимун (КНДР) рассказал об исторических связях корейского языка с монгольским, начало которых относится к XIII в. Речь, собственно, шла о проникновении монгольских слов в корейский язык, причем было отмечено, что эти слова сохранили ныне в корейском фонетические черты, свойственные монгольскому языку так называемого среднего периода. Польский монголовед С. Калужиньский сделал доклад «Монгольские заимствования в якутском языке». Специфические черты этих заимствований позволяют установить, что интенсивные языковые связи якутов с различными монгольскими племенами имели место в течение весьма продолжительного времени, преимущественно в средний период развития монгольских языков (примерно XIV—XVII вв.). Американский алтаист У. Поп в своем докладе «Корневые слова алтайских языков», рассматривая имена числительные, а также анатомические, ботанические, зоологи-

---

рел. Появившиеся в Японии небольшие заметки по внутреннемонгольской диалектологии, к сожалению, являются для нас недоступными.

[4] Здесь мы опускаем без упоминания некоторые частности в классификационных схемах монголоведов как современных, так и старшего поколения.

[5] О языке монгольских эвенков в литературе имеется лишь работа венгерской монголистки К. Кёгальми (K. U. Köhalmi, Der mongolisch-kamniganische Dialekt von Dadal Sum und die Frage der Mongolisierung der Tungusen in der Nordmongolei und Transbajkalien, «Acta orientalia», t. IX, fasc. 2, 1959.

ческие, хозяйственные, бытовые и другие термины, являющиеся общими для большинства алтайских языков, пытался обосновать гипотезу о родстве этих языков с точки зрения лексикологической, подчеркнув при этом, что общий корневой лексический состав в индоевропейских языках количественно оказывается менее значительным, чем в алтайских языках. Ю. Н. Рерих (СССР) сделал сообщение о монгольских заимствованиях в тибетском языке, а проф. Дамдинсурен (Монгольский гос. ун-т) — о тибетских заимствованиях в монгольском языке. Таким образом, эти два доклада, взаимно дополняя друг друга, положили начало восполнению существенного пробела в изучении исторической лексикологии монгольских языков: до сих пор подвергались специальному исследованию лексические связи этих языков лишь с китайским, арабским, маньчжурским, тюркскими и индоевропейскими (прежде всего санскритским и иранскими).

Цикл лексикологических и лексикографических докладов на конгрессе был начат кратким, но весьма содержательным сообщением К. Кёгальми (Венгрия) «Две системы обозначения возраста животных у монголов». Докладчик установила в монгольском языке две системы обозначения возраста животных: 1) с использованием соответствующих корней числительных (*гу-*: *гунан* «трехлеток» и *гунжин* «трехлетка»; *дө-*: *дөнөн* «четырехлеток» и *дөнжин* «четырехлетка») и 2) с использованием названий различных зубов (*шүд-* «зубы», *шүдлэн* «двухгодовалый»; *хязаалан* «четырехгодовалый» образовано от корня, наличного в слове *хязгаар* «край, граница, предел», т. е. здесь имеется в виду время появления крайнего зуба; *соёо-* «клык», *соёолон* «пятигодовалый»). Кёгальми привлекла к сопоставлению материалы венгерского, тибетского, тюркских и тунгусо-маньчжурских языков, причем использование в этих целях названий зубов было отмечено в якутском, эвенкийском и эвенском языках. Преподаватель тибетского языка Монгольского гос. ун-та Доржж рассказал о различных тибетско-монгольских словарях. Научный сотрудник Института языка и литературы Комитета наук и высшего образования МНР Вандуй сделал доклад о состоянии современной монгольской терминологии и источниках и способах ее обогащения. Зав. сектором лексикологии того же института Лувсандэндэв доложил об изучении так называемого «Гучин джиргугату тайилбури толи» («Толковый словарь на тридцать шесть тем»), представляющего собою монгольскую часть известного пятиязычного (маньчжурско-тибетско-монгольско-уйгурско-китайского) тематического словаря («Табун джүйил-ўн үсүг-ийер хабсуругсан манджу ўген-ў толи бичиг»), начало составления которого относится к 1673 г. Изучение монгольской толковой части этого словаря имеет исключительное значение для монгольской лексикологии и истории монгольской лексики периода XVII—XX вв. Вопросов лексикологии касался также научный сотрудник того же института Банзарагч в своем обстоятельном докладе «Переводы философской и общественно-политической литературы на монгольский язык».

Цикл докладов на грамматические темы был представлен на конгрессе только сообщением Г. Д. Санжеева (СССР) «Система монгольского глагола» (преимущественно о принципах разграничения словообразования и формообразования на примере образования и изменения глаголов) [6], докладом Г. Абэмацу (Япония) «Послелоги прошедшего времени монгольского глагола», где докладчик пытался выявить различия в употреблении трех изъявительных форм прошедшего времени, и докладом С. Одзава (Япония) «Глагольные окончания в „Сокровенном сказании“» [7].

Созыву Первого международного конгресса монголоведов-филологов предшествовала большая подготовительная работа Комитета наук и высшего образования и других учреждений МНР, выразившаяся, в частности, в издании ряда научных монографий по проблемам монгольской филологии и публикации исключительно ценных памятников монгольской письменности [8]; были изданы также все доклады, подготовленные учеными МНР к конгрессу.

Первый международный конгресс монголоведов-филологов показал значительный рост научных кадров Монголии и углубление исследовательских работ почти во всех отраслях монгольской филологии; доклады и выступления монгольских участников конгресса свидетельствовали, что научная мысль направлена на разрешение узловых, важнейших проблем монгольского языкознания, на тщательное изучение культурного наследия монгольского народа. Поэтому все участники I конгресса дружными аплодисментами приветствовали следующие слова председателя Комитета наук и высшего образования МНР Цэвэгмида, сказанные им в заключительной речи: «Прежде монгольские народы были лишь объектом изучения со стороны зарубежных ученых. В настоящее же время они сами стали исследователями своей культуры, своей литературы, своего языка».

Г. Д. Санжеев
(Москва)

---

[6] Об этом см. Г. Д. Санжеев, Современный монгольский язык, М., 1959, стр. 66—67.

[7] См. об этом более подробно в его статье «Глагольные окончания монгольского языка в „Сокровенном сказании“» («Гэнтэ: хисси мо:кого-но до:си гоби») в «Сборнике статей Токийского института иностранных языков» («То:кё гайкокуго дайгаку ронсю:»), Токио, № 4, 1955 (краткое резюме на англ. яз., стр. 106).

[8] См., например: «Антология монгольской литературы» (XIII — XIX вв.), составленная проф. Дамдинсуреном (Улан-Батор, 1959), «Тибетско-монгольский словарь», сост. Р. Номтоевым (Улан-Батор, 1959), и др.

С 19 по 22 октября 1959 г. в Ашхабаде проходило Всесоюзное координационное совещание по вопросам методов изучения истории тюркских языков, организованное Институтом языкознания АН СССР совместно с Институтом языкознания АН Туркм.ССР. В работе совещания приняли участие более двухсот человек — специалистов-тюркологов из Москвы, Ленинграда и большинства тюркоязычных республик и областей, а также Грузии и Молдавии.

Президент Академии наук Туркм.ССР академик АН Туркм. ССР Ш. Б. Баты р о в в своем вступительном слове указал на актуальность широкого обсуждения вопросов о методах изучения истории тюркских языков, так как сравнительно-историческое изучение тюркских языков представляет собой наиболее отсталый участок советской тюркологии. На совещании были заслушаны четыре доклада.

Доктор филол. наук Э. В. Сев о р т я н (Москва) в докладе «Современное состояние и некоторые вопросы исторического изучения тюркских языков в СССР» дал обстоятельный обзор выполненных до сих пор исследований по истории тюркских языков и особо остановился на некоторых приемах историко-лингвистических исследований, применяемых в тюркологии. Э. В. Севортян указал на необходимость всемерного усиления роли сравнительно-исторического метода в тюркологических исследованиях и форсирования историко-фонетических и историко-морфологических разысканий, могущих служить базой для разработки исторической фонетики и исторической морфологии сначала каждого отдельного тюркского языка, затем групп языков и, наконец, сравнительно-исторической фонетики и морфологии тюркских языков в целом.

Член-корр. АН СССР Б. А. С е р е б р е н н и к о в (Москва) в докладе «Методы изучения истории языков, применяемые в индоевропеистике и тюркологии» особо подчеркнул необходимость использования большого опыта в области изучения истории языков, накопленного индоевропейским языкознанием. В частности, Б. А. Серебренников отметил, что созданная языковедами-индоевропеистами определенная методика изучения истории языков может быть с пользой для дела применена также при изучении истории тюркских языков; особенно это относится к технике применения сравнительно-исторического метода, которая у тюркологов гораздо менее совершенна. Б. А. Серебренников проанализировал ряд работ советских тюркологов, в которых обнаруживается нечеткое понимание сущности фонетических законов и их смешение, боязнь реконструкции форм, отождествление сравнительно-исторического изучения языков с простым сопоставлением звуков и форм родственных языков. Одним из наиболее действенных средств, способных улучшить качество работ в области сравнительно-исторического изучения тюркских языков, по мнению Б. А. Серебренникова, является решительное внедрение в практику тюркологических исследований методов сравнительно-исторического изучения языков.

Изучение истории языков невозможно без создания исторической перспективы. Для создания такой перспективы необходимо, по мнению Б. А. Серебренникова, выделить из материала современных языков их наиболее древние особенности, проектировать их в прошлое, а затем уже заниматься уточнением деталей самого процесса исторического развития конкретных языков.

Член-корр. АН Туркм. ССР З. Б. М у х а м е д о в а (Ашхабад) в докладе «Опыт создания очерков по истории туркменского языка VIII—XVIII вв.» рассказала, что в качестве наиболее ранних источников она привлекла орхонские рунические памятники древнетюркской письменности, для более поздней поры — «Диван лугат-ит-тюрк» Махмуда Кашгарского, «Мухаббат-наме» Хорезми, «Ровнак-уль-ислам» Вепайи, «Гёроглы», произведения Махтумкули и некоторые другие. На основе этих памятников З. Б. Мухамедовой удалось наметить общие контуры истории туркменского литературного языка. Предстоит еще дать очерки по исторической фонетике и исторической морфологии туркменского языка.

Профессор Туркменского гос. ун-та М. Н. Х ы д ы р о в в докладе «Вопросы построения курса истории туркменского языка» поделился опытом создания вузовского курса истории туркменского языка. Источниками для построения курса истории языка послужили литературные памятники, материалы поэтического народного творчества, данные диалектов и родственных языков, а также архаичные формы в самом языке. При построении курса следует увязывать историю языка с историей народа. Это помогает, в частности, выяснить, почему огузский в своей основе туркменский язык имеет также кыпчакские черты. Наиболее трудным делом в процессе воссоздания истории языка оказывается реконструкция его древнего фонетического и грамматического строя. Поэтому на первых порах курс истории языка неизбежно отражает по преимуществу его внешнюю историю.

По этим четырем докладам развернулась оживленная дискуссия. Так как тюркологи впервые поставили на обсуждение проблему исторического изучения языков в таком широком масштабе, дискуссия велась сразу по целому ряду вопросов. Все же в центре внимания выступавших был вопрос о характере приемов сравнительно-исторического изучения тюркских языков.

Проф. В. И. Ц и н ц и у с, Т. М. Г а р и п о в и другие поддержали докладчиков и высказались в том смысле, что методы сравнительно-исторического исследования должны быть едины как для индоевропейских, так и для тюркских языков. Сообщив о своем опыте успешного использования сравнительно-исторического метода при исследовании тунгусо-маньчжурских языков, В. И. Цинциус подчеркнула, что

этот метод дает возможность восстановить древнее состояние языка и является единственным методом научного предвидения у языковедов. Но это не значит, что его не нужно совершенствовать. Сравнительно-исторический метод сводится к восстановлению исходной звуковой формы слова — восстановлению архетипов. Раскрывая сущность сравнительно-исторического метода, В. И. Цинциус отметила, что его составные приемы заключаются в выявлении соответствий, чередований звуков, а также в установлении эволюции тех или иных форм. Т. М. Гарипов поставил также вопрос о необходимости применения сравнительно-исторического метода при анализе морфологической структуры тюркских языков.

Конкретные приемы сравнительно-исторического изучения синтаксиса тюркских языков рассматривались в выступлении Н. З. Гаджиевой. В частности, используя метод соответствий, широко применяемый в индоевропеистике, можно выявить общетюркские стандартизованные синтаксические конструкции. Проф. В. В. Решетов, проф. А. М. Демирчизаде, А. С. Джафаров и другие высказались лишь за уточнение методики применения сравнительно-исторического метода на материале тюркских языков, так как эти последние по своему строю существенно отличаются от индоевропейских.

В. В. Решетов особо подчеркнул значение диалектологических данных и, в частности, данных исторической диалектологии для воссоздания истории языка.

А. М. Демирчизаде в своем выступлении сделал попытку наметить круг задач исторического изучения тюркских языков с помощью сравнительно-исторического метода, причем первоочередной задачей он назвал классификацию и периодизацию тюркских языков. Только сравнительно-исторический метод, по его мнению, может установить огузскую и кыпчакскую доли участия в образовании того или иного конкретного тюркского языка.

Проф. Н. А. Баскаков и Х. А. Машаков высказались против использования в тюркологии разработанных индоевропейским языкознанием приемов сравнительно-исторических исследований. Они высказались за разработку особого варианта сравнительно-исторического метода, отвечающего специфическим особенностям тюркских языков, в которых действуют свои внутренние законы развития, связанные с историей племенных союзов. В связи с последним обстоятельством Н. А. Баскаков считает необходимым наряду с исследованием праязыковых форм изучать и исторические общности. Считая неотложной задачей тюркологов создание сравнительно-исторических грамматик, Н. А. Баскаков предлагает при сравнительном анализе языков соблюдать определенную хронологическую последовательность: давать сравнительно-исторический анализ сначала в пределах группы близко родственных языков, затем в пределах группы языков, более далеких в своем родстве, и т. д. Такой метод Н. А. Баскаков предлагает называть «дифференцированным» сравнительно-историческим методом.

Большинство выступавших сошлось на мнении, что сравнительно-исторический метод предполагает установление системы звуковых соответствий (В. М. Наделяев, С. Кудайбергенов, Ш. Сарыбаев, Ш. Шукуров, С. Ахаллы и др.). Ш. Шукуров подробно остановился на фонетических соответствиях *р* ‖ *з*, *н* ‖ *л*, *к* ‖ *й* и других. Вопросу о тюркологических соответствиях *ш* ‖ *с*, *в* ‖ *б*, *ц* ‖ *ш* и других (всего около 15) посвятил свое выступление С. Кудайбергенов. В. М. Наделяев указал на особую необходимость учета фонемного состава конкретных тюркских языков.

Оживленное обсуждение вызвал также вопрос об источниках изучения истории конкретного языка (М. Рагимов, С. Муталлибов, А. С. Джафаров, С. Кудайбергенов, Е. И. Убрятова, Н. А. Баскаков, В. В. Решетов). Е. И. Убрятова рассказала о той большой работе, которая уже проделана в области изучения памятников. К сожалению, эта работа остается неизвестной из-за издательских трудностей.

В некоторых выступлениях ставился вопрос о выделении на основе общепризнанных источников изучения истории языка наиболее древних фонетических и грамматических форм и конструкций, а также их эволюции (Н. З. Гаджиева, М. Рагимов, Ш. Шукуров), вопрос о развитии литературных языков (Э. Н. Наджип и Х. Д. Дерьяев), а также вопрос о построении курса истории литературного языка (А. И. Искаков, Э. Н. Наджип, А. А. Коклянова, Х. А. Машаков).

Е. И. Убрятова и А. И. Искаков подчеркивали необходимость усовершенствования подготовки кадров историков-тюркологов. А. И. Искаков внес ряд предложений научно-организационного характера, которые были поддержаны всеми участниками совещания и позже включены в резолюцию: составление проблематики историко-лингвистических исследований, создание аннотированной библиографии по истории тюркских языков, переиздание ценных памятников древнетюркской письменности и др.

В единогласно принятой резолюции отмечается, что в нашей отечественной тюркологии имеется значительный опыт в проведении исследований в области истории тюркских языков. В исследованиях тюркологами применялся и применяется сравнительно-исторический метод, который является наиболее надежным в практике исследования истории различных языков, в том числе и тюркских. Однако в использовании этого метода на материале тюркских языков имеются существенные недостатки. Совещание высказалось за решительное внедрение в практику тюркологических исследований сравнительно-исторического метода и в

то же время за необходимость учета специфики структуры тюркских языков.

Ф. Д. Ашнин, Н. З. Гаджиева
(Москва)

22—24 октября 1959 г. кафедрой русского языка МГПИ им. В. И. Ленина была проведена Первая научно-методическая конференция Московского межвузовского объединения кафедр русского языка педагогических институтов. На открытии конференции присутствовало более 150 человек. Кроме представителей институтов Московского объединения, в конференции приняли участие и языковеды Москвы, Ленинграда, Орла, Воронежа, Ростова, Краснодара, Армавира, Николаева.

На двух пленарных заседаниях были заслушаны четыре доклада. Директор Института русского языка Академии наук СССР акад. В. В. Виноградов прочитал доклад на тему «Состояние и перспективы развития советского славяноведения»; сотр. того же института доктор филол. наук А. И. Ефимов — на тему «Вопросы изучения языка писателя»; зав. сектором диалектологии Института русского языка АН СССР доктор филол. наук В. Г. Орлова — на тему «О составлении региональных словарей русских диалектов»; член кафедры русского языка МГПИ им. В. И. Ленина доктор филол. наук Н. Н. Прокопович — на тему «Некоторые вопросы теории синтаксиса».

На конференции работали 3 секции: современного русского языка (председатель — зав. кафедрой русского языка Московского городского пед. ин-та им. В. П. Потемкина доктор филол. наук И. А. Василенко); изучения языка писателя (председатель — член кафедры русского языка МГПИ им. В. И. Ленина доктор филол. наук Д. Н. Введенский); русской диалектологии (председатель — зав. кафедрой русского языка МОПИ акад. АПН доктор филол. наук А. В. Текучев). Число участников секционной работы — примерно человек до 40 в каждой секции, а в последний день в секции современного русского языка присутствовало до 60 человек.

Имея в виду сосредоточить наибольшее внимание на освещении отдельных важнейших проблем русистики, не разбрасываясь по многим частным вопросам, а также стремясь связать свою научную работу с практическими нуждами преподавания в высшей и средней школе, секции заслушали и обсудили основные вопросы синтаксиса простого и сложного предложения в современном русском языке, проблемы изучения языка писателя (с особым интересом к произведениям А. П. Чехова в связи со столетним юбилеем со дня рождения), задачи составления зональных диалектологических словарей, в особенности словаря народных говоров Московской области, при участии аспирантов и студентов.

К конференции работниками кабинета русского языка МГПИ им. В. И. Ленина была подготовлена выставка научных трудов кафедр русского языка институтов Московского объединения. Участники конференции ознакомились с Лабораторией звукокинотехники МГПИ им. В. И. Ленина и прослушали произведенные здесь же записи диалектного произношения. Намечено издание основных итогов конференции для ознакомления с ними широкой педагогической общественности.

Можно надеяться, что проведенная конференция поможет лучшему выполнению закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР».

Для продолжения работы Московского межвузовского зонального объединения кафедр русского языка конференция наметила: 1) созвать совещание зав. кафедрами русского языка всех институтов объединения совместно с Ученой комиссией по русскому языку Министерства просвещения РСФСР для рассмотрения 7-летнего плана научно-исследовательской работы и важнейших программно-методических вопросов и 2) подготовить организацию Второй научно-методической конференции по вопросам преподавания языковедческих дисциплин в пед. институтах и работы в 8-летней общеобразовательной политехнической школе. Было избрано постоянно действующее бюро объединения в составе 5 человек.

И. Г. Голанов
(Москва)

В 1-м МГПИИЯ 17—20 ноября 1959 г. состоялась конференция по вопросам грамматики германских и романских языков. В работе конференции приняли участие 324 научных работника из 67 городов Советского Союза, в том числе из Алма-Аты, Баку, Вильнюса, Еревана, Иркутска, Киева, Ленинграда, Магнитогорска, Тбилиси, Фрунзе и др.

Первым был заслушан доклад В. Г. Адмони (Ленинград), посвященный проблеме точности при характеристике грамматических явлений. Докладчик подчеркнул необходимость отличать понятие точности при характеристике грамматических явлений от понятия точности в других науках. Это связано не только со спецификой языка, но и с многоаспектностью и многослойностью грамматических явлений, а также с неравномерностью наличия этих аспектов у отдельных грамматических явлений. Поэтому подлинная точность характеристики достигается не однолинейным определением, а указанием на всю многообразие и взаимосвязанность явлений, а также на доминантность одних из них по сравнению с остальными.

В своем докладе «Синонимия и взаимозаменяемость некоторых сложных слов и словосочетаний в современном немецком языке» М. Д. Степанова (Москва) указала, что некоторые сложные слова синонимичны соответствующим словосочетаниям. Синонимия таких единиц не идентична их взаимозаменяемости, которая определяется структурно семантическими

и контекстуальными условиями. Анализ этого явления подтверждает шаткость границ в ряде случаев между функциями грамматических и лексических единиц.

Доклад В. Н. Ярцевой (Москва) был посвящен вопросу об архаизмах в грамматическом строе языка. Для архаизмов, которые следует отличать от отмирающих малопродуктивных конструкций, характерна не только изолированность в общей системе грамматических форм, но и пережиточность самого конструктивного образца, исторически объясняемого как остаток некогда распространенного грамматического типа.

М. С. Гурычева (Москва) показала в своем докладе «Критерии выделения частей речи» (на материале французского языка), что эти критерии зависят от системы конкретного языка. При изучении частей речи привлекаются обычно синтаксический и лексико-семантический критерии, однако забвение третьего — морфологического — приводит к неточностям классификации. С помощью именно этого критерия могут быть разрешены некоторые спорные вопросы грамматической классификации слов, например, вопрос о границах отдельных частей речи.

Большую дискуссию вызвал доклад Б. А. Ильиша (Ленинград), посвященный служебным словам в современном английском языке. Без разрешения вопроса о грамматическом и лексическом значениях служебных слов невозможно построение грамматической системы языка. В современном английском языке необходимо определить грамматические значения, объединяющие соответственно предлоги и частицы. Особого рассмотрения требуют артикли и послелоги.

В докладе Е. И. Шенделькс (Москва) был освещен вопрос о сближении полярных грамматических значений. Полярные значения, объединенные одной грамматической категорией, представлены обычно парными грамматическими формами и выражены немаркированной и маркированной формами. Полярность связана с многозначностью грамматической формы; таким образом, формы, полярные в одних значениях, в других оказываются синонимичными.

Ряд докладов был посвящен проблеме модальности предложений. М. Д. Натанзон (Москва) различает внутри общей категории модальности категории реальности и предположительности. Внутри категории предположительности можно различить ряд подвидов: предположительность «в чистом виде», условность потенциальную и ирреальную, желательность и побудительность. С модальностью предложения сочетаются, не входя в нее, утверждение и отрицание.

Модальность вопросительных предложений в немецком языке была освещена в докладе Л. Г. Фридман (Ростов-на-Дону). Докладчик, указав, что в вопросительных предложениях с вопросительным словом возможна лишь ирреально-предположительная, а в вопросительных предложениях без вопросительного слова — «вопросительная» модальность, остановился далее на различных типах модальности, присущей ряду других видов вопросительных предложений.

На данных анализа интонационного выявления модальности был построен доклад О. А. Норк (Москва) «Некоторые синтаксические функции интонации». Исходя из фонетических наблюдений, указал докладчик, следует различать первичную и вторичную модальность. К первичной относится модальность достоверности и недостоверности и, кроме того, целый ряд различных модальных оттенков, например ирония и др. Вторичная модальность включает в себя интеллектуальную и эмоциональную модальность. Разновидности вторичных модальностей наслаиваются на первичную. Эта многослойность может быть изучена лишь на основе экспериментально-фонетических исследований интонации.

Вопросы морфологии разбирались в докладе Е. М. Гордон (Москва) «Некоторые вопросы страдательного залога в современном английском языке», а также в выступлениях Э. Г. Чамоковой (Орджоникидзе), Т. Я. Гольденберг (Москва), Л. И. Астровой (Фрунзе), А. Б. Горштейна (Томск).

Теория членов предложения (на материале французского языка) была рассмотрена в докладе Л. И. Илия (Москва), применившей к определению членов предложения методы структурного анализа.

Б. Л. Оскотская (Петрозаводск) остановилась на особенностях сильного обособления в английском языке. Вопросы разграничения обстоятельств и дополнений в английском предложении осветила Т. Н. Степанова (Москва).

В ряде докладов и сообщений нашли отражение вопросы, связанные с проблемами словосочетания. О. И. Москальская (Москва) выступила с докладом «Словосочетания с грамматической направленностью». Н. И. Филиппович (Москва) на материале глагольных словосочетаний остановилась на управлении как способе синтаксической связи. Вопросы словосочетания были освещены и в докладе Р. М. Дронниковой (Киев) «Именные предложные словосочетания с временным значением».

Проблемы теории и строя предложения разбирались во многих докладах. Е. В. Гулыга (Москва) осветила вопросы теории сложноподчиненного предложения на материале некоторых работ немецких зарубежных лингвистов. О развитии теории сложного предложения говорила в своем докладе Т. Г. Белова (Москва).

Доклад Э. Г. Ризель был посвящен одному из грамматико-стилистических вопросов синтаксиса современного немецкого языка, так называемому Auflockerung (упрощению). Это явление, когда взаимосвязь членов предложения и грамматических структур становится менее прочной и сложной, проявляется в стремлении к конструкциям примыкания, к приложениям,

к переходу от гипотаксиса к различным видам сочинения, к конструкциям общего падежа и т. п. Благодаря ослаблению связи между отдельными элементами предложения и их упрощению увеличивается экспрессивность и убедительность речи. Описанные явления приводят также к известному сближению между нормами письменной и устной речи. Проблемам синтаксиса разговорного немецкого языка были посвящены также доклады Л. И. Поляковой (Москва) и П. Ф. Монахова (Калуга).

З. П. Гаркунова (Москва) в своем докладе показала, что видо-временные формы представляют одно из средств связи частей сложного предложения, и употребление их, следовательно, может рассматриваться как показатель слитности частей сложного предложения. В. А. Бельская (Москва) в докладе остановилась на синтаксической идиоматике языка. Е. К. Никольская (Москва) посвятила свой доклад вопросу о синтаксической синонимике (на материале французского языка).

М. А. Балабан (Черновцы) доложил о результатах структурного анализа аффиксации в системе английского словообразования. Система английского аффиксального словообразования была рассмотрена как система, включающая лексические и грамматические элементы структуры языка, на основе критерия сочетаемости элементарных языковых единиц (морфем). На основе определения сочетаемости 55 словообразовательных аффиксов с 1000 производящих основ были выявлены аффиксы, обладающие сочетаемостью, независимой от семантики производящей основы, а также аффиксы, обладающие избирательной сочетаемостью.

Ряд сообщений был посвящен сопоставительному изучению языков. Так, в докладе Е. Б. Ройзенблит и В. Г. Гака (Москва) рассматривался вопрос о принципах такого сопоставления на материале французского и русского языков в синхронном плане. Сопоставление имени прилагательного в таких разноструктурных языках, как английский и азербайджанский, явилось темой доклада Р. А. Гайбовой (Баку). А. Н. Копылов (Ростов-на-Дону) доложил о результатах сопоставительного исследования трех лексем: *chat*, *manger*, *viande* — в серии предложений, построенных из этих лексических единиц.

На конференции был заслушан также ряд докладов, посвященных методике преподавания грамматики иностранных языков. Докладчики и выступавшие в прениях отметили целесообразность и необходимость проведения такого рода межвузовских конференций по вопросам грамматики. Материалы конференции будут опубликованы в «Ученых записках» 1-го МГПИИЯ.

М. Д. Городникова, Е. В. Розен
(Москва)

С 25 по 28 ноября 1959 г. в Варшаве проводила свою работу созванная по инициативе Польской Академии наук Международная диалектологическая конференция по вопросам общеславянского атласа.

Со времени IV Международного съезда славистов в ряде славянских стран, особенно в Польше и Чехословакии, началась оживленная деятельность по разработке вопросов, связанных с подготовкой общеславянского атласа и, в частности, по разработке проекта его будущего вопросника — программы. Некоторые материалы, явившиеся результатом этой подготовительной работы, были опубликованы [9].

На конференции были заслушаны доклады по вопросам общетеоретического характера: С. Б. Бернштейна (СССР) «К вопросу о структуре общеславянского атласа», Б. Гавранка (Чехословакия) «Теоретическая проблематика общеславянского атласа» и М. Павловича (Югославия) «Основы общеславянского атласа с точки зрения проф. А. Белича», а также доклады, посвященные разработке определенных разделов или общей проблематики будущего вопросника общеславянского атласа: Зд. Штиберая и Г. Конечной (Польша) — по разделу фонетики, П. Ивича (Югославия) — по разделу морфологии, В. Дорошевского (Польша) — по вопросам словообразования и И. Бауэра (Чехословакия) — по вопросам синтаксиса (последний доклад обсуждался в отсутствие автора на основе опубликованного в журнале «Slavia» текста). Детальному рассмотрению подвергся также представленный проект лексического вопросника.

Из числа общетеоретических положений наиболее оживленно обсуждался вопрос о временны́х границах, к которым могут относиться явления, включаемые в общеславянский атлас. Большинство участников конференции сошлось на том, что в атласе должны быть представлены явления, связанные в своем возникновении с праславянским периодом и периодом, непосредственно примыкающим ко времени его распадения, когда имели место процессы, представлявшие развитие языка-основы. Явления более позднего периода самостоятельной жизни славянских языков, например такие, которые связаны с формированием систем безударного вокализма в русском и болгарском языках или перестройкой различий по родам, или распространением аналитических конструкций в склонении и под., должны, по мнению участников конференции, остаться за пределами атласа как развивающиеся в весьма специфических условиях значительно разошедшихся в своем развитии

---

[9] См. статьи Лампрехта, И. Бауэра, И. Немца в журн. «Slavia», ročn. XXVIII, seš. 4, 1959; см. также выпущенные диалектологической лабораторией, руководимой проф. В. А. Дорошевским, 2 варианта проекта «Вопросника по лексике для общеславянского атласа».

систем и потому нередко не являющихся объектом для сопоставления.

В процессе обсуждения подчеркивалось, что общеславянский атлас должен быть ориентирован на те явления, которые представлены в устно-разговорной речи населения, говорящего на местных территориально-ограниченных разновидностях языка. В связи с этим он не отразит, например, особенностей развития литературных славянских языков и не осветит тот круг фактов, которые, являясь в настоящее время достоянием народных говоров, представляют собою в них результат воздействия общенародных языков.

Весьма интересовал участников конференции также вопрос об отличиях программы для общеславянского атласа от программ атласов отдельных национальных славянских языков и о том, будут ли карты общеславянского атласа во всех случаях иметь самостоятельное значение или явятся иногда фактически сводкой того, что показано на картах национальных атласов.

Обсуждение показало, что общеславянский атлас в ряде случаев представит на своих картах новые темы, которых не было в атласах отдельных славянских языков, например потому, что те или иные явления не имеют дифференциации в своем территориальном распространении в пределах данного языка. Установлена была также возможность показать некоторые явления в общеславянском атласе в ином аспекте, чем в отдельных национальных атласах, иногда на ином материале, в определенных случаях в большей зависимости от моментов лексического порядка. Наконец, известный круг карт общеславянского атласа представит также, видимо, и сводку данных, собранных для атласов национальных языков, иногда уже картографированных, а иногда еще и не картографированных, в связи с тем, что подготовка отдельных атласов задерживается, что увеличивает значение подготовки наряду с другими также и подобных карт.

Проект фонетического вопросника Зд. Штибера содержал перечень явлений, по большей части восходящих к праславянскому периоду (судьба сочетаний *or*, *ol*, гласных *ō*, *ē* и под.), в основном намеченный с учетом данных всех славянских языков. В своей конкретной части (примеры, послужившие для разработки вопросника) этот проект опирался лишь на польский материал. Указывалось, что при дальнейшей разработке этого вопросника необходимо еще пополнение круга привлекаемых явлений; необходима постановка таких вопросов, которые выявляли бы в более общем виде некоторые характерные тенденции развития славянских языков; необходим больший учет фонетики отдельных слов, иногда имеющих весьма своеобразные ареалы распространения, а также разработка вопросов на материале слов, широко распространенных в славянских языках. Интересные предложения к программе по фонетике сделала Г. Конечна, предложившая предусмотреть также вопросы, посвященные фонетическим тенденциям общего характера.

Предложения из области морфологии, сделанные П. Ивичем (Югославия), касались флексии имен и строились преимущественно на основе сравнения форм, взятых со стороны их материального звукового выражения. При обсуждении этих предложений подчеркивалась необходимость представить вопросы морфологического характера также и со стороны значений и именно эти последние подвергать сравнению на картах атласа.

Как уже указывалось, особое внимание было уделено проекту лексического вопросника, представленного лабораторией В. Дорошевского. Многие выдвинутые в проекте вопросы подвергались критике, поскольку соответствующие им слова соотносятся с понятиями, отсутствующими во многих славянских языках (например, названия ряда животных, растений и т. д.). Другие вопросы, также вызывавшие возражения, касались слов, которые едва ли окажутся варьирующимися в разных славянских языках (имеются в виду такие слова, как *голова*, *рука*, *нога*, *камень*, *река* и под.). Подчеркивалась необходимость включать в словарь лексику, которая могла бы быть получена от любого лица, говорящего на данном диалекте, независимо от его дополнительной (помимо сельского хозяйства) специализации в каком-либо виде производства. Возражение вызвало и включение вопросов, связанных с явно поздними по своему возникновению предметами и процессами, относящимися ко времени интенсивного распространения городской культуры и тем самым определенных слоев лексики.

С другой стороны, отмечалось, что в вопроснике по лексике отсутствуют еще многие необходимые вопросы, в частности очень слабо представлена непредметная лексика, например глаголы со значением весьма существенных и повсеместно распространенных процессов, слова, связанные с эмоциональной оценкой, и др. Отсутствовал в представленном проекте лексического вопросника также раздел, который был бы предназначен для выявления различий в значениях одних и тех же слов на разных территориях («от слова к значению»).

Многие участники конференции высказывались против включения в общеславянский атлас вопросов синтаксического порядка, указывая прежде всего на то, что вопросы диалектного синтаксиса слабо разработаны по отношению к отдельным национальным славянским языкам, что создает серьезные затруднения при самой разработке вопросника. Подчеркивалась также значительная трудность собирания данных по синтаксису. Сторонники включения синтаксиса в общеславянский атлас видели в этом стимул для дальнейшего развертывания соответствующих изучений, подчеркивая, что, хотя синтаксические различия и являются недостаточно резкими в пределах диалектных групп от-

дельных славянских языков, они оказываются более отчетливыми при сравнении славянских языков между собою.

Конференция приняла решение вести разработку программы по синтаксису для общеславянского атласа, учитывая и те предложения, которые были сделаны в упомянутой выше статье И. Бауэра. Было также принято решение продолжать работу над программой по общеславянскому атласу, причем представители отдельных стран решили сотрудничать в разработке определенных разделов. Так, разработка раздела фонетики будет продолжена в Польше и СССР; морфологии — в Югославии и Чехословакии; словообразования — в Чехословакии, Польше и Болгарии; синтаксиса — в Чехословакии, Польше и Югославии; лексики (раздел «от значения к слову») — в Польше; лексики (раздел «от слова к значению») — в Польше и СССР. Установлен срок представления проектов — к 15 сентября 1960 г.

Зд. Штиберу было поручено подготовить к апрелю — маю 1960 г. проект фонетической транскрипции, которая будет применяться при собирании материалов для общеславянского атласа.

В. Г. Орлова
(Москва)

---

1 декабря 1959 г. в Стокгольме по инициативе доцента Стокгольмского университета Г. Бирнбаума состоялось совещание по вопросу организации научной работы в области машинного перевода в Швеции. С докладами на совещании, в котором приняли участие языковеды, математики, сотрудники Королевского Технического института в Стокгольме, инженеры—специалисты по вопросам связи и др., выступили доц. Г. Бирнбаум и инженер У. Доппинг. В докладе Г. Бирнбаума были изложены общие предпосылки для научной и практической работы по машинному переводу в Швеции. У. Доппинг в своем докладе дал отчет о находящихся в стране вычислительных машинах, пригодных и для машинного перевода, а также о машинах, заказанных на ближайшие годы. Единогласно было принято предложение Г. Бирнбаума об организации рабочего коллектива по вопросам машинного перевода в составе языковедов, техников, математиков и др. Коллектив временно будет подчинен Государственному комитету по вычислительным машинам. При этом комитете будет сосредоточена и вся доступная литература по указанному предмету. Г. Бирнбаум передал комитету предварительный список соответствующей литературы, изданной в СССР. В дискуссии на совещании были обсуждены также основные вопросы, которыми надлежит заниматься вновь образованному коллективу. Одним из языков-источников для работы коллектива явится русский язык.

2—3 декабря 1959 г. состоялось пятое пленарное заседание Словарной комиссии Отделения литературы и языка АН СССР. Доктор филол. наук Ф. П. Филин представил проект инструкции к «Словарю русских народных говоров» и выступил с докладом «Диалектное слово и его границы».

В своем докладе Ф. П. Филин, осветив круг источников для составления областного словаря, подчеркнул, что к настоящему времени накоплены огромные материалы по диалектной лексике, которые еще ждут должного научного анализа и обобщения и практического использования. В будущий словарь предполагается включить диалектную лексику, относящуюся к XIX—XX вв.; такое ограничение материала является в значительной степени условным, поскольку нет оснований полагать, что граница между XVIII и XIX вв. была каким-то переломным моментом в развитии говоров русского языка. Что касается географического охвата говоров, то в словарь в принципе включается лексика всех говоров русского языка. Словарь будет представлять собой свод материалов, записанных в XIX и XX вв.

По вопросу о типе словаря Ф. П. Филин решительно высказался за дифференциальный тип словаря, указав, что полный словарь абсолютно неприменим ни теоретически, ни практически к описанию лексики всех говоров русского языка, употреблявшейся на протяжении полутораста лет.

«Тип полного словаря говоров,— говорит Ф. П. Филин, — вообще возможен при определенных условиях. „Единое языковое сознание“, которое должно быть представлено в таком словаре, предполагает определенный момент времени — практически это настоящее время, поскольку в прошлом никто не сделал таких исчерпывающих записей, которые годились бы для подобного рода словаря. Ориентация на определенную лексическую систему должна привести лексикографа к поискам реально существующей относительно обособленной диалектной единицы. Все говоры русского языка имеют, как известно, единую общенародную основу, но специфику их составляют местные особенности, которые и создают множество частных систем. Иными словами, в принципе возможен полный словарь только какого-либо одного говора или объединенной в одну лексическую систему группы говоров в их современном, доступном для детального изучения состоянии. Такой словарь был бы очень интересен во многих отношениях. Прежде всего, он позволил бы выяснить во всех деталях лексико-семантическую систему говора и пути его развития, изменения, происходящие в нем в настоящее время. Правда, составитель такого словаря встретился бы с очень большими трудностями, связанными прежде всего со все время изменяющимся соотношением местной лексики с лексикой литературного языка. Носители современных говоров неоднородны в смысле овладения ими литературным языком; лексический состав их языка неодинаков и зависит от их образо-

вания, начитанности, жизненного опыта и т. п. Носители современных говоров неодинаковы также и в их отношении к профессиональной лексике, которая также входит в реально существующую лексическую систему. Даже представители так называемого архаического говора в настоящее время в зависимости от разных обстоятельств во многом отличаются друг от друга. Обнаружить „чисто архаическую" систему лексики без ,,примесей" разных влияний практически невозможно. Так или иначе, но проблемы, стоящие перед составителями полного словаря говоров, теоретически не освещены, а практически такой словарь на русском материале еще не составлялся.

На территории русского языка,— продолжает Ф. П. Филин,— существует много частных диалектных лексических систем. Объединение всех этих систем в рамках одного словаря сразу нарушило бы самый принцип системности. Многочисленные частные системы в XIX—XX вв. значительно изменились, причем процесс их изменения происходил неравномерно: одни говоры быстрее развивались в сторону сближений с литературным языком, другие были более консервативны. Многие слова за это время вовсе вышли из употребления, другие изменили свои значения. За всем этим огромным и достаточно разнородным материалом не стоит ,,единое реальное языковое сознание определенного человеческого коллектива в определенный момент времени", о котором писал Л. В. Щерба. Словарь русских народных говоров XIX—XX ст. по самой природе включаемых в него материалов может быть только словарем-справочником, а не ,,системным" словарем. Содержащиеся в нем сведения дадут очень ценные материалы для истории того или иного слова, группы слов, различных пластов лексики и т. п., но они вовсе не предназначаются для изучения истории какого-либо отдельного говора или группы говоров, хотя так или иначе могут быть использованы и для этой цели. Именно в связи с этим нет каких-либо теоретических оснований включать в словарь лексику литературного языка, употреблявшуюся и употребляющуюся в речи носителей говоров. Таким образом,— заключает Ф. П. Филин,— Словарь русских народных говоров может быть только дифференциальным словарем, т. е. в него может включаться лишь диалектная лексика».

При составлении словаря с особой остротой возникает вопрос об отборе слов. Принципы отбора слов в диалектном словаре должны строиться на основе определения сущности и границ диалектного слова, с чем связаны наибольшие практические и теоретические трудности при составлении словника будущего словаря. Ф. П. Филин приводит примеры того, как неисследованность этой проблемы приводила в лексикографической практике к значительной путанице. Наиболее характерной ошибкой было «смешение распространения слова и распространения реалии, им обозначаемой, что во всех отношениях неправомерно. Реалия может быть необщераспространенной или даже узколокальной, но слово, обозначающее эту реалию, может в пределах языка не иметь изоглоссы, т. е. быть общенародным, а не диалектным.

Решающим признаком принадлежности слова к диалектной лексике является локальная ограниченность его употребления, т. е. наличие у слова изоглоссы в пределах территории, которую занимает язык. Как известно, этот признак характеризует и любое другое диалектное явление. Диалектных слов общерусского распространения и употребления не бывает». Это определение уточняется в плане возможных отношений слов, имеющих изоглоссы в народных говорах, к лексике литературного языка в ее теперешнем состоянии. «Имеются два типа слов с изоглоссами в пределах самой диалектной речи: 1) слова, не входящие в лексический состав литературного языка (в любую из его разновидностей) — *скоро́дить*, *дю́же*, *брата́н* и т. п., и 2) слова, которые входят в тот или иной пласт литературной лексики. Ко второму типу относятся такие слова, как *ла́ять*, в говорах противопоставленное слову *брехáть*, соответственно *ржать* (*гоготáть*), *óчень* (*дю́же*, *горáздо*, *порáто* и др.), *навоз* (*позём*, *назём*, *озём*), *ухвáт* (*рогáч*) и т. д. В архаичной диалектной речи слова типа *лаять*, *очень* и пр. распространены далеко не повсеместно и имеют изоглоссы». Однако, поскольку при определении принадлежности слова к диалектной лексике мы не можем не исходить из отношения слов к словарному составу литературного языка, для нас очевидно, говорит Ф. П. Филин, что слова типа *лаять* не подлежат включению в дифференциальный диалектологический словарь. Таким образом, «диалектным словом (единственным объектом „Словаря русских народных говоров", как и любого дифференциального диалектологического словаря) является слово, имеющее локальное распространение и не входящее в словарный состав литературного языка (в любую его разновидность)».

Нужно заметить, что для носителей говоров диалектное и общерусское слово обычно равноценны. Принадлежность слова к разряду диалектизмов выясняется только в результате сравнения лексики говора с лексикой всех других говоров и с лексикой литературного языка. Самым общим мерилом такого сравнения является лексика литературного языка, лексика общерусская. В самой же системе отдельного говора диалектных слов (с позиции носителей говора) нет. Поскольку диалектизмы в полном своем объеме выявляются только в процессе сравнения лексики местной речи с лексикой литературного языка, можно считать, что диалектизм — категория стилистическая. Диалектное слово, попав в сферу литературного языка, может приобретать различные функции, которых оно не имеет в местной речи. Однако из этого вовсе не следует, что в языке существуют разные типы диалектизмов, требующие принципиально различных определений. Диалектное слово всегда может иметь только одно общее определение, соответствую-

щее тому месту, которое оно занимает в общей системе языка.

Отмечая, что диалектизмы — исторически изменчивая категория, Ф. П. Филин особо останавливается на вопросе о границах диалектной лексики и намечает практические пути для определения различий между диалектной лексикой, с одной стороны, и, с другой стороны, лексикой разговорно-просторечной, специальной терминологией, так называемыми «этнографизмами», архаической лексикой, наконец, разного рода индивидуальным словотворчеством, в том числе и теми новообразованиями, которые получают какое-то территориальное распространение и употребляются какой-то отрезок времени. Все перечисленные разряды лексики не должны включаться в дифференциальный областной словарь, если они принадлежат той или иной сфере литературного языка. Разумеется термины местных промыслов и ремесел, «этнографизмы» и прочие слова будут включаться в словарь, если они являются диалектизмами. В сомнительных случаях вопрос всегда будет решаться также в пользу включения, а не исключения этих слов. Что же касается различных новообразований, то они являются мнимыми диалектизмами, поскольку диалектные слова вновь не создаются и не могут создаваться в силу того, что диалекты в наше время являются отмирающими единицами языка.

В заключение своего доклада Ф. П. Филин рассматривает вопрос о границах между лексическим и фонетическим, лексическим и грамматическим явлениями, отмечая, что авторы предыдущих диалектологических словарей имели очень смутные представления об этой проблеме, результатом чего явилось смешение лексики и фонетики, лексики и грамматики, характерное почти для всех старых словарей. Диалектные слова можно разделить на два основных типа: а) слова, отличающиеся от слов общерусских своим морфологическим и фонетическим составом, иначе, своим материальным оформлением; эти слова условно можно назвать лексическими диалектизмами; б) слова, отличающиеся от соответствующих общерусских слов своими значениями; такие слова условно можно назвать семантическими диалектизмами.

Такие разновидности лексических диалектизмов, как слова, корни которых отсутствуют в литературном языке (ср. *дежá*, *лонú*, *квóлый*, *наслýд* и под.), а также образования от корней, представленных в словарном составе литературного языка (причем слова в говорах имеют свое особое значение; ср. *навём*, *повём*, *сузём*, *зобня́*, *насáд* и под.), являются несомненным объектом словаря, так же как и так называемые семантические диалектизмы (типа *погóда* «непогода», *насéдка* «насест», *мост* «сени» и под.). То же самое можно сказать и о таких лексических диалектизмах, которые представляют собой слова с теми же корнями и значениями, что и в литературном языке, но в ином аффиксальном оформлении (типа *черни́ца*, *черни́га* «черника», *березня́г* «березник», *насéв* «посев», «засев» и под.). Гораздо сложнее обстоит дело с теми производными словами, в которых граница между лексическими и грамматическими функциями аффиксов является трудно уловимой, неопределенной. Во всяком случае, диалектные собственно грамматические различия как таковые не могут служить признаком, по которому слово должно помещаться в дифференциальном диалектологическом словаре. Иначе следует отнестись к словам с теми же корнями, аффиксами и значениями, что и в литературном языке, но с фонематическими различиями, не являющимися элементами фонетических и морфологических систем говора. Такие явления, как *ижá* — *ржá*, *омшáнник* — *мшáнник*, *олляно́й* — *льняно́й*, *комáр* — *комáрь* и под., носят характер лексических различий в отличие от тех, которые связаны с существующими в говорах фонетическими и морфологическими закономерностями.

Выступавшие в прениях единодушно отметили научную актуальность «Словаря русских народных говоров», необходимость продолжения работы над ним и скорейшего ее завершения, так как этот словарь явится первым изданием такого рода. В связи с этим указывалось (В. Н. Сидоровым, И. А. Оссовецким и др.), что, хотя по практическим соображениям словарь должен быть дифференциальным, желательны максимальная его полнота и решение всех спорных случаев в пользу включения слова.

Наиболее решительно за недифференциальный характер словаря выступили В. Н. Сидоров и Л. П. Жуковская. Вместе с тем подвергалась сомнению правомерность стремления докладчика дать какое-то универсальное определение понятия «диалектное слово», одинаково приемлемое и для диалектолога, и для лексикографа.

В обсуждении принял участие доцент Краковского университета М. Карась. Он отметил большие совпадения между установками доклада Ф. П. Филина и принципами, которые польские диалектологи собираются положить в основу работы над аналогичным словарем, но нашел, что в проспекте преувеличивается значение географического критерия, тогда как необходимо равновесие трех критериев — формального, семантического и географического. Нужно учитывать также и жаргонно-арготический характер некоторой части диалектной лексики.

Словарная комиссия признала «Проспект Словаря русских народных говоров» достаточно подготовленным к опубликованию и правильно намечающим основные принципы составления словаря.

Вторым вопросом повестки было обсуждение «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера и ряда проблем, связанных с этимологическими исследованиями.

Во вступительном докладе канд. филол. наук О. Н. Трубачева было отмечено, что выход этимологического словаря М. Фасмера является большим событием в славистике, так как словарь А. Г. Преоб-

раженского во многом уже не может удовлетворить современным требованиям. Обсуждение словаря М. Фасмера должно дать повод для постановки ряда принципиальных вопросов, связанных с составлением этимологических словарей, удовлетворяющих современному состоянию науки. Эти вопросы касаются необходимой степени полноты словника (вопросов включения ономастики, топонимики, диалектной лексики и т. п.), критериев для выделения слова или его производной формы в особую словарную статью, соотношения между собственно этимологической и исторической частью словарной статьи, наконец, построения словарной статьи в связи с необходимостью отражения в ней различных предыдущих решений этимологической задачи и с определением места собственных этимологий составителя. О. Н. Трубачев считает недопустимым введение в этимологический словарь индивидуальных экспериментов автора, как это делается В. Махком.

Традиционные принципы этимологических исследований, которых придерживаются в своих словарях М. Фасмер и Э. Френкель (составитель литовского этимологического словаря), следует признать более результативными, чем преувеличение роли нарушения звуковых соответствий и роли экспрессивных моментов, наблюдаемое у Я. Отрембского, В. Махка и К. Яначка.

В докладе канд. филол. наук В. Н. Топорова[10] «О некоторых теоретических основах этимологических исследований (в связи с оценкой словаря Фасмера)» были с большой остротой поставлены вопросы, касающиеся радикальной перестройки принципов этимологических исследований на основе вводимых в лингвистику новых методов, вытекающих, по мнению докладчика, из признания системного характера языка и долженствующих приблизить и эту отрасль языкознания к точным наукам. Задачами этимологических исследований В. Н. Топоров считает «определение координат разных систем, пересечение которых порождает данное слово», а также определение последующей «траектории» слова. Он считает полезным перенесение в данную область ряда понятий и терминов кибернетики и теории информации («операторы», «борьба с шумами», «черный ящик» и др.) и ставит вопрос о возможности создания «структурной этимологии». Особое внимание было уделено докладчиком вопросу о связи этимологических исследований с математически разработанной «теорией игр», а также проблеме «построения общей модели акта этимологизирования».

Канд. филол. наук Э. А. Макаев указал в своем докладе, что в отношении использования материалов индоевропейской этимологии словарь М. Фасмера занимает промежуточное положение между двумя основными типами словарей индоевропейских языков: одним, где индоевропейские этимологии занимают значительную часть словаря, и другим, где они привлекаются лишь как материал для уяснения истории слов данного языка. По мнению докладчика, в словаре Фасмера почти отсутствует та система лексической стратиграфии, которая получила свою разработку в работах В. Порцига, Э. Бенвениста, В. Пизани, Э. Френкеля и др. Не всегда последовательно решены в словаре акцентологические проблемы, хотя для относительной хронологии славянских заимствований они могут иметь очень важное значение. Возражение может вызвать явное предпочтение фонетической и грамматической разработке лексемы в словарной статье в ущерб семасиологической стороне. В приемах реконструкции не наблюдается какой-либо единой системы: иногда дается только общеславянская праформа, а иногда — индоевропейский архетип. В заключение Э. А. Макаев отметил, что, несмотря на указанные недостатки, словарь Фасмера подводит итог изучению лексики славянских языков, русской топонимики и ономастики и отчасти исторической лексикологии русского языка.

докладом на тему «О принципах построения словарной статьи в этимологическом словаре» выступил канд. филол. наук Н.М. Шанский. По его мнению, структура словарной статьи почти целиком определяется ее содержанием[11]. Большим достоинством словаря М. Фасмера является наличие в нем значительного количества словарных статей, посвященных этимологии внутриславянских дериватов, и то, что многие слова, дававшиеся Н. Горяевым и А. Преображенским лишь в качестве производных, вынесены Фасмером в особую словарную статью. Это не только оправдывается практически, но и правильно с методологической стороны. Недостатком словаря Фасмера является отсутствие, как правило, объяснения реального происхождения слова в самом русском языке. Сопоставления с другими языками и выяснение этимологии корня не объясняют происхождения слова в данном языке; все это — только материал для построения этимологии внутри данного языка.

Доклад доктора филол. наук Э. В. Севортяна был посвящен тюркским элементам в словаре М. Фасмера. В этом докладе дана высокая оценка уровню тюркологических знаний Фасмера по сравнению с авторами других западноевропейских этимологических словарей. Однако во многом материал и толкование в словаре Фасмера зависят от «Опыта словаря тюркских наречий» акад. В. В. Радлова. М. Фасмер недостаточно учитывает новейшие тюркологические исследования, в частности тюркскую лексикографию, в СССР. Не использованы Фасмером и не-

[10] Доклады О. Н. Трубачева и В. Н. Топорова будут с некоторыми сокращениями опубликованы в № 3 «Вопросов языкознания» за 1960 г.

[11] См. Н. М. Шанский, Принципы построения русского этимологического словаря..., ВЯ, 1959, № 5.

заменимые до сих пор словари Л. Будагова и Махмуда Кашгарского, но вместе с тем недостаточно критическим является его отношение к словарю венгерского тюрколога Вамбери. В дальнейшем Э. В. Севортян рассмотрел основные требования, предъявлявшиеся к тюркским этимологиям польским ученым Т. Ковальским и Н. К. Дмитриевым, подчеркнув, что исчерпывающее применение положений этих двух ученых пока еще остается не реализованным. Основная часть доклада была посвящена конкретному рассмотрению отдельных этимологий М. Фасмера.

Аналогичный характер имел доклад члена-корр. АН СССР Б. А. Серебренникова, посвященный финно-угорским этимологиям. Б. А. Серебренников обобщил результаты рассмотренных им 315 русских слов финно-угорского происхождения, включенных в словарь Фасмера, из которых более 250 слов является заимствованиями из западнофинских языков. Он указал много спорных и несколько явно неверных этимологий и попутно отметил неточности приведения материала из севернорусских говоров. По мнению докладчика, эти частные недостатки не снижают значения словаря М. Фасмера, в котором русские слова финно-угорского происхождения впервые даны с такой полнотой.

В выступлении доктора филол. наук А. А. Белецкого было также подчеркнуто, что словарь М. Фасмера представляет собой неоспоримое достижение и выдерживает сравнение с лучшими новейшими славянскими этимологическими словарями (Славского, Махка, Голуба и Копечного, Младенова). Вместе с тем в наше время составление такого словаря одним ученым, являющееся своего рода «подвигом», неизбежно связано с пробелами и недостатками, и поэтому будущее этимологических словарей принадлежит коллективным работам. Некоторые недостатки словаря Фасмера объясняются неизбежным субъективизмом исследователя в выборе этимологических решений. В задачи нового этимологического словаря русского языка должна быть включена статистическая обработка материала, проверка критериев установления генетических связей слова с учетом теории вероятности. Требуется также большее внимание к культурно-историческому контексту развития слова и его значения. В заключение А. А. Белецкий указал также и на недостатки обсуждаемого словаря в области акцентологии (словенский и кашубский материал).

В прениях наибольшее внимание было уделено докладу В. Н. Топорова и поставленным в нем общим вопросам. Доктор филол. наук Т. П. Ломтев, признавая некоторую неудовлетворительность «традиционных» приемов этимологизирования и законность поисков новых методов, считает большинство вводимых В. Н. Топоровым или переносимых им из других областей знания понятий неприменимыми к специальной области этимологических исследований. В особенности неприменимо понятие «черного ящика», так как это понятие связано с реакцией организма на поведение экспериментатора; язык же на поведение лингвиста реагировать не может. Несопоставимы также теория этимологических исследований и «теория игр».

Ст. научн. сотр. В. Д. Левин остановился на соотношении приемов этимологических исследований с методами сравнительно-историческим и структурным и утверждал, что этимология как учение о происхождении слов не может прийти в противоречие со сравнительно-историческим методом, но и в ней могут быть применены структурные методы постольку, поскольку они в настоящее время оказывают сильное влияние на все сравнительно-историческое языкознание, в котором теперь сопоставляются не изолированные факты, а системы родственных языков.

Канд. филол. наук К. Гаузенблас (Прага), выступая по докладу В. Н. Топорова, остановился на следующих вопросах:

1. Можно ли к этимологии применить структурный метод исследования? Этимология является по сути дела лишь частью лексикологии. Ее основные методологические принципы должны быть те же, что и в других разделах лексикологии. Следовательно, структурный анализ, если он применим к изучению словарного состава, применим также и к этимологии.

2. Возможен ли синхронный этимологический анализ? По традиции пражской школы, в каждой области языковедения надо строго различать синхронный и диахронный анализ, применяя к полному изучению языка оба эти принципа. В исследованиях по фонологии и грамматике это уже почти всеми принято. Гораздо сложнее обстоит дело в области изучения происхождения слов, но и здесь необходимо применять те же принципы.

3. В понимании синхронной этимологии современного языка следует учитывать возможность двух разных концепций: а) разъяснение возникновения новых слов и их значений и б) установление взаимосвязи отдельных слов, толкования их значимых частей на основе других слов в чисто синхронном плане. Но здесь следовало бы говорить не об этимологии, а скорее о мотивации отдельных элементов словарного состава. Эта область называется обычно словообразованием, однако оба эти явления (т. е. образование одного слова от другого и мотивированность одного слова другим) надо различать. В словарном составе существуют слова мотивированные рядом со словами изолированными. Насколько известно, ни в одном языке не сделано еще анализа всей словарной системы с точки зрения мотивации слов, т. е. строго синхронного анализа. Было предпринято такое исследование в Институте чешского языка Чехословацкой АН на материале чешского языка. Подготовлен к печати первый том этой работы, посвященный системе

имен существительных. При подробном анализе оказалось, что надо различать разные виды мотивации слов: мотивацию по одной линии (*mládě* «детеныш» мотивировано словом *mladý* «молодой») и мотивацию по нескольким линиям (например, *práže* «ребенок, урожденный в Праге» словами *Praha*, *pražský*); мотивацию в одном направлении (*trojče* «один ребенок из тройки» мотивировано словом *troji* «трое») и мотивацию взаимную (*mrně* «пренебрежительно о маленьком ребенке» — *mrňavý* «очень маленький»); далее мотивацию слабую (*babče* «сорт косточковых фруктов» — *baba* «старая женщина»), несущественную (*robě* книжн. «младенец» — *roba* диал. «женщина»), случайную или мнимую («народную»): появляется не только в художественной речи, но и в речи шуточной и т. д.; мнимые («народные») этимологии иногда влияют и на литературные формы слов. Синхронный словообразовательный анализ в смысле мотивированности слов может не совпадать с анализом морфологическим.

Обращаясь к вопросу об этимологическом словаре В. Махка, который О. Н. Трубачев подверг резкой критике, К. Гаузенблас согласился, что в этом словаре есть пробелы, однако указал и на ряд его достоинств, прежде всего заключающихся в том, что в этом словаре приводится много нового и удачно истолкованного материала, особенно из диалектной лексики. В результате словарь, несомненно, окажет большую помощь при составлении словарей других славянских языков.

Ст. научн. сотр. Б. В. Горнунг отметил большую четкость изложения в докладе В. Н. Топорова: совершенно ясно, какие термины употреблены метафорически и в каких случаях устанавливается аналогия в точном смысле. Поэтому ясно и то, с чем можно согласиться и что является методологически неприемлемым для всех остающихся на позициях так называемого «традиционного языкознания». Можно полностью присоединиться к тем аналогиям, которые проводились в докладе между этимологическими исследованиями и «теорией игр», поскольку это вполне правомерно в плане эвристических приемов (поисков этимологического решения). Но если эту аналогию переносить также в план историко-генетических объяснений и исторических интерпретаций, то придется согласиться с Т. П. Ломтевым, который данную аналогию решительно отвергает. Недостатком доклада, по мнению Б. В. Горнунга, является отсутствие в нем постановки вопроса о принципиально равноценных при данном состоянии науки этимологиях.

Канд. филол. наук К. П. Авдеев считает, что большие достоинства словаря М. Фасмера не снимают задачи скорейшего создания в СССР нового этимологического словаря русского языка. К. П. Авдеев подробно характеризовал все то, чего вправе ожидать, по его мнению, от этимологического словаря обращающийся к нему лингвист или просто человек, который интересуется значением и происхождением слов. Словарь Фасмера может ответить далеко не на все подобные вопросы (это положение иллюстрируется примерами). В этимологический словарь необходимо вводить некоторые элементы толкования слов.

Итоги обсуждения были подведены в заключительном слове председателя Словарной комиссии члена-корр. АН СССР С. Г. Бархударова, который отметил высокую оценку, данную словарю М. Фасмера советскими лингвистами, и указал, что, несмотря на это, перед ними должна стоять задача создания этимологического словаря русского языка нового, более совершенного типа.

Н. Н. Уханова
(Москва)

Памяти члена-корр. АН СССР проф. Н. К. Дмитриева было посвящено состоявшееся 21 декабря 1959 г. заседание сектора тюркских языков Института языкознания АН СССР при участии тюркологов Института востоковедения АН СССР, Института восточных языков при МГУ им. М. В. Ломоносова, а также языковедов союзных республик — Башкирии, Казахстана, Татарии, Туркмении.

В своем вступительном слове Э. В. Севортян кратко охарактеризовал основные аспекты исследовательской работы Н. К. Дмитриева, подчеркнув связь изысканий ученого с практическими запросами развития тюркских языков в СССР. На заседании были прочитаны доклады Э. А. Груниной (Ин-т восточных языков при МГУ) «Лексикологические взгляды Н. К. Дмитриева» и Л. С. Левитской «Н. К. Дмитриев-этимолог»; результаты коллективной работы сектора, начатой по инициативе Н. К. Дмитриева и под его руководством, были изложены А. А. Коклюновой в докладе «Вопросы исторического развития лексики тюркских языков».

Г. Б.

НОВЫЕ ИЗДАНИЯ

С мая 1959 г. Объединением по машинному переводу при 1-м МГПИИЯ издается периодический бюллетень «Машинный перевод и прикладная лингвистика»[12]. Статьи, публикуемые в бюллетене, касаются как конкретных вопросов машинного перевода, строения алгоритмов, так и общетеоретических вопросов структурной лингвистики.

[12] Подписку (наложенным платежом) на бюллетень «Машинный перевод и прикладная лингвистика» следует направлять по адресу: Москва, Метростроевская, 38, 1-й МГПИИЯ, Лаборатория машинного перевода.

В бюллетене освещается деятельность организаций по машинному переводу, работающих в СССР, а также важнейшие достижения зарубежных центров по машинному переводу. Периодически печатаются рецензии на книги, статьи и сборники, выходящие за рубежом, и хроника деятельности Объединения.

Первый номер бюллетеня был посвящен итогам Всесоюзной конференции по машинному переводу, состоявшейся в мае 1958 г. Помимо перечня названий зачитанных докладов, в номере помещен полный текст докладов В. Ю. Розенцвейга (о работе теоретической секции конференции) и В.А. Успенского (об итогах работы секции алгоритмов).

Во втором и третьем номерах бюллетеня опубликован ряд интересных статей. Статья О. С. Кулагиной знакомит читателя с различными типами действий (операторов), с помощью которых осуществляется перевод текста машиной. В статье Ю. К. Лекомцева обосновывается попытка рассматривать целые предложения в качестве неэлементарных (производных) знаков, различающихся степенью реализации некоторой постоянной полной схемы. Статья В. А. Никонова представляет собой результат статистического исследования взаимоотношений между падежами современного русского языка. Статья показывает резкое преобладание родительного над остальными падежами в количественном отношении. Статья Р. М. Фрумкиной посвящена методике составления частотных словарей. Две работы, помещенные в бюллетене, связаны с машинным анализом грузинской и армянской аффиксации. Статья Т. М. Николаевой рассматривает вопрос об автоматическом определении вида русского глагола с помощью контекста. Н. Н. Леонтьева анализирует способы обращения с союзом *и* при машинном переводе.

В тех же номерах бюллетеня помещены также рецензии и обзоры: И. А. Мельчука — об оригинальном грамматическом словаре М. Габора (Венгрия) и о Всесоюзном совещании по математической лингвистике, состоявшемся в Ленинграде 15—21 апреля 1959 г. В краткой аннотации, составленной Б. А. и В. А. Успенскими, рассказывается о статистическом обследовании синтагм английского языка, проведенном с помощью электронных машин Национальным бюро стандартов (США). А. А. Бабинцев описывает работу японской переводческой машины «Ямато». В бюллетене можно найти подробную хронику работы Объединения и библиографию книг, поступивших в Лабораторию машинного перевода 1-го МГПИИЯ.

В четвертый номер бюллетеня будут включены статьи: О. С. Кулагиной — об опытах МП с французского языка на русский, И. А. Мельчука — к вопросу о грамматическом в языке-посреднике, а также текст доклада Н. Д. Андреева, В.В. Иванова и И. А. Мельчука о современном состоянии работ по МП в СССР (доклад был зачитан на конференции по вычислительной технике, происходившей в Москве в ноябре 1959 г.).

Диалектологическим кабинетом Ярославского гос. пед. ин-та имени К. Д. Ушинского подготовлен к печати «Краткий ярославский областной словарь» (20 печ. листов). В словаре содержится более 10 тысяч слов. Выйдет он из печати (ограниченным тиражом) в первой половине 1960 г. и будет рассылаться наложенным платежом по предварительным заказам (ориентировочная цена 10—15 руб.). Заказы направлять по адресу: Ярославль, Республиканская, 108, Пед. ин-т, диалектологический кабинет.

ЯЗЫКОВЕДЧЕСКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ В НАЦИОНАЛЬНЫХ РЕСПУБЛИКАХ

Начало библиографической работы в области башкирского языкознания было положено брошюрой Н. К. Дмитриева «Библиография по башкирскому языку и фольклору» (Уфа, 1936, 12 стр.). Обзор источников в ней доводится до 1917 г. Следующая работа принадлежит С. А. Сюнчелей, составившей «Аннотированную библиографию по башкирскому языку», в основном до 1941 г. Эта рукопись [1] включает в себя как чисто лингвистические труды, так и всякого рода методические пособия и руководства по башкирскому языку. Однако пользование этой работой крайне затруднительно в связи с тем, что рукопись так и не была напечатана и к тому же она составлена недостаточно последовательно в смысле расположения и описания библиографического материала.

Затем в библиографической работе по башкироведению наступил почти десятилетний перерыв, сменившийся некоторым оживлением лишь в последние годы. В настоящее время Институтом истории, языка и литературы Башк. филиала АН СССР опубликованы следующие библиографические списки и указатели [2]: Библиография по башкирскому языкознанию, вып. 1 (до Великой Октябрьской социалистической революции) — свыше 60 названий; Перечень кандидатских диссертаций по башкирской филологии за период с 1942 по 1956 г.— около 30 названий; Труды Н. К. Дмитриева по башкироведению — до 75 названий с краткими аннотациями. Кроме того, Т. М. Гариповым закончено состав-

[1] Один экземпляр ее находится в Гос. библиотеке им. В. И. Ленина, другой — в Институте истории, языка и литературы Башк. филиала АН СССР.

[2] См. сб. «Вопросы башкирской филологии», М., 1959, стр. 12—16 и 153—157.

ление библиографии по венгерскому башкироведению, охватившей в основном работы, посвященные так называемой «башкиро-мадьярской проблеме». Необходимо также отметить, что Институтом ИЯЛ начаты систематические разыскания в области библиографии башкирской лингвистики советского периода [3], которыми руководит Институт языкознания АН СССР.

Т. М. Гарипов
(Уфа)

В Грузии проделана немалая работа в области библиографирования языковедческой литературы. Составленные библиографии можно разделить на две основные группы: 1) библиографии смешанного характера, включающие наряду с работами по языкознанию и труды по смежным наукам (фольклору, этнографии, истории, литературе и др.); 2) специальные языковедческие библиографии. В первой из указанных групп языковедческие работы даны отдельно. К этой группе относятся: «Грузинская библиография. I. Указатель к статьям и материалам в грузинской периодической печати (1852—1910)», Пг., 1916; «Каталог изданий» Тбилисск. гос. ун-та (1918—1948), Тбилиси, 1948; «Указатель статей научных периодических изданий и сборников Тбилисск. гос. ун-та» (сост. А. А. Касрадзе), Тбилиси, 1955; «Указатель статей периодических изданий Ин-та языкознания и Ин-та истории им. акад. И. А. Джавахишвили (1937—1953)», Тбилиси, 1955; «Указатель литературы, опубликованной в связи с трудом И. В. Сталина „Марксизм и вопросы языкознания“», Тбилиси, 1952. Кроме того, составлены библиографии к отдельным периодическим изданиям Тбилисск. гос. ун-та и АН Груз. ССР: «Библиография статей, помещенных в „Известиях“ и „Трудах“ Тбилисск. гос. ун-та в 1921—1946 гг.» («Труды ТГУ», т. XXVIII, 1946); «Указатель статей к „Сообщениям АН Груз. ССР“», т. I—XI (1940—1950), Тбилиси, 1953. То же, т. XII—XVI (1951—1955), Тбилиси, 1957; «Библиография диссертаций, защищенных в институтах АН Груз. ССР (1941—1950)», Тбилиси, 1951; «Библиография научных работ, опубликованных в „Трудах“ Кутаисского гос. пед. ин-та им. А. Цулукидзе» (сост. Т. И. Ахвледиани, см. «Труды Кутаисского гос. пед. ин-та...», т. XVIII, 1958). Имеются и указатели статей, помещенных в некоторых других журналах и периодических изданиях. Во всех указанных библиографиях (за исключением трех) дан перевод названий на русский язык.

К группе специальных библиографий по языкознанию относятся: «Аннотированная библиография фонетической литературы» в двух книгах: первая охватывает работы по картвельским языкам (Тбилиси, 1937), а вторая — по кавказским языкам (Тбилиси 1940). Подробные аннотации даны параллельно на грузинском и русском языках. Обе книги вышли под ред. проф. Г. С. Ахвледиани. В «Известиях Института языка, истории и материальной культуры им. Н. Я. Марра» (т. XII, Тбилиси, 1942) помещен «Перечень работ, выполненных Отделом горских кавказских языков Института языка АН Груз. ССР в 1936—1942 гг. и кафедрой кавказских языков Тбилисск. гос. ун-та в 1933—1942 гг.» (сост. проф. А. С. Чикобава; см. приложение к его статье «Исследование горских кавказских языков...»). Специальная библиография лексикологической литературы охватывает словари, изданные с 1823 по 1939 г. (сост. Г. Бакрадзе, см. «Вестник библиографии», т. I, Тбилиси, 1940). Библиографию грузинской диалектологии см. в кн.: «Разыскания по грузинской диалектологии» (сост. Ш. В. Дзидзигури, Тбилиси, 1954). Ин-том языкознания АН Груз. ССР опубликована «Библиография языковедческих работ, выполненных в научных учреждениях Груз. ССР» (1918—1957). Библиография прилагается к IX — X т. органа Ин-та языкознания «Иберийско-кавказское языкознание» (Тбилиси, 1958).

В 1958 г. в Тбилиси под ред. проф. А. С. Чикобава (сост. Г. Н. Качарава и Г. В. Топуриа) вышла в свет первая часть «Библиографии языковедческой литературы об иберийско-кавказских языках», включающая работы по горским иберийско-кавказским языкам, опубликованные на грузинском, русском и иностранных языках. Материал библиографии расположен в алфавитном порядке. В грузинской части все названия переведены на русский язык. Работы, имеющие резюме на русском языке, включены и в русскую часть с указанием на номер грузинской работы. Это облегчает русскому читателю нахождение того или иного труда. В настоящее время подготавливается вторая часть данной библиографии, куда войдут все работы по картвельским языкам.

Все вышеуказанные библиографии облегчают составление полной библиографии языковедческой литературы, опубликованной в Грузии.

Г. В. Топуриа
(Тбилиси)

Библиографические сведения по латышскому языкознанию находятся в универсальной библиографии, главным образом в органах государственной библиографической регистрации. Специальных библиографий до последнего времени не составлялось. Ввиду политических условий (советской республикой Латвия стала лишь в 1940 г.; первый период советской власти в Латвии в 1919 г. продолжался только пять месяцев) библиографическая работа в Латвии до советского периода носила характер частной инициативы. Так, в 1924 г. известный латышский библиофил и библиограф Я. Мисиньш (1862—1945) [4] издает «Указатель латышской литературы» (J. Misiņš, Latviešu rakstniecības rādītājs...,

---

[3] См. «Аннотированный бюллетень научных работ [Башк. филиала АН СССР] (1951—1957)», вып. 1, Уфа, 1958, стр. 75—79 и 99—103.

[4] См. БСЭ², т. 27, стр. 589.

Rīgā, 1924), содержащий к иги, изданные с 1585 по 1910 г. Второй том «Указателя», охватывающий художественную литературу за 1585—1925 гг., вышел в 1937 г. Научные книги периода 1911—1919 гг. еще не библиографированы, но те, которые изданы в 1920—1926 гг., включены в аналитическую библиографию журнальных и газетных статей (см. ниже). Книги периода 1927—1943 гг. отражены в «Бюллетене Государственной библиотеки» [см. «Valsts bibliotekas biļetens» (1927—1943), Rīgā, 1927—1944].

После Великой Отечественной войны составлением учетно-регистрационной библиографии занялась Книжная палата Латв. ССР. Книги, изданные с 1944 по 1948 г., зарегистрированы в ежегодном «Указателе книг, вышедших в Латв. ССР» [«Latvijas PSR iznākušo grāmatu rādītājs» (1944—1948), Rīgā, 1948—1949], переименованном затем в «Летопись печати» («Preses hronika», Rīgā, 1949—1956). Последняя выходила ежеквартально с 1949 по 1956 г. С 1 января 1957 г. выпуск книг регистрируется в ежемесячном органе «Летопись печати Латв. ССР» (см. ниже).

Латышские периодические издания аналитически расписаны в библиографическом труде «Наука и литература Латвии», издававшемся Латвийской гос. библиотекой с 1920 по 1942 г. («Latvijas zinātne un literatūra», Rīgā, 1920—1942). Первые несколько лет это издание выходило под названием «Латышская наука и литература». «Наука и литература Латвии» содержит статьи журналов и газет, выходивших на территории Латвии с 1763 по 1907 г. и с 1920 по 1936 г., а также книги, изданные в 1920—1926 гг. Инициатором и составителем почти всех 26 объемистых томов этого труда является известный латышский библиограф А. Гинтер (1885—1944). Оставшаяся неизданной рукопись этой библиографии (1908—1919 гг.) в настоящее время подготавливается к печати Латвийской гос. библиотекой. Библиографам эта рукопись доступна. Частично уже составлена, но еще не издана аналитическая библиография периода 1937—1943 гг.

Журнальные и газетные статьи за 1944—1945 гг. отражены в «Указателе статей, опубликованных в Латв. ССР» [«Latvijas PSR periodikā iespiesto rakstu rādītājs» (1944—1945), Rīgā, 1949], переименованном затем в «Летопись журнальных и газетных статей» («Žurnālu un avīžu rakstu hronika», Rīgā, 1948—1956), которая издавалась сначала ежеквартально, а с 1950 г. ежемесячно (за 1946 г. эта «Летопись» еще не вышла). С 1 января 1957 г. упомянутые «Летопись печати» и «Летопись журнальных и газетных статей» объединены в одно ежемесячное издание «Летопись печати Латв. ССР» («Latvijas PSR preses hronika», Rīgā, 1957) с особыми разделами для книг, журнальных и газетных статей, рецензий, нот, печатной графики; с 1958 г. включен также краеведческий раздел «Советская Латвия в печати СССР». Во всех указанных библиографиях имеется раздел «Языкознание», который может быть легко использован для составления специальной библиографии по латышскому языкознанию.

Чтобы выявить работы по латышскому языкознанию, выходившие на территории Советского Союза в годы буржуазной Латвии, нужно предпринять просмотр органов советской учетно-регистрационной библиографии того времени. В некоторых случаях придется обращаться непосредственно к латышским периодическим изданиям, выходившим в Москве и Ленинграде.

Кроме указанных источников, для составления библиографии по латышскому языкознанию могут быть использованы также: аналитические указатели изданий АН Латв. ССР, составленные Фундаментальной библиотекой (см.: «Библиография изданий АН Латв. ССР. 1946—1955», Рига, 1957; «Библиография изданий АН Латв. ССР. 1956», Рига, 1957; «Библиография изданий АН Латв. ССР. 1957», Рига, 1958; «Библиография изданий АН Латв. ССР. 1958», Рига, 1959); библиография трудов известного латышского языковеда, лауреата Ленинской премии проф. Я. М. Эндзелина («Академик Ян Эндзелин. Библиография», сост. Я. Паэглис и К. Эгле, Рига, 1958); опубликованная в 7 и 10 выпусках «Трудов» Института языка и литературы АН Латв. ССР библиография по языкознанию, выборочно отражающая книги и статьи, опубликованные в Латвии с 1945 по 1958 г. включительно (Dz. B a r b a r e, Bibliografija, «Latvijas PSR ZA Valodas un literatūras instituta raksti», VII, 1958, стр. 257—267; X, 1959, стр. 239—246).

Обстоятельный обзор развития латышского языкознания после Великой Отечественной войны дан в статье заслуж. деятеля культуры Латв. ССР Р. Грабиса «Развитие латышского советского языкознания», опубликованной в «Известиях АН Латв. ССР». Статья содержит обширную подстрочную библиографию (R. Grabis, Latviešu padomju valodniecības izaugsme, «Latvijas PSR ZA Vestis», № 10, 1957, стр. 115—128). В 1960 г. Институт языка и литературы Академии наук Латв. ССР приступил к составлению исчерпывающей библиографии по латышскому языкознанию начиная с XVII в. по 1917 г. Участвуя в составлении «Библиографического указателя литературы по языкознанию, изданной в СССР за 1918—1957 гг. (Литература на языках народов СССР)», Фундаментальная библиотека Академии наук Латв. ССР проводит работу по составлению библиографии по латышскому языкознанию за указанные годы.

Е. Пейле
(Рига)

До восстановления Советской власти в Э с т о н и и (в 1940 г.) библиографические материалы по языкознанию печатались в различных изданиях; например, за 1877—1917 гг. — в сборнике «Библиография истории Эстонии. 1877—1917»

(E. Blumfeldt ja N. Loone, Eesti ajaloo bibliograafia. 1877—1917), составленном Э. Блумфельдом и Н. Лооне и изданном отдельными выпусками в г. Тарту в 1933—1939 гг. В данной библиографии материалы представлены выборочно и не аннотированы. Библиографические материалы за 1918—1923 и 1929—1931 гг. печатались в г. Тарту в выпусках Эстонского ученого общества «Годовые обзоры эстонской филологии и истории» («Eesti filoloogia ja ajaloo aastaülevaade»). С 1918 по 1938 г. вышло всего 9 выпусков, и на этом издание прекратилось. В этих выпусках расположение материала систематическое, все примечания и аннотации даны на немецком языке. В выпуски включены материалы, написанные на эстонском, немецком, финском, шведском, английском и на некоторых других языках, но не включено ни одной статьи, написанной на русском языке. За 1924—1928 гг. обзоры по языкознанию остались ненапечатанными.

Немало библиографических материалов по эстонскому и другим финно-угорским языкам до 1940 г. собрано Эстонским библиографическим учреждением, организованным в 1921 г. при Эстонском народном музее. К сожалению, они до сих пор не систематизированы и разбросаны по многочисленным каталогам отдела библиографии Литературного музея им. Ф. Р. Крейцвальда Академии наук Эст. ССР.

В 1956 г. при «Ежегоднике Общества родного языка», II («Emakeele Seltsi Aastaraamat») сотрудником кафедры эстонского языка Тартуского гос. ун-та Э. Ууспыльд были опубликованы библиографические материалы под заглавием «Языковедческая библиография. 1945—1955» (стр. 259—269). В этот указатель не включены не только лингвистические материалы из газет, но и ряд статей из республиканских журналов, представляющие немалый интерес для языковедов. За исключением двух-трех рецензий, остальные также в указателе не учтены. Классификация, принятая в указателе, нечеткая и не соответствует принятой в языкознании классификации. Расположение материала внутри рубрик формальное, по алфавиту авторов и заглавий и не отражает исторического развития языкознания в Эст. ССР. Указатель не аннотирован, и какие-либо примечания при библиографическом описании отсутствуют даже там, где они остро необходимы. Вспомогательный аппарат также полностью отсутствует, что осложняет пользование указателем.

В 1957 г. при «Ежегоднике Общества родного языка» (III) тем же составителем были опубликованы лингвистические библиографические материалы за 1956 г. (стр. 237—241), а в 1959 г. при том же «Ежегоднике» (V) за 1957 г.

Указатели страдают теми же недостатками, что и предыдущий.

В предстоящем семилетии в Эст. ССР будет развернута большая библиографическая работа, в частности в области библиографирования лингвистических материалов. В настоящее время Институт языка и литературы АН Эст. ССР работает над материалами для III и IV томов «Библиографического указателя литературы по языкознанию, изданной в СССР с 1918 по 1957 год», которые будут изданы в ближайшие годы Институтом языкознания АН СССР.

С 1960 г. Институт языка и литературы АН Эст. ССР приступил к составлению полной сводной библиографической картотеки журнальных статей по общим вопросам финноугроведения, а также по эстонскому и другим финно-угорским языкам. В данную картотеку будут включены библиографические материалы на эстонском, русском и на других языках народов СССР, а также на иностранных языках. К концу 1965 г. в Институте языка и литературы АН Эст. ССР будет также завершена работа над составлением картотеки библиографии «Эстонское языкознание. 1940—1965».

О. М. Киви
(Таллин)

Первая небольшая библиографическая работа по якутскому языку была дана в разделе «Язык» в книге П. П. Хороших «Якуты», изданной в Иркутске в 1924 г.

В 1958 г. вышла в издании Академии наук СССР «Библиография Якутской АССР (1931—1955 гг.)», в которую были включены основные работы (до 90 названий) по языкам народов Якутии. В том же 1958 г. в Якутске под редакцией проф. Л. Н. Харитонова был издан указатель литературы по якутскому языку «Якутский язык», составленный аспирантом ИЯЛИ Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР Н. Е. Петровым. В указателе зарегистрировано 891 название. Материал указателя расположен по схеме классификации литературы Института языкознания АН СССР. Указатель включает в себя книги, журнально-газетные статьи, а также заметки, статьи из сборников и некоторые рукописные материалы на русском и якутском языках.

В настоящее время в Якутской АССР библиографическая работа по языкам народов Якутии ведется в двух библиотеках: в Якутской республиканской библиотеке им. А. С. Пушкина и в Научной библиотеке Якутского филиала Сибирского отделения АН СССР. В первой из них хранится картотека по якутскому языку (до 1930 г.), составленная известным библиографом Якутии Н. Н. Грибановским. С 1931 г. эта картотека систематически пополняется. Библиотека Якутского филиала начала регистрацию библиографических материалов по якутскому языку только с 1953 г.

Н. Алексеев
(Якутск)

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА МЕСТАХ

(дополнительный список диссертационных тем) [1]

Публикуемые ниже списки присланы в редакцию журнала со значительным опозданием [(Узбекским гос. ун-том (У), Минским гос. пед. ин-том (М) и Рязанским гос. пед. ин-том (Р)].

Английский язык

1. Употребление артикля перед именами существительными в функции приложения в английском языке (Ж. С. Родионова; М).
2. Сложные существительные, образованные от глагольно-наречных сочетаний в современном английском языке (типа *look-out*, *make-up*) (Р. С. Розенберг; Р).
3. Адъективные словосочетания в современном английском языке (Б. М. Плискина; Р).
4. К вопросу об этимологических дублетах в словарном составе английского языка (М. А. Фролова; Р).
5. Происхождение и становление видовременной системы глагола в английском языке (канд. филол. наук А. Н. Мороховский; У). Докторская диссертация.

Белорусский язык

Определительные предложения в современном белорусском языке (Э. И. Борисоглебская; М).

Белорусский язык в сравнительном или сопоставительном плане

1. Степени сравнения имен прилагательных в белорусском языке в сравнении с русским языком (А. Е. Курбыко; М).
2. Сопоставление систем фонем современных немецкого и белорусского языков (Б. П. Борковский; М).

Курдский язык

Очерки курдского глагола (канд. филол. наук Ю. Ю. Авалиани; У). Докторская диссертация.

Немецкий язык

Управление имен существительных со значением действия в современном немецком языке (Е. Е. Родичева; М).

Русский язык

1. Вопросы этимологии индоевропейского корнеслова в словарном составе русского языка (А. А. Нагаев; У).
2. О языке великорусской народности (именное склонение и глагольные формы. По памятникам письменности, помещенным в «Актах социально-экономической истории Северо-Восточной Руси конца XIV — начала XVI вв.», тт. I и II) (В. Б. Куликов; У).
3. Имя числительное в русском языке XI—XVII вв. (канд. филол. наук И. М. Багрянский; У). Докторская диссертация.
4. Словосочетания с темпоральным значением в языке XVIII в. (Н. В. Ламзикова; Р).
5. Название растений в рязанских говорах (И. П. Гришина; Р).
6. Лексика говоров рязанской Мещеры (В. Т. Ванюшечкин; Р).
7. Глаголы с чисто видовыми префиксами в русском языке (А. Н. Тихонов; У).
8. Сложное будущее время и его употребление в русском языке (А. А. Фуксман; У).
9. Процессы адвербиализации в системе творительного падежа (О. С. Орлова; Р).
10. Периоды в языке советской прозы (Л. Г. Ботина; У).
11. Обстоятельство как грамматическая категория в современном русском языке и его место в системе членов предложения (канд. филол. наук В. М. Никитин; Р). Докторская диссертация.
12. Приложение в его отношении к господствующему слову в современном русском языке (К. П. Орлов; Р).
13. Сложное предложение с придаточным сказуемым в русском литературном языке (Р. П. Бахмутская; У).
14. Предложно-именной оборот как параллельная конструкция придаточных предложений (А. А. Цой; У).

Узбекский язык

1. Синонимы в узбекских народных эпосах (канд. филол. наук Х. Бердияров; У). Докторская диссертация.
2. Из истории лексики узбекского языка XIX—XX вв. (Дж. Хамдамов; У).
3. Фразеология прозы Айдын (М. Хусаинов; У).
4. Сочетания деепричастие + личная глагольная форма в произведениях А. Навои и его современников (канд. филол. наук У. Т. Турсунов; У). Докторская диссертация.
5. Сложные предложения в произведениях А. Навои и его современников (канд. филол. наук Дж. Мухтаров; У). Докторская диссертация.
6. Джекающие кыпчакские говоры узбекского языка Самаркандской области (канд. филол. наук Х. Данияров; У). Докторская диссертация.
7. Джушский говор узбекского языка (М. Ахмедов; У).
8. Найманский говор узбекского языка (М. Валиев; У).
9. Частицы в современном узбекском литературном языке (И. Усманов; У).
10. К вопросу об узбекской лингвистической терминологии (Т. Ходжаев; У).
11. Именные словосочетания в совре-

[1] Перечень всех присланных в редакцию диссертационных тем см.: ВЯ, 1959, № 4, стр. 143—149; № 5, стр. 136—143, а также ВЯ, 1960, № 1, стр. 137—138.

менном узбекском литературном языке (Н. Абдурахманов; У).

12. Обстоятельства образа действия в современном узбекском языке (М. Муминова; У).

Французский язык

1. К вопросу о происхождении романского суффикса *-ata, -sa* (Б. М. Масис; У).

2. Сложноподчиненное предложение с придаточной дополнительной частью в старофранцузском языке (И. И. Кравченко; Р).

3. Роль предлогов в словосочетаниях, состоящих из форм страдательного залога глагола и существительного, выступающего в качестве агента действия во французском языке (Н. Я. Агапов; М).

4. О взаимодействии категории модальности и категории отрицания в современном французском языке (Л. М. Минкин; У).

5. Фразеологические эквиваленты слова в современном французском языке (канд. филол. наук З. Н. Левит; М). Докторская диссертация.

Чешский язык

Структура фразеологии в чешском языке (канд. филол. наук Л. И. Ройзензон; У). Докторская диссертация.

Информационный бюллетень ЮНЕСКО. —1959, № 62—64.

Толковый словарь казахского языка. Том первый. *А — К*.— Алма-Ата, 1959, (VII + 337) стр. [на казах. яз.].

Ученые записки Казанского гос. ун-та им. В. И. Ульянова-Ленина. Общеуниверситетский сборник. Вып. 1. Гуманитарные науки.— 1957. Т. 117: кн. 2—164 стр.; кн. 9—223 стр.

Ученые записки Ленинградского гос. пед. ин-та им. А. И. Герцена. Фак-т иностранных языков. Т. 189. Вып. 2.— 1959. 249 стр.

А. Г. Каримуллин. Библиография литературы по татарскому языкознанию.— Казань, 1957. 39 стр.

А. Г. Каримуллин. Библиография литературы по татарскому языкознанию.— Казань, 1958. 115 стр. [на татар. яз.].

Мустафа Нугман. Описание рукописей научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского. Вып. III. Рукописи Каюма Насыри.— Казань, 1958. 48 стр. [на татар. яз.].

М. М. Орлов. «Язык Н. Г. Помяловского».— Ростов-на-Дону: часть I, 1958. 122 стр.; часть II, 1959. 250 стр.

Н. М. Шанский. Очерки по русскому словообразованию и лексикологии.— М., 1959. 246 стр.

Język polski. XXXIX, № 3, 1959. Стр. 161—240.

Miscelánea homenaje a André Martinet «Estructuralismo e historia».— Canarias: I — 1957. 303 стр.; II — 1958. 283 стр.

Studia slavica.— 1959. T. V: fasc. 1—2. Стр. 1—256; fasc. 3—4. Стр. 257—463.

Verba docent.— Helsinki, 1959. 613 стр.

Waiyu jiaoxue yu yanjiu.—1959: № 4 — стр. 191—254; № 5 — стр. 255—318.

Wissenschaftliche Zeitschrift der Karl-Marx-Universität Leipzig. Festjahrgang zur 550-Jahrfeier. Jg. 8 (1958—1959). Hf. 2. Стр. 751—925.

Xifang yuwen.— 1959: № 2 — стр. 65—126; № 3 — стр. 127—190.

Alejandro Cioranescu. Diccionario etimologico Rumano.— I. Madrid: fasc 1.— 1958. *A — cerb*. 160 стр.; fasc 2— 1959. *Cerc — farm*. Стр. 161—320.

L. Sadnik, Slavische Akzentuation. Teil I: Vorhistorische Zeit (Bibliotheca Slavica).—1959. XVI. 172 стр.

Th. Simenschy. Gramatica limbii sanskrite.— Bucureşti, 1959. 164 стр.

Всем подписчикам и читателям журнала „ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ“

Редакционная коллегия благодарит советских и зарубежных товарищей и друзей, ответивших на нашу анкету (см. обложку журнала № 6 за 1959 год), и просит еще не откликнувшихся читателей ускорить присылку ответов на наши вопросы:

1. Место Вашего жительства (название города).
2. Ваша профессия и специальность.
3. Ученая степень и звание.
4. Какие статьи, опубликованные в журнале за 1959 г. и в № 1 за 1960 г., были для Вас интересны?
5. По каким вопросам Вы хотели бы найти статьи или отклики в ближайших номерах журнала.
6. Какие опубликованные статьи Вы считаете неудачными?

Ответы направлять по адресу: Москва, К-31, Кузнецкий мост, 9/10.

Редколлегия журнала «Вопросы языкознания»

СОДЕРЖАНИЕ

О перспективном плане наших языковедческих исследований на ближайшие годы 3
П. Сгалл (Прага). Обиходно-разговорный чешский язык 11

ДИСКУССИИ И ОБСУЖДЕНИЯ

А. И. Ефимов (Москва). О роли национальной художественной литературы в развитии русского литературного языка 21
О. С. Ахманова, Ю. А. Бельчиков, В. В. Веселитский (Москва). К вопросу о «правильности» речи 35
Г. М. Василевич (Ленинград). К вопросу о классификации тунгусо-маньчжурских языков 43
Е. В. Чешко (Москва). К вопросу о падежных корреляциях 50
Об образовании восточнославянских национальных литературных языков . . 57

МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

В. М. Павлов (Ленинград). О разрядах имен прилагательных в русском языке 65
Н. Д. Арутюнова (Москва). Обратное словообразование и вопросы несобственной деривации 71
Ф. Д. Ашнин (Москва). Четыре турецких фразеологизма 80
Г. М. Керт (Петрозаводск). Некоторые саамские топонимические названия на территории Карельской АССР 86
Я. Г. Сулейманов (Махачкала). О явлении обратного сингармонизма в аварском языке 93

ПРИКЛАДНОЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ЯЗЫКОЗНАНИЕ

С. С. Белокриницкая и др. (Москва). Различные типы омонимии и способы их различения при машинном переводе 97

ИЗ ИСТОРИИ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

Письма В. Ягича к А. А. Потебне 102
Докладная записка А. И. Соболевского о составлении словарей древнерусского и старорусского языка 110

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

М. Карась (Краков). Польская диалектология после второй мировой войны 111
Л. С. Пейсиков (Москва). Проблема языка дари в трудах современных иранских ученых 120

Рецензии

Н. А. Слюсарева (Москва). *R. Godel*. Les sources manuscrites du «Cours de linguistique générale» de F. de Saussure 126
А. Г. Широкова (Москва). *T. Lehr-Spławiński, Z. Stieber*. Gramatyka historiczna języka czeskiego 130
А. Г. Широкова (Москва). *M. Komárek*. Historická mluvnice česká . . 131
В. П. Григорьев, М. И. Исаев (Москва). *Ю. Д. Дешериев*. Развитие младописьменных языков народов СССР 134
Д. П. Богдан (Бухарест). «Contributions onomastiques...» 138

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Л. П. Жуковская (Москва). Поддельная докириллическая рукопись 142

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 145
Новые издания 159
Языковедческая библиография в национальных республиках 160
Научно-исследовательская работа на местах 164
Книги, журналы и брошюры, поступившие в редакцию 166

SOMMAIRE

Articles: Le plan perspectif de nos investigations linguistiques pour les années prochaines; P. Sgall (Prague). La langue parlée tchèque; **Discussions:** A. I. Efimov (Moscou). Le rôle des belles-lettres nationales dans le developpement de la langue littéraire russe; O. S. Ahmanova, Y. A. Belčikov, V. V. Veselickij (Moscou). Sur la «forme correcte» du langage; G. M. Vasilevič (Léningrad). Sur la classification des langues toungous-mandchous; E. V. Češko (Moscou). La corrélation des cas; Sur la formation des langues nationales littéraires des slaves d'est; **Communications et notices:** V. M. Pavlov (Léningrad). Les groupes différents des adjectifs en russe; N. D. Arutjunova (Moscou). La dérivation inverse en éspagnol; F. D. Ašnine (Moscou). Quatre phraséologismes turcs; G. M. Kerte (Petrozavodsk). Quelques toponymes saames sur la territoire de la République autonome de Carélie; Y. G. Suleimanov (Mahačkala). Le phénomène de synharmonisme inverse en avar; **Linguistique appliquée et mathématique:** S. S. Belokrinckaja et les autres (Moscou). Les types différents d'homonymes et méthodes de leur identification dans la traduction mécanique; **De l'histoire de la linguistique:** Lettres de V. Jagić à A. A. Potebnia; A. I. Sobolevskij. Sur la compilation des dictionnaires du vieux russe et du russe moyen; **Critique et bibliographie; Lettres à la rédaction:** L. P. Žukovskaja (Moscou). Un faux manuscrit précyrillique; **Vie scientifique:** Chronique; Editions nowelles; Bibliographie linguistique dans les républiques nationales; Oeuvre scientifique des linguistes dans les différentes villes de l'Union Soviétique.

CONTENTS

Articles: On the perspective plan of our linguistic investigations for the next years; P. Sgall (Prague). The colloquial Czech language; **Discussions:** A. I. Yefimov (Moscow). On the role of the national belles-lettres in the development of the Russian literary language; O. S. Akhmanova, Y. A. Belčikov, V. V. Veselitsky (Moscow). On the problem of the «correctness» of speech; G. M. Vasilevič (Leningrad). On the classification of the Tungus-Mandchur languages; E. B. Češko (Moscow). On case-correlations; On the formation of East Slavonic national literary languages; **Materials and notes:** V. M. Pavlov (Leningrad). Different groups of adjectives in Russian, N. D. Arutiunova (Moscow). Inverse word-formation in Spanish; F. D. Ašnin (Moscow). Four Turkish phraseologisms; G. M. Kert (Petrozavodsk). On some Saam toponyms on the territory of the Carel Autonomous Republic; Y. G. Suleimanov (Makhačkala). On the phenomenon of inverted synharmonism in the Avar language; **Applied and mathematical linguistics:** S. S. Belokrinitskaya and others (Moscow). Different types of homonyms and ways of their identification in machine-translation; **From the history of linguistics:** V. Jagić's letters to A. A. Potebnja; A. I. Sobolevsky. Work on the dictionaries of Old and Middle Russian; **Critics and bibliography; Letters to the editorial office:** L. P. Žukovskaya (Moscow). A spurious pre-Cyrillic manuscript; **Scientific life:** Chronicle; New editions; Linguistic bibliography in the national republics; Scientific work in linguistics in the different towns of the Soviet Union.

ИСПРАВЛЕНИЯ

в журнале «Вопросы языкознания» № 4, 1959

Стр.	Строка сверху	Строка снизу	Следует читать
91		12—11	немецкая лингвистика во время второй мировой войны, а частично и до нее была изолированной наукой
95		19	фонетика и семантика
96	34		коммутационных текстов
99	14		конструкционные и функциональные
99		21	A -ed —— -ed a -ed ——
99		14	lufað
101	29		(ic) singe
101		16	«Неправильным во взглядах дескриптивистов является то, что отсутствие исторического материала они считают идеальным, возводят в принцип описание языкового состояния, которого, строго говоря, даже и нет ...» (перевод автора. — *Ред.*)

Технический редактор *Д. А. Фрейман-Крупенский*

Т-03056 Подписано к печати 30/III-1960 г. Тираж 5525 экз. Заказ 48
Формат бумаги 70×108¹/₁₆ Бум. л. 5.25 Печ. л. 14,38 Уч.-изд. л. 18,1

2-я типография Издательства Академии наук СССР. Москва, Шубинский пер., 10